

Русская
защита

Нашумевшие
уголовные процессы.
Сенсационные аферы

Судебные очерки
антологии

*Р*усская защита

*Н*ашумевшие
уголовные процессы.
Сенсационные
аферы

аст
издательство Астрель
Москва
2003

УДК 347
ББК 67.7
Р89

Составитель
М. А. Анашкевич

Серийное оформление и компьютерный дизайн
С. С. Власов

Подписано в печать 25.01.2003. Формат 84×108¹/₃₂. Гарнитура «Таймс».
Усл. печ. л. 23,52. Тираж 5000 экз. Заказ № 412.
Общероссийский классификатор продукции ОК-005-93, том 2;
953000 — книги, брошюры
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.02.953.Д.008286.12.01 от 09.12.2002

Р89 Русская защита: Нашумевшие уголовные процес-
сы. Сенсационные аферы / Сост. М. А. Анашкевич. —
М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательст-
во АСТ», 2003. — 443, [5] с. — (Судебные очерки: Ан-
тологии).

ISBN 5-17-014749-X (ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 5-271-06204-X (ООО «Издательство Астрель»)

В сборник вошли произведения выдающихся судебных ораторов последней четверти XIX — начала XX в., а также известных русских писателей, с одинаковым успехом бравших под свою защиту «униженных и оскорбленных».

Наиболее яркие и типичные для дореволюционной России уголовные процессы дали жизнь не только судебному очерку — едва ли не единственному жанру, где равноценно блистали «короли фельетонов» и «короли российской адвокатуры», но и легли в основу сюжетов произведений, вошедших в сокровищницу мировой литературы.

УДК 347
ББК 67.7

ISBN 5-17-014749-X (ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 5-271-06204-X (ООО «Издательство Астрель»)

© ООО «Издательство Астрель», 2003
© ООО «Издательство АСТ», 2003

Судебный очерк как уникальное литературное явление мог возникнуть в России только в определенных временных рамках, а именно на рубеже XIX и XX веков, благодаря ветру перемен, затронувших основы основ жизни русского общества.

Судебная реформа 1864 г., самая последовательная из Великих реформ, вызванных отменой крепостного права, коренным образом преобразила всю систему правосудия Российской империи. Чисто сословный, закрытый, чиновничий суд был заменен судом присяжных, основанным на принципе гласности. Сердцевиной реформы стало введение свободной, отделенной от государства адвокатуры, куда поступились видные юристы и ученые с литературным талантом.

Один за другим, не уступая друг другу в силе страсти и аргументации, зазвучали голоса судебных ораторов. Адвокаты стали героями дня. В стране, где несколько веков царил негласный письменный процесс, публичные состязания между обвинением и защитой были в диковинку. Это были блестящие поединки — в логике, в остроумии, в меткости и отточенности фраз, в умении коснуться потайных струн человеческой души... Прокуратура щеголяла беспристрастием, защита брала патетикой. На страницах газет и журналов все чаще стали появляться имена В. Д. Спасовича, К. К. Арсеньева, Ф. Н. Плевако, А. И. Урусова, Н. П. Карабчевского, С. А. Андреевского и многих других. Именно эти судебные деятели заложили основы и показали образцы состязательного процесса и судебного ораторского искусства в России. Их речи, опубликованные в печати, были нарасхват, а некоторые впоследствии трансформировались в более «легкий» беллетристический жанр — судебный очерк. Создателем литературного языка защитительной речи можно с полным основанием считать князя А. И. Урусова, а мастером

психологических приемов — Ф. Н. Плевако. Речи этого «московского златоуста» покорили многих, в том числе и В. В. Вересаева. Ведь в те времена судебно-психиатрическая наука только формировалась, и утверждение Плевако, что «внутренний мир человека — это такой же факт, как и его внешние деяния», было сродни откровению. Впрочем, как и его заявление на процессе по делу коншинских рабочих, что «преступником была толпа», что «толпа — это фактически существующее юридическое лицо».

Добиться синтеза, т. е. внести в судебные прения литературно-психологические приемы удалось А. Ф. Кони, правда (не бывает правил без исключений), делал он это в целях обвинения: этот выдающийся судебный оратор никогда не выступал в качестве защитника, но — вот парадокс! — в силу душевных и нравственных качеств отвечал этому идеалу в глазах современников. Вот что он писал Л. Толстому: «Иногда приходишь домой из заседания совсем с измученным сердцем, — и редки случаи радости по поводу спасения какого-нибудь несчастливца. На днях, впрочем, удалось мне добиться кассации двух возмутительных дел».

В своем стремлении понять и раскрыть внутренние причины преступления русская защита действовала вполне в духе русской литературы, поставившей, кажется, все извечные вопросы и в том числе вопрос о сущности преступления и наказания. Глубокие и искренние приемы нашей литературы в оценке жизни с ее великими открытиями в теневой области человеческой души и в психологии преступления были перенесены в суд: адвокаты-универсалы не только с равным успехом вели защиты по делам разных категорий, но и сочетали в себе дар психолога с темпераментом художника, — в этом-то и была причина огромной популярности судебных ораторов, становившихся «кумирами толпы» наподобие актеров и «властителями умов» наравне с писателями. (Образованность и широта интересов этих людей просто поражает: автор «Заметок о русской адвокатуре», выдающийся юрист и публицист К. К. Арсеньев был к тому же главным редактором «Энциклопедического словаря» Брокгауза и Ефрона. Б. С. Утевский, последний в этой плеяде «звезд» отечественной адвокатуры, и, кстати, ученик Н. П. Карабчевского — автор более 350 работ, среди которых монографии, учебники и научно-философские труды. Изучая причины преступности и личность преступника, Утевский рассматривал криминологию как комплексную дисциплину, где приложимы достижения психологии, социологии, биологии и др. Профессор Утевский оставил к тому же значительное литературное наследие: в его очерках, воспоминаниях и литературных портретах без фальши и без

прикрас показаны виднейшие деятели науки и культуры того времени и, конечно, его подзащитные, чьи настоящие имена, как правило, сохранены автором в тайне.)

Известно, что ораторы Древнего Рима совершенствовались в своем слог, обращаясь к лучшим поэтическим образцам. Поэтому нет ничего удивительного в том, что художественная литература стала своеобразной прививкой для уголовных адвокатов. Все они — в большей или меньшей степени — были наделены литературным талантом, для многих из них литературная работа стала вторым призванием, а творческое наследие включает в себя, помимо речей и очерков, стихи, художественную прозу и критику, переводы, публицистику, мемуары и т. д. Переплетение литературных и юридических интересов было характерно для всех без исключения, отличала их только разная степень приверженности к литературному творчеству: если Андреевского называли адвокатом-поэтом, справедливо ставя в данном случае знак равенства, то для Карабчевского желание стать писателем осталось мечтой юности. Спасович же на склоне лет подвел черту: «Главное занятие моей жизни было, конечно, русское уголовное право, литературе посвящены были только редкие свободные минуты».

Поскольку любовь к литературе и писательские навыки были привиты «уголовникам», что называется, с пеленок, то совершенно естественно, что писательская среда была для многих из них основным миром духовного общения, да и сами писатели искали встреч с выдающимися судебными ораторами. Анатолия Кони посещали Тургенев, Достоевский, он также часто виделся с Некрасовым. Карабчевский дружил с Короленко и был близко знаком с Чеховым, он, как и Кони, навещал Льва Толстого в Ясной Поляне.

Сергей Андреевский, имеющий весьма обширные знакомства в писательских кругах и сам будучи прекрасным поэтом, считал, что «русские судебные ораторы должны занять видное место не только в истории общественного развития, но и в истории словесного искусства». Он оказался недалек от истины: его другу А. Ф. Кони вместе с Л. Н. Толстым, В. Г. Короленко и А. П. Чеховым — в ознаменование их заслуг в литературе — было присвоено звание почетного академика АН «по разряду изящной словесности». Учрежденное к столетию со дня рождения Пушкина, как всякое академическое звание, оно присваивалось выдающимся российским писателям пожизненно.

Казалось бы, что общего между Львом Толстым, писателем с мировым именем, исповедующим концепцию непротivления злу насилеиm, и Анатолием Кони — обер-прокурором уголовно-кассационного департамента Сената? Тем не

менее необходимость друг в друге — по принципу сообщающихся сосудов — была налицо. Известно, что в качестве фабулы романа Толстого «Воскресение» взят случай из судебной практики Кони (рабочий вариант названия романа — «Коневская повесть»).

Имена Кони, Карабчевского и Короленко прочно связало так называемое «Мултанское дело» мужиков-удмуртов из села Старый Мултан, несправедливо обвиненных в принесении человеческой жертвы языческим богам. Верные общечеловеческим идеалам, два юриста высочайшего класса и писатель-гуманист одновременно выступили против религиозной исключительности одного народа перед другим и разжигания межнациональной розни между русскими и другими народами, населяющими Поволжье.

Обратная связь продолжала укрепляться: немало времени, выполняя заказы редакций, проводили на судебных заседаниях мало кому известный поначалу Антон Чехов и «король фельетона» Влас Дорошевич. В результате — ряд судебных очерков, а затем рассказов — где, как не в суде (ведь там наиболее ярко проявляются нравы людей), можно почерпнуть темы для них? Для обоих писателей это было своеобразной пробой пера, проверкой общественной позиции — ведь очерк, являясь разновидностью рассказа, анализирует реальные факты и затрагивает преимущественно социальные проблемы. Итог: «Остров Сахалин» Чехова и книга очерков «Сахалин (Каторга)» Дорошевича. Совпадение? Дать времени?.. Наверное, единственно верным в данном случае будет определение Достоевского: всечеловечность как высшее выражение русского идеала. И в этом русская защита точно «совпала» с отечественной литературой.

Однако на «защиту по-русски» существовал и скептический взгляд. Ничего удивительного: с момента появления на земле первого адвоката ставилась под сомнение моральность этой профессии. Можно ли защищать отъявленного негодяя? Этот вопрос ставил среди прочих и Ф. М. Достоевский, «свой» в мире криминалистики, прекрасно понимающий ту атмосферу, в которой работали «уголовники».

С недоверием к суду присяжных относился даже Спасович — «король российской адвокатуры». Он так же, как и Достоевский, опасался, что присущая русскому человеку склонность видеть в преступнике «несчастливого» будет вредно влиять на вынесение справедливого приговора. И вот парадокс — именно его, ученого-юриста, автора первого учебника по уголовному праву, Достоевский не раз изображал в карикатурном виде, и, в частности, в образе защитника Мити в «Братьях Карамазовых». Свою нелюбовь к адвокату-

ре Достоевский выразил в следующем афоризме: «Адвокат — это нанятая совесть».

Чтобы защитить себя самое, адвокату было необходимо четко сформулировать свое профессиональное кредо, что и сделал К. К. Арсеньев в своих «Заметках о русской адвокатуре»:

«Защитник, обращающийся в обвинителя, совершает одно из самых тяжких нарушений адвокатского долга; защитник, ограничивающийся не мотивированною, вялою просьбою о снисхождении к подсудимому, выказывает такое равнодушие к своему призванию, которое заслуживает строгого порицания; но защитник, отстаивающий с жаром, с увлечением правоту подсудимого, которого он в душе считает кругом виноватым, вдается в другую крайность, столь же нежелательную, как и первая.

Задача защитника, назначенного судом, состоит в том, чтобы извлечь из дела, сгруппировать, выставить в надлежащем свете все обстоятельства, говорящие в пользу подсудимого, т. е. опровергающие обвинение или уменьшающие его силу. Такие обстоятельства найдутся в каждом деле, найдутся и без извращения фактов, без намеренного искажения истины. Как бы ни были сильны улики, наряду с ними всегда есть данные, которые могут быть без натяжки истолкованы в пользу подсудимого. Как бы велика ни была испорченность преступника, тяжесть преступления — попытка объяснить нравственное падение подсудимого, отыскать в его прошедшем черты, уменьшающие его ответственность, редко будет совершенно напрасной. Устранить предубеждение, с которым присяжные могут относиться к подсудимому, показать им, что довело его до преступления, приготовить их к снисходительному или по крайней мере спокойному обсуждению дела — вот цель, к которой должен стремиться и которой может достигнуть защитник *ex officio*¹, даже тогда, когда он убежден в виновности подсудимого. <...>

Всякий подсудимый, в чем бы он ни был обвиняем, имеет право на защиту, во имя того великого начала (разрядка моя. — М. А.), по которому никто не может быть осужден без выслушания его оправданий — оправданий, тогда только не обращающихся в пустую форму, когда они представляются с таким же искусством и знанием дела, как и обвинение». <...>

Конечно, для Арсеньева, так же как для Спасовича, Достоевского и многих других, не было секретом, что у присяжных заседателей вошла в моду мания оправдания. Про-

¹ По должности, по обязанности (лат.).

должая далее, что «защита — если она имеет целью полное оправдание подсудимого — должна быть направлена к тому, чтобы убедить присяжных в невинности или нравственной правоте подсудимого, а не к тому, чтобы запугать, запутать или разжалобить их и этим путем добиться от них оправдательного приговора», Арсеньев как раз приводит подобный случай:

«В московском окружном суде слушалось дело накануне праздника Благовещения; во время защитительной речи раздался колокольный звон Кремлевских соборов (рядом с которыми, как известно, стоит здание суда); защитник, пользуясь этим, напомнил присяжным соединенный с днем Благовещения обычай русского народа выпускать на волю птиц из клеток и просил их о такой же милости для узника, стоящего перед ними»¹.

Да, аудиторию суда порой просто захлестывала волна всепрощения, а среди адвокатов встречались мошенники, пустозвоны и делцы. И все-таки защита в лице своих лучших представителей строилась на принципиальности юридической и нравственной позиции:

«За прокурором стоит молчаливый, холодный, незыблемый закон, а за спиной защитника — живые люди», — Плевако был, как всегда, убедителен.

«Несправедливый приговор — огромное общественное бедствие. Накопление подобных приговоров в общественной памяти и народной душе есть зло — такое же зло, как и накопление умственной лжи в сфере умственной жизни общества», — вторил ему Карабчевский, который, как и В. С. Соловьев, считал смертную казнь несостоятельной и с юридической, и с нравственной точки зрения, и не раз высказывался, что она «претит русской натуре».

Безусловно, суд жизни, а не мертвой формалистики ставит рано или поздно все точки над «и». Поэтому именно сегодня, когда адвокатура в нашей стране снова сделала попытку подняться как правовой институт, для нас особенно актуально чудом сохранившееся юридическое наследие, и в том числе все лучшее, накопленное опытом отечественной адвокатуры. Русское судебное красноречие возшло на благодатной ниве, ибо крестной матерью его была великая русская литература.

Марина Анашкевич

¹Заметки о русской адвокатуре. СПб., 1875.

СЛУЧАИ ИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ТЕОРИЯ ВЗЛОМА

I

У меня есть приятель — человек престранный, зачатый законник, великий любитель исторического в праве, великий почитатель юридических форм и обрядов, умеющий под всякий факт и под всякую форму подставить какую-нибудь теорию своего изделия и защищающий ее потом до упаду. Он был враг кодификации и любитель английской юриспруденции с ее уважением к преюдикатам и с ее горами судебных решений, он одобрял французский кассационный суд за то, что этот суд не соглашается уничтожить несправедливый приговор, осудивший безвинно на смерть Лесюрка, дабы не поколебать авторитета *rei judicatae*¹. Он возмущался легкостью, с которою французские присяжные оправдывают убийства жен и их любовников ревнивыми мужьями, был весьма снисходителен к дуэли и совершенно равнодушен к вопросу о телесных наказаниях. Вообще, он больше значения приписывал нравам, нежели законам, был постепеновцем в прогрессе, осуждал всякую рубку сплеча в деле преобразований и с ироническою улыбкою скептика смотрел на так называемые бумажные реформы. За его склонность противоречить его университетские товарищи, а в том числе

¹ Решенного дела (*лат.*).

и я, прозвали его духом противоречия, за его склонность отстаивать погибающее старое — консерватистом, а за его особенный юридический склад ума — Ульпианом. Я любил с ним спорить, хотя этот спор оканчивался обыкновенно тем, что всякий из нас оставался при своем убеждении. Берусь передать один из таких споров в надежде, что найдутся между читателями люди компетентные, которые скажут, кто из нас прав и кто неправ. Мы толковали о практике наших судов гражданских и уголовных. Я был взбешен тем, что проиграл одно совершенно правое дело пропуском срока на подачу частной жалобы и сказал в сердцах нашему Ульпиану: хороши вы, господа юристы, с вашею доктриною по делам гражданским, что *la forme emporte le fond*¹, с вашим делением правды на материальную и формальную, с вашим учением, что никто не может отговариваться незнанием закона, между тем как известно, что закона почти никто не знает, с вашими факциями и искусственными предположениями, с вашею законностью, которая опутывает паутинною сетью только мух, но чрез которую прорываются более крупные или более изворотливые животные. Два человека совершили убийство сообща; один раскаялся и чистосердечно признался, того и накажут, другой запирается и уходит от наказания. Сын подговорил слугу украсть у отца деньги, отец простил сына и освободил тем его от наказания, а слугу шлют на поселение. Весь этот жаргон юридически изобретен как будто бы нарочно для того, чтобы мутить понимание человека, не посвященного в тайны юриспруденции; кто из профанов поймет эти тонкие различия между зачинщиками и подстрекателями и разными родами сообщников, кто поймет с первого разу, что значить кража вторичная и третьичная, свыше и ниже 30 рублей, дневная и ночная, с мертвого или с живого, со взломом первого или второго рода, или со взлезаньем в хранилище, или с переодеванием, с простым умыслом или с предумышлением?

¹ Форма определяет суть (*фр.*).

Мой собеседник выслушал меня терпеливо и ответил: нельзя спорить о цветах со слепыми или о математике с не знающими твердо пифагоровой таблички. Если ваши упреки юристам клонятся к тому, что они народ ненужный и что все законоведение есть не более как своего рода схоластика, то и возражать на них не стоит. Спокон века водятся юристы, и всегда они были формалисты; спокон века законоведение сначала судебное, то есть практика, потом школьное, то есть наука, сковало свою паутинную сеть, которая со временем сделалась до того густа и крепка, что сквозь нее должны были прорубаться топорами и мечами разные политические и социальные перевороты. Таков уже порядок вещей, что все ваши усилия отказать праву в известной самостоятельности и распустить юриспруденцию в других науках и явлениях жизни общественной останутся тщетными попытками. Если же вы нападаете только на нынешнее состояние законодательства, на избыток запружающих его форм, потерявших смысл, на избыток тонкостей, недоступных пониманию общества, для которого право создано, то я не могу вам не сочувствовать в этом отношении и не пожелать теснейшего сближения права с жизнью народною. Но я должен вас предупредить, что не все те формы, которые вы считаете мертвыми, в самом деле таковы, так точно, как глядя на орехи, вы никак не узнаете, который из них здоровый, полный и который гнилой и пустой, пока их не вылущите и не отделите ядра от скорлупы. Внутри всякой юридической формы известный идеал кроется точно шелковичный червяк в коконе. Прежде всего следует вскрыть и разобрать этот идеал, а он долговечен и способен перерождаться. Уверяю вас по опыту, что в области юридических форм и отношений гораздо более исполненных содержания, нежели выдохшихся и пустых.

— Чем вы это докажете? — спросил я.

— Очень простым способом, — сказал Ульпиан, — я вскрою при вас одну из личинок, которые вы с пренебрежением отнесли к умершим, и покажу, что внутри

ее сидит живой еще червяк. Вы нападаете на сложность юридических форм, облакающих общедоступное понятие кражи, вы упомянули между прочим и о взломе. Не хотите ли избрать для примера именно взлом? Я вам предлагаю этот пример потому, что считаю кроющийся в этой скорлупе идеал одним из самых новых и жизнеспособных.

— Извольте, я согласен, но скажите предварительно, как вы приступите к вашей анатомической операции?

— Прежде всего нужно узнать, когда родилась на свет божий эта форма и как она росла. На то есть у меня отличный инструмент, известный под именем метода сравнительного. Нам достаточно начать с римского права, в более отдаленное прошлое углубляются ныне одни только археологи. Слушайте со вниманием, потому что я иду прямо к делу.

II

— Бери *Corpus juris*, — продолжал Ульпиан, — перелистываю его и, не находя почти ничего относящегося к предмету моих разысканий, заключаю, что понятие взлома было чуждо римскому праву. Одно только узаконение, и то очень позднее, относящееся к периоду императоров, упоминает о взломщиках (*effractores*): начальнику полиции города Рима велено таких взломщиков ловить, наказывать телесно и отдавать в рудники в каторжную работу (b. 2, D. De effract.). Отрывочность этого одинокого указа дает мне право утверждать, что не в праве римском следует искать корней понятия взлома. То же самое, что о римском, следует сказать о законодательствах славянских. Кража со взломом ничем не отличается от простой ни в польском вислицком статуте 1347 г., ни в литовском статуте, ни в судебныхниках, ни в Соборном уложении 1649 г., ни даже в законодательстве Петра Великого. По воинским артикулам 1716 г. (XXI § 186 и посл.) кража со взломом наказывается отнюдь не строже кражи без взлома. Если вор ворвется без оружия, или войдет без насилия в конюшню или в хоромы, или отперет сундуки или хоромы

поровескими ключами, то его велено наказывать шпицру-
тентами, яко прочих воров. Но у народов германского
происхождения взлом рассматривается как нечто осо-
бенное с древнейших времен и в скандинавских зако-
нах, и во множестве *leges barbarorum* (см. «Wilda» *Strafrecht der Germanen*. 1842. S. 879). *Lex Saxonum* полагает
за кражу ульев пчельных из ограды смертную казнь, но
довольствуется за кражу ульев не из ограды штрафом,
равняющимся девятикратной цене похищенного (IV
§ 2). *Lex Burgundionum* велит казнить смертью всех
взломщиков, похищающих вещи из домов или сундуков
(XXIX, 3). Знаменитый кодекс Карла V 1532 г. (*Carolina*,
§ 159) дает название кражи опасной (*gefahrlicher Diebstahl*) краже со взломом или со взлезанием (*Einsteigen oder Brechen*) в чужое жилище или хранилище
(*Behausung oder Behaltung*). Такая кража наказывалась
виселицею независимо от цены похищенного и от того,
в который раз она совершена. Во Франции эдикт Фран-
циска I, изданный в 1534 году, подвергал колесованию
виновного в краже со взломом. В Англии это преступ-
ление наказывалось смертною казнью до самого вступ-
ления на престол королевы Виктории (смертная казнь
отменена за кражу со взломом актом парламента (IV et
Vict. с. 90 s. 1). В законодательстве русском постановле-
ния о краже со взломом появляются почти в первый раз
в Уложении о наказаниях 1845 года; они заимствованы,
как мне кажется, из *code penal* французского 1810 года.

Мой собеседник был, очевидно, в своей стихии и
долго продолжал бы засыпать меня годами, числами и
фактами, если бы я не остановил его вопросом: с какою
целью расточает он сокровища своей учености? к чему
он ведет речь свою?

— К тому, — отвечал Ульпиан, — чтобы показать,
что понятие взлома есть принадлежность народа гер-
манского племени в течение всех средних веков; народы
негерманские заимствовали его потом у немцев. Как
объяснить происхождение этого понятия? Его можно
объяснить или особенностями расы, или особенностя-
ми времени. Мои сведения не дают мне возможности

решить удовлетворительно этот вопрос. В коренных свойствах немецкого ума и характера можно бы, вероятно, открыть причину, почему взлом должен был им казаться делом особенно преступным, но мне кажется, что еще большее влияние имело время. Вникните в условия развития общества западноевропейского в средние века. Общество было самое разношерстное; оно состояло из множества групп и кружков, которые враждовали друг с другом, но из которых ни один не был настолько могуч, чтобы осилить другие и наложить на них свой собственный тип. Король и церковь, города и горожане, дворянство и помещики жили друг с другом в состоянии ежеминутной войны не в переносном, а в настоящем смысле этого слова. Всякий человек ходил вооруженный если не железом, так дубиною; благородным считался тот, кто имел меч, латы и коня. Всякое поселение и жилье были, по возможности, ограждаемы, укрепляемы. Имеющий деньги не нес их в банк для отдачи на проценты, но зарывал тайком в землю или заделывал наглухо в каменную стену своего дома. Всякий замок и монастырь, всякий город и всякий частный дом в городе походили на крепость. За исключением бедняков и нищих, все люди сколько-нибудь состоятельные искали в прочности стен и затворов той безопасности для своего имущества, которой не могла им доставить бессильная общественная власть. Теперь понятно ли вам, что при подобных условиях быта похищение вещи из владения ничем не огражденного должно было казаться действием гораздо менее преступным, нежели похищение из владения укрепленного. Человек был вообще в то время падок на добычу, и брать, что само попадало в руки, считалось грехом обыденным, иное дело — идти на приступ, на чужие укрепления.

— Ваши объяснения довольно правдоподобны, впрочем, я полагаю, что можно было бы обойтись и без них и приискать для взлома совершенно удовлетворительное основание. Я полагаю, что кража со взломом представляет стечение двух преступлений: повреждения чужой собственности и похищения чужой собственнос-

ти, из которых первое служит средством и переходною степеню для достижения второго, а так как два преступления, в совокупности взятые, весят более, нежели одно, то и вор-взломщик должен быть наказан строже простого вора.

— Вы ошибаетесь, — сказал Ульпиан, — повреждение чужой собственности лишено в краже со взломом всякого значения; оно может быть или не быть. Домовладелец, который вламывается в свой собственный дом, с тем чтобы похитить пожитки проживающих в этом доме лиц, должен быть наказан как вор-взломщик, а не как вор простой, как бы следовало поступить, если бы высказанное вами положение было справедливо. Мои исторические объяснения были необходимы для отыскания исходной точки для теории взлома. Вы знаете, что я разумею под словом «теория». Когда наблюдение открыло целый ряд явлений однородных, то, чтобы объяснить их происхождение и связь, ум наш делает различные предположения, более или менее правдоподобные; эти изобретаемые умом предположения для объяснения известного ряда явлений называются теориями. Ваше возражение заключало в себе в зародыше целую теорию взлома, которую я устранил, показав, что она не идет к некоторым фактам, которые берется объяснять. Но кроме вашей теории есть много других, которые я считаю точно так же ошибочными; есть, например, теория, которая основывает усиленную наказуемость кражи со взломом на том, что от действия вора, вламывающегося в чужое жилье, в чужую ограду, подвергаются особенной опасности все лица, обитающие в этом жилье или внутри этой ограды.

— Мне, напротив того, нравится это объяснение, я нахожу, что оно очень убедительно. Вор-взломщик заготавливает заранее орудия взлома, вооружается ими, и есть основание думать, что он постоит за себя и будет защищаться этими орудиями от лиц, которые бы помешали ему в исполнении его преступного намерения.

— Эта теория нравилась не только вам, но и весьма многим, — заметил Ульпиан, — ее даже усвоили себе

некоторые положительные законодательства. Если стать на точку зрения личной опасности от вора-взломщика, то необходимо установить несколько степеней в краже со взломом, смотря по тому, вламывался ли вор в жилое строение, или в нежилое, или просто в ограду, не вмещающую в себе никакого строения, и т. д. Так и делает, между прочим, законодательство английское, которое различает взлом жилья (breaking a dwelling-house) и взлом строения, внутри ограды стоящего (breaking a building, within the curtilage). Но эта точка зрения представляет столько неудобств, что она теперь оставляется почти повсеместно, потому что она ведет к противоречиям. Никто не подвергается личной опасности от вора-взломщика, ворующего в нежилом строении или в никем не сторожимой ограде среди поля; его надлежало бы наказать, как за кражу простую, равно как и того, кто без всяких орудий вскрывает, например, чужой ящик, сундук, письмо запечатанное. С другой стороны, надлежало бы наказать, как за кражу со взломом, того, кто, вооруженный орудиями взлома, вошел без взлома, с целью украсть чтонибудь, в чужое жилье, которое нашел отворенным.

— Вы мастер опровергать теории; какая же теория, по-вашему, правильная и неопровержимая?

— Я полагаю, что это та, которая построена на соображении, что кража со взломом обнаруживает, так сказать, удвоенное неуважение к чужой собственности разрушением сперва защищающих чужую вещь укреплений и затем похищением этой вещи самой.

— Я готов согласиться, что ваша теория имеет свое историческое основание, что ее можно вывести из глубины средних веков. Тем хуже для нее; значит, она для нас не годится. Нет ничего общего между средними веками и переживаемую нами эпохою. Рыцари спят вечным сном в могилах в своих железных латах, разрушились их замки, осушены обводные рвы и каналы, валы городские превращены в красивые бульвары, на моих глазах засыпали венский грабень, помнящий времена турок и Собеского. О вооружении никто не думает.

От Петербурга можно в три или четыре дня прокатиться до самого Мадрида, не испытав ни малейшего приключения. Даже собирающемуся за Урал и Байкал на дальний Амур нет никакой надобности брать с собою револьвер или запастись кинжалом.

— Я ждал от вас этого возражения, — заметил Ульшан, — чтобы разбить вас наголову в этом пункте. В том-то вся штука, что форм юридических весьма мало и что они не изобретаются человеком, а даются самою жизнью, что они вытекают прямо и непосредственно из сложившихся известным образом отношений. Человек не творит новых форм, а только видоизменяет существующие или в крайнем случае занимает их у соседей. Но формы, созданные жизнью, имеют удивительную гибкость и не разрушаются с исчезновением вызвавших их к жизни обстоятельств. Форма юридическая похожа на перчатку, ее можно растянуть как угодно, ее можно вывернуть наизнанку и вложить в нее какое угодно содержание. Вы знаете, что дуэль — обычай дворянский; все и думали, когда уничтожено было дворянство в 1789-м, что вместе с тем прекратятся и дуэли. Нисколько; с тех пор стали драться блузники и лавочники, дуэли сделались еще чаще. В средние века личность уважаема была только тогда, когда носила священническую рясу или имела меч на бедре да панцирь на спине, теперь она уважается без рясы и оружия, и не только она, но и все вещи, на которые положит она свою печать, и все меры, которые предпринимает она для ограждения собственности, для воспрепятствования другим лицам касаться этих вещей, хотя бы ограда или хранилище были скорее условным знаком, нежели действительным препятствием, и хотя бы для преодоления этого препятствия не требовалось особого напряжения силы физической. Один полицейский арестует и ведет на веревочке целую дюжину преступников, как будто бы он имел целую роту под своею командою. Вы отправляетесь в сад публичный и, читая на дощечке: «травы не топтать, цветов и плодов не срывать», соображаетесь с этими правилами, как будто бы из-за каж-

дого куста за вами присматривали невидимые соглада-
тай. Вы вкладываете документ в конверт и заклеиваете
этот конверт наглухо, этим действием вы сообщаете в
юридическом отношении такую неприкосновенность
вашему документу, какую бы он имел, если бы лежал в
железном сундуке за тремя ключами и семью печатами.
Не правда ли, как это велико и просто: в силу одной
юридической концепции, листок бумаги, который
можно разорвать двумя пальцами, приобретает кре-
пость железного или каменного укрепления.

— Положим, что и в самом деле в некоторых случаях
может быть полезен вымысел, уподобляющий владение,
в сущности, неукрепленное владению в полном смысле
слова укрепленному, но у меня остаются сомнения на-
счет возможности применить эту фикцию ко всем воз-
можностям и случайностям жизни практической.

— Извольте; ваше требование основательно, вы хо-
тите поверить теорию на практике. Законоведение
имеет надежный способ для подобной проверки, этот
способ — казуистика. Он состоит в том, чтобы, взяв
известное понятие и сформулировав его в определение,
разобрать потом это определение по всем входящим в
него признакам и при всех условиях, какие только воз-
можно, придумать и представить себе. Начинаю мою
логическую дедукцию; слушайте.

III

— Я дал взлому следующее определение: *взлом есть
насильственное открытие хранилища, учиненное с целью
похитить что-нибудь, заключающееся в этом хранилище.*
Это определение вмещает в себя следующие существен-
ные признаки.

Первое. Взлом предполагает известное *хранилище*,
вмещающее в себя вещь, которую вор намерен был по-
хитить, сооруженное рукою человека именно с той
целью, чтобы воспрепятствовать всякому доступу по-
сторонних лиц к этой вещи, и притом запертое в самый
момент преступления. Якорь привязан железною цепью
к судну, сторожевая собака ремнем к будке, дюжина

тростей связаны у лавочника веревкою в один пук; если вор унесет этот якорь, уведет эту собаку или, разрезавши перевку, похитит одну трость из пuka, то это будут кражи простые, потому что цепь, ремень и веревка не хранилища, могущие вмещать в себе предметы. Вор, сделавший прорубь во льду, которым были покрыты рыбный пруд или садок, с тем чтобы похитить оттуда рыбу, есть простой вор, а не взломщик, потому что ледяная кора есть естественная, но не рукотворная преграда, отделявшая похитителя от предмета его преступления. Нельзя считать вором-взломщиком и того, кто, сделав отверстие в бочке с вином или разбив бутылку, выпивает вино или, сделав отверстие в газопроводном канале, похищает оттуда газ, потому что бочка, бутылка и газопроводная труба сооружены не с целью укрепить владение собственника вина или газа, но просто для сбережения жидкости или газа, которые и не хранятся иначе, как в закрытых со всех сторон сосудах. Точно на том же основаниями я полагаю, согласно с практикою саксонскою и прусскою, что тот, кто, разрезав пуховик, похищает оттуда пух и перья, которыми этот пуховик был набит, виновен только в краже простой. Но взлом возможен и удобомыслим относительно мешка, завязанного шнуром, относительно ящика, к которому приложены печати или пломбы или который заклеен с какой-либо стороны простым листом бумаги. Хранилище должно быть заперто со всех сторон или по крайней мере с той стороны, с которой вор пытался в него проникнуть. Разбивая стену сада, вор мог не знать, что в этот сад можно было войти через калитку, которая открыта. Он мог даже знать, что сад примыкает к реке и что со стороны реки можно причалить и выйти на берег беспрепятственно. Несмотря на то, действие его подлежит считать кражею со взломом, коль скоро он решился действовать с той стороны, с которой нельзя было пробраться в хранилище не насильственным образом. Здесь я должен заметить, что хранилище только тогда может считаться запертым, когда запирающее его вещество или снаряд образуют в действительности одно нераз-

рывное целое с другими частями хранилища, так что преступник не может устранить препятствие, представляемое хранилищем, простым разобранием составных его частей. Ограда состоит, положим, из камней, наложенных один на другой без всякого цемента; одна сторона ящика открыта и приставлена к стене, так что сто́ит отодвинуть ящик, чтобы получить возможность запустить в него руку; вся смазка, прикреплявшая стекло к оконной раме, вывалилась, так что сто́ит только вынуть стекло: при подобных условиях кража должна считаться простою.

Второе. Материальное препятствие, представляемое хранилищем, может быть устранено или насилем, или хитростью (например, когда вор перелез через ограду или отворил замо́к поддельным ключом). Для взлома необходимо *насильственное открытие* хранилища. Насилие может быть самое незначительное, совершенное посредством орудий или без всяких орудий, способами механическими или химическими (например, посредством кислот, разлагающих вещество, из которого состоит хранилище). Простое расширение пальцами отверстия в хранилище, разрезание незапечатанного, не заклеенного наглухо конверта вполне достаточны для полноты понятия взлома. Но взлома настоящего не будет, когда вор развязал узлы веревки или открыл дверь, подняв запирающуюся сзади деревянную затворку или употребив отмычку.

Третье. Взлом должен относиться к краже как средство к цели и составляет сам по себе одну лишь переходную к краже ступень. Из этого положения я вывожу следующие результаты: 1) кража не будет со взломом, когда вор, не касаясь вещей, находящихся внутри хранилища, ограничился похищением материала, из которого состоит строение или ограда, например, сорвал с кровли жесь, которою она была покрыта, или выломал вделанную в стену водосточную трубу. 2) Взлом должен быть совершен для открытия преступнику доступа к предмету кражи, запертому в хранилище, следовательно, нельзя называть кражею со взломом тот случай,

когда вор повреждает затворы хранилища, с тем чтобы отнять у владельца вещей возможность держать их взаперти. 3) Взлом должен предшествовать краже, а не следовать за нею. Вор вошел в дом через ворота, которые вскоре потом были заперты; арестант бежит через сделанный им подкоп под стены острога и унес с собою тюремную утварь. В обоих этих случаях цель взлома не та, чтобы что-нибудь похитить, но чтобы самому вырваться на волю. Даже и тогда, когда вор залез в чужой дом хитростью, зная, что его запрут и что бежать с похищенным придется ему не иначе, как пробиваясь сквозь хранилище, нельзя допустить взлома, а будет только стечение двух преступлений: кражи простой и повреждения чужой собственности.

IV

Ульпиан кончил. Наступило молчание, в продолжение которого я собирался с мыслями, чтобы возразить что-нибудь моему собеседнику. Между тем как с торжествующим видом он ждал от меня полной капитуляции без кондиций, я сказал ему следующее: вы до конца последовательны, вы весьма логичны, крайняя логичность ведет на деле, как всякому известно, к величайшим нелепостям. Трусливый скупец зашил свои деньги в воротник или в полу своего платья, неужели вы будете судить как за кражу со взломом того, кто распорол воротник или полу и вынул оттуда деньги. Взлом воротника или полы! какая диковинка! мальчишки смеяться будут этому курьезу. Две половинки двери связаны ниткою; Х. толкнул слегка дверь ногою, и половинки раскрылись настежь, неужели это взлом? Какая удобная вещь казуистика, и вор знает ее не бесполезно. Он хочет, положим, похитить вещь, заклеенную в конверт. Казуистика дает ему следующий урок: остерегайся разорвать или разрезать конверт, если тебе не желательно быть судимым за кражу со взломом, но ты можешь подержать этот конверт в сыром месте или подставить его под пар от самовара, тогда конверт расклеится сам

собою, а действие твое будет сочтено в два раза менее виновным...

Ульпиан не ожидал этой выходки с моей стороны и рассердился не на шутку.

— С вами пива не сварить, — сказал он, — голова у вас совсем не юридическая. Я вам излагаю все тонкости построения известного юридического понятия, а вы, вместо того чтобы любоваться их красотой, пускаете в ход вашу мелкую критику. Глядя на статую Венеры медийской, вы способны заметить, что у нее не ловко надет на ногу котурн, или раскритиковать складки ее платья или ее прическу.

Спор был исчерпан, мы и расстались, с тем чтобы опять сойтись после некоторого времени и опять спорить о каком-нибудь вопросе. Хотя я не убедился вполне доводом Ульпиана и никак не мог стать на точку зрения артизма юридического, с которой он смотрит на всякий вопрос, однако, размышляя потом о предмете нашего спора, я нашел, что упорное отстаивание Ульпианом теории взлома имеет некоторое основание. Юридические теории и формы похожи на те леса, которые ставит архитектор при возведении здания; они не красивы, но без них нельзя обойтись. Их можно разобрать, но вместо разобранных надобно поставить новые. Взлом и есть одна из этих несовершенных форм, употребляемых для вывода возможно справедливого наказания за кражу; эту форму можно устранить, но надобно вместе с тем придумать другой какой-нибудь признак, другое обстоятельство, по которому бы можно было определить в известной постепенности наказание. Я задался мыслью приискать такие формы, посредством которых можно было бы заменить форму взлома, я долго носился с этою мыслью, но до сих пор не придумал ничего.

ДЕЛО БУЛАХ,
*обвиняемой в причинении с корыстной целью рас-
стройства умственных способностей Мазуриной*

В январе 1881 года до прокурорского надзора г. Ржева дошли сведения, что живущая в учрежденном на ее средства духовном училище потомственная почетная гражданка девица Анна Васильевна Мазурина лишена свободы начальницей училища Н. А. Булах, что помещается Мазурина в комнате, имеющей сообщение лишь с квартирой Булах, никуда оттуда не выходит, не бывает даже в церкви и бане, доступа к ней почти никто не имеет, а те, кому приходится случайно видеть главную учредительницу училища, поражаются ее бессмысленным и неряшливым видом.

Судебный следователь, прибывший в училище, нашел Мазурину в состоянии, близком к идиотизму.

Находившийся при осмотре врач, принимая во внимание, между прочим, то обстоятельство, что во время своей бессвязной речи Мазурина не отрывает глаз от взора Булах, заключил, что больная находится под сильнейшим влиянием последней, что воля ее вполне подавлена и что, если Мазурину отделить от этого влияния и оказать ей медицинскую помощь, ее умственное состояние может быть до некоторой степени улучшено.

Предварительным следствием по этому делу обнаружены следующие факты.

А. В. Мазурина родилась в Москве в 1843 году, дет-

ство свое провела в монастыре с болезненной матерью-вдовой. По смерти матери круглая сирота поступила под опеку родных и перешла жить в дом бабушки своей А. М. Зевакиной.

В 1861 году Мазурина получает в свои руки весьма значительный наследственный капитал в размере 514 426 руб., а в 1863 году внезапно тайно скрывается из дома бабушки вместе со своей гувернанткой Булах, захватив часть своих капиталов и драгоценные вещи. Потом оказывается, что они обе живут во Ржеве, где у Булах есть родные.

По мнению знавших Мазурину людей, побег ее объяснялся исключительно влиянием Булах, которая, с одной стороны, приобрела любовь питомицы, во всем ей угождая, а с другой, принимая личину угодливости, всячески старалась перессорить девушку с родными.

Во Ржеве гувернантка тотчас же отстраняет от Мазуриной всякое постороннее влияние, — даже портниха не видит девушки и шьет ей платья по старым образцам. Родных, делающих попытку видеть Мазурину, Булах приказывает выгонять. Протоиерей Попов, старик, удален от знакомства с Мазуриной, после того, как в разговоре наедине предложил ей жениха. В то же время Булах внушает своей питомице мысль готовиться к монастырю, советует надеть черное платье.

В 1864 году Мазурина уже дает Булах доверенность на замену билетов Коммерческого банка и Сохранной казны другими билетами, а лавки свои в Москве около этого же времени продает при посредстве племянника Булах. С этих пор у Булах и близких ей людей начинают появляться дома быстрорастущие вклады в банках.

В 1865 году Булах и Мазурина учреждают духовное училище, потом приют для призрения детей, — на все это тратится 170 тыс. Начальницей училища делается Булах...

Летом 1869 года ржевская благотворительница выезжает в Тверь. Цель поездки — формальная передача мазуринских капиталов Булах и поступление в монас-

тырь. Деньги передаются, у Мазуриной остается лишь 3000 руб.

Из Твери Мазурина уезжает путешествовать по монастырям, ища, где бы остаться навсегда. Вскоре она, однако, возвращается в Ржев: жизнь в монастырях ей не нравится, — в ней много несимпатичного. Но затем девушка опять начинает странствия по разным монастырям, а в 1871 году едет «с благословения» все той же Булах миссионерствовать на Алтай. В Томске она селится в женском монастыре, но и там думает лишь о возвращении во Ржев. Однако на ее письма об этом Булах отвечает отказом — пишет, что в училище нет помещения для Мазуриной.

Находясь в крайности, Мазурина в 1873 году выезжает в Ржев с женой есаула Буяновой. Приезд, очевидно, неприятен Булах. Буянову немедленно удаляют: ее не допускают даже проститься с Мазуриной. Вернувшись в Томск, Буянова пишет Мазуриной письмо, но ответа не получает.

С этих пор бывшая богачка начинает вести уединенный и странный образ жизни, не занимается делами, не одевается и, наконец, впадает в состояние слабоумия. Даже для случайно встречающихся с ней людей замечен упадок ее физических и нравственных сил от недостатка общества, чистого воздуха, движения и каких бы то ни было занятий; одна Булах, по-видимому, не обращает на это внимания и не дает больной никакой медицинской помощи. Лица, могущие обнаружить болезненное состояние Мазуриной, особенно люди влиятельные, не могут во время посещений училища добиться разрешения видеть главную учредительницу его. Люди, обнаружившие поползновение войти в какие-либо сношения с Мазуриной, удаляются, а порой и прямо преследуются Булах. Так, начальнице приюта Волковой отказывают от должности за то, что в отсутствие Булах она вошла к Мазуриной.

Так идет дело до января 1881 года, когда было возбуждено уголовное расследование по поводу отношений Булах и Мазуриной.

Как только удалось отделить Мазурину от Булах и дать ей лучшее помещение, здоровье пострадавшей, видимо, начинает улучшаться. Она, как дитя, радуется удобствам жизни, прилично одевается, ищет общества, у нее, наконец, появляются признаки сознания, речь приобретает более осмысленности. Из слов ее можно заключить, что она вовсе не была расположена к тому образу жизни, какой вела под влиянием Булах, и не выходила никуда, только боясь эпидемий, которыми ее постоянно пугали.

Под влиянием тоски, одиночества, бездействия и советов своей наставницы, утверждавшей, что смерть есть переход к лучшей жизни, который всякий человек вправе устроить себе сам, Мазурина не раз помышляла о самоубийстве, но не знала, как это сделать.

Булах — вдова небогатого врача, бывшая крепостная, воспитанная за счет помещицы, до поступления к Мазуриной ничего не имела. В 1881 году у бывшей гувернантки оказывается до 400 000 руб. в банке, которые она спешит вынуть, как только возбуждается против нее дело.

Зато у Мазуриной при следствии оказывается почти полное отсутствие даже носильного белья.

Врачи, свидетельствовавшие потерпевшую, нашли, что она находится в состоянии неизлечимого постепенно развивавшегося слабоумия — результат ее продолжительного одиночного заключения и полного бездействия умственных способностей. Из всех способностей у Мазуриной сохранилась только память. Сравнительно хорошо одаренная от природы, немного робкая, застенчивая и нелюдимая, девушка прожила бы, вероятно, счастливой и здоровой, не будь хорошо рассчитанных действий Булах, развивших в ней чувство полной несамостоятельности, желание свою слабую волю подчинить воле другого лица, которое и навязало Мазуриной образ жизни и цели, чуждые ее натуре. Не случись перемены обстановки, Мазурина прожила бы недолго.

Над личностью и имуществом потерпевшей учреждена опека.

Судебные заседания по этому делу происходили 18, 19, 20, 21, 22 и 23 мая 1884 года в Москве под председательством председателя Московского окружного суда И. Н. Лаврова. Обвинял прокурор Московской судебной палаты С. С. Гончаров. Гражданскими истцами со стороны опеки явились присяжные поверенные Ф. Н. Плевако и С. В. Щелкан. Защищал подсудимую присяжный поверенный П. А. Швенцеров. Потерпевшая Мазурина на суд не явилась.

На решение присяжных заседателей поставлен вопрос о виновности Булах в том, что, подчинив слабую от природы волю Мазуриной всецело своей воле, а затем, достигнув передачи последнею ей, Булах, большей части своего состояния, она в 1873 году, живя в Ржеве с Мазуриной и заметив в ней предрасположение к психической болезни, с намерением нанести вред здоровью Мазуриной, как физический, так и нравственный, окружала ее в течение семи с лишним лет вредной обстановкой, чем заведомо довела к 1881 году до полного расстройства умственных способностей, выразившегося в состоянии неизлечимого слабоумия.

Присяжные ответили на этот вопрос утвердительно, не дав подсудимой даже снисхождения.

Суд приговорил: подсудимую Булах, лишив всех прав состояния, сослать в не столь отдаленные места Сибири на поселение.

Гражданский иск предоставлено рассмотреть гражданскому суду.

РЕЧЬ ГРАЖДАНСКОГО ИСТЦА В ЗАЩИТУ ИНТЕРЕСОВ ОПЕКИ А. В. МАЗУРИНОЙ

Господа судьи и господа присяжные заседатели!

Есть на свете больная и жалкая слабоумная девушка — А. В. Мазурина, бог знает зачем коротающая ни себе, ни людям не нужную жизнь.

Есть на свете другая женщина, — она перед вами, — почтенного вида и преклонных лет, которой, казалось,

не след и сидеть на скамье позора, на скамье отверженных общества.

А между тем судьбе угодно было связать общей нитью эти две противоположные натуры.

Замечательная энергия, завидная сила воли этой и бессилие и безволие той — дали место драме, реальностью ужасов и страданий превосходящей сотни созданий фантазии сердцеведов, по которым мы изучаем внутренний мир человека.

У этой драмы до сегодня недоставало только эпилога. Какой он будет — трагический или комический, с победой добра в конце концов или же с вакхическим смехом торжествующего и безнаказанного порока, — это досочините вы и напишете нам на том листе, который, по окончании наших прений, вручит вам руководящая вами и нами судебная коллегия.

Наша драма разыгрывалась во многих уголках России, но самый главный момент ее, на который вы обратили особое внимание, происходил в Ржеве. В этом городе есть два выдающихся благотворительных заведения, воздвигнутые на средства Мазуриной, но управлявшиеся Булах. В одном из этих заведений есть небольшая, сомнительной опрятности, комната, которую следовало бы сохранить как исторический памятник растления нравов. Знаете ли что это? Это — единственное убежище, и то данное нехотя Булах Мазуриной, созидательнице этих домов, когда она, нищая и больная, постучалась у ворот, прося корки хлеба и кровя для ночлега...

Главные деятели драмы вам уже названы. Отметим выдающиеся черты их.

Мазурина — дочь и наследница богатого отца; в детстве она не выдавалась особо сильными способностями, но и не была обижена судьбой. Она была молода, сильна надеждами юности, у ней был, — правда, небольшой, — умишко, который ждал только опытных рук для своего развития.

Булах от воспитателей и мужа не получила богатого наследства, но зато ей было много дано судьбой. Она

много знала, могла этим знанием добывать себе честный кусок хлеба.

И они встретились.

Настало время учения, родственники Мазуриной пригласили к ней подсудимую. Началась священная связь воспитательницы и питомицы: эта учила, та училась.

И вот, когда курс учения кончился и данный Богом талант Мазуриной дошел до того предела, который соответствовал взглядам руководительницы, она, гордая своим успехом, потребовала плату, выплатив которую ученица осталась нищей...

Что же она взяла и что дала?

Было у Мазуриной прекрасное состояние, обеспечивавшее спокойную жизнь, — его взяла Булах, взяла до последней крохи. У Мазуриной были молодые силы и умишко — их не взяла Булах, потому что в уме не нуждалась, — у нее своего довольно, как гордо заявила она в своем литературном труде, вчера здесь прочитанном, — а молодые силы не передаются от лица к лицу. Но эти силы и этот ум мешали Булах, — и она растоптала, уничтожила их; а когда довела ее до потери разума, этого образа божества, когда довела ее до состояния мумии, мычащей наподобие человека, разбила, растоптала живую душу, — она признала курс учения законченным, а себя — правомерной и законной обладательницей того, чего не нужно более ее воспитаннице...

Опытная, глубоко проникающая в жизнь, Булах знала, что мир завистлив к быстрому обогащению, что, как пес, лающий на татя, пробирающегося к чужой сокровищнице, огрызается мир на всякое незаконное присвоение чужого. Она бросила этому миру подачку, — бросила два куска, в образе двух, чужими руками созданных, заведений любви и милости, и пока, обнюхивая и смакуя добычу, мир прервал свое ворчание, — одетая в тогу благотворительности, окруженная почетом, Булах не дремала: казнохранилища Мазуриной опустели, а у Булах — и не только у нее, но и у всех ее присноблизких — воздвигнулись богатые хоромы, а в

них закрома... И наполнила она их казной через край, захватив, без всяких прав, чужое добро, чужое достоинство.

История этого превращения богатой питомицы в нищую, а бедной гувернантки в богачку и составляет преимущественное содержание дела. В обвинительной речи прокурора эта история освещена лучами света правды подзаконной, и мы видим, какую длинную, слишком длинную и черную, тень кидали от себя факты из жизни подсудимой.

Теперь очередь за мной, теперь меня послушайте, пришедшего ходатайствовать за разбитое и больное существо...

Я пришел с более смиренной целью: добиваться с вашей помощью того, чтобы в годы будущей печали и отчаяния несчастной жертвы закон обязал эту женщину из того, что она еще не прожила или не сумела схоронить от власти, — дать хотя бы ничтожные средства для борьбы с нищетой и голодом жертве своего бессердечия. Идя к этой цели, я, может быть, во многом разойдусь с представителем обвинения. Не смущайтесь: это не противоречие. Мы идем с ним к одной цели, по одному направлению. Но, сохраняя за собою свободу мнения, я не хочу отказаться от права всякого человека — определять прямую и кратчайшую линию, идущую к данной точке, своим глазом и своим разумением.

Итак, вот положение, которого я буду держаться и в чем хочу вас убедить: Булах не с момента встречи с Мазуриной задумала преступление. Ряд эгоистических предприятий ее и в Москве, и даже в Ржеве, вплоть до захвата состояния Мазуриной, будучи рядом безнравственных действий, истекающих из ее характера и взгляда на цель жизни, — не был преступлением в смысле закона. Преступление началось с возврата Мазуриной из Сибири, когда для обеспечения себе приобретенного положения и средств Булах увидела, что ей полезно не допускать к Мазуриной посторонних, держать ее безвыездно в Ржеве и, в особенности, не только не заботиться о ее выздоровлении от ясно обрисовавшегося душевно-

го недуга, но и способствовать ему идти к своему довершению.

Развивая эти положения, я не буду вновь перечислять перед вами оглашенные здесь факты дела. Я думаю, что судебный оратор, говорящий перед присяжными, и не должен этого делать: вы ведь недаром и не бесцельно здесь сидели; летопись событий повторялась преимущественно для вас, и ваше соборное единомыслие и память, конечно, лучше нас сохранили виденное и слышанное. Мое дело, на основании вам известного, дать общие взгляды. Если же взгляды не будут противоречить тому, что было, вы их примете, вы им поверите. Но если мои взгляды будут основаны на произведении моей фантазии, на фактах несуществующих, вы поднимете в недоумении свое чело и скажете мне: «Равви! Что это?..» И отвергнете мое слово.

Точно так же я не буду стараться ввести в мои слова вывод из всей совокупности фактов. Масса сведений, нам сообщенных, поразительна, но она не вся идет к делу; попытка воспользоваться ими всеми была бы даже ошибочной. Подобно скульптору, стоящему перед глыбой мрамора, адвокат должен угадать, какое цельное, говорящее уму и сердцу, живое, жизненное создание воспроизвести из данного материала, и, угадав, смело своим резцом отсекает ненужное как массу мертвой материи.

Во имя положения, мной поддерживаемого, я прошу вас из разных периодов совместной жизни Булах и Мазуриной удержать пока имеющее несомненное значение — то, что вы сейчас услышите. Я постараюсь зато нашему вниманию дать материалы, не заимствованные из спорных источников; я возьму только такие обстоятельства, которые не отвергают обе стороны или которые, как очевидные истины, не вызывали даже и попытки сомнения.

В московской жизни деятелей нашего процесса запомните черты, рисующие раннюю молодость Мазуриной.

Ребенок рано лишился отца и, живя с матерью, ко-

нечно, сохранил в себе впечатления, оставленные ему ею.

Мать ее была женщина веры, любви и отречения. Богатая вдова, имевшая возможность окружить себя благами мира, она уходит в монастырь, отрекается от богатства, как от греха, и, в тиши кельи, молитвой и милостыней наполняет жизнь.

Девочка впитала в себя взгляды матери: на всю жизнь осталось в ее душе неуничтожимое, перешедшее из мысли в ощущение, связанное с ее натурой, мнение, что богатство — тягость, долг Богу, который мы должны отдать через руки нищих. Дитя, когда оно было уже круглой сиротой и когда неравенство состояний являлось ей лишь в образе ее с ее богатой родней, а с другой стороны — в образе бедной и нуждающейся прислуги, любило утешать последнюю словами: «Когда вырасту и буду хозяйкой, я не стану держать вас так, — я дам вам много, много...»

Ребенок сохранил и другую черту материнскую — нелюбовь к блеску и роскоши. Сама она без ропота переносит те неудобства, которые впервые испытала у бабушки.

Но все это отходит на второй план при воспоминании об одной черте детства: у ребенка было любящее сердце, то сердце, которое самой природой награждается способностью нести радость и счастье тем, к кому оно стремится, а с другой стороны — до поры до времени ограничивается в выборе предмета любви. Детское сердце еще не знает ни той любви, которая вспыхивает с годами, сверстниками страстей, ни той, которой болеют за все человечество. Детское сердце способно любить и довольствоваться любовью к тому, кто дал ему жизнь и питает его.

Но, рано потерявшая отца и мать, круглая сирота тщетно носила эту свежую силу в сердце: ее не к кому было применить и некому было отдать. Дитя привязалось бы к бабушке, но эта последняя, принявшая ребенка в дом не с первых дней его появления на свет и к тому же по натуре холодная женщина, не сумела при-

взвать к себе ребенка: сердце, искавшее любви, было одиноко и рвалось к другому сердцу.

И вот в эту-то пору ребенок поступает на руки Булах. Его доселе не удовлетворенное ласками прислуги сердце кидается навстречу новому лицу; а это лицо, путем исполнения долга учительницы и воспитательницы, захватывает все затребы молодой души.

Пусть Булах руководило здесь только расчетливое и вместе отчетливое исполнение свое службы, пусть любовь и сердечность отсутствовали: ребенку этого не понять. Предубеждение, что инстинкт открывает дитяти теплоту или сухость тех, кто его ласкает, — неверно. Чистые сердцем всюду видят то же согласие между делом и намерением, какое живет и в их душе...

Теперь рядом поставим Булах и по отдельным чертам, уцелевшим от ее прошлого, восстановим и ее облик.

Оставшись вдовой и поместившись в Москве для приискания занятий, Булах сразу сказалась натурой, ищущей прежде всего выгоднейшего приложения своего труда: стоило ей дать сравнительно более, чем получала она в данном месте, она переходила на новое. Нельзя же предполагать, чтобы в том, доселе почтенном московском купеческом семействе, где ее застает г-н Филиппов, она была обделена или дурно содержима. Это была, одним словом, натура, ищущая, где лучше ей жить, и для этого пренебрегающая привычками и привязанностями.

Если же, уподобясь историкам и социологам, объяснять настоящее, пользуясь указаниями прошлого, и наоборот, то из последующих данных, припомнив гордый и властный, не знающий сострадания и прощения характер Булах, мы можем сказать, что, поступив к Мазуриной, подсудимая не руководилась желанием более ей подходящего места: поддаваясь временно необходимости — «мелким бесом унижаясь пред родней Мазуриной», — обеспечивать себе прочность положения, Булах не желала и не могла далее оставаться в бездействии, а всякий момент времени, когда это могло пред-

ставиться надежным, она стремилась устранить принижавшие ее препятствия и достигнуть высшей роли сравнительно с ролью наемной и вечно зависящей от каприза родственников Мазуриной интеллигентной слуги дома.

Ее положению угрожает ворчливость няньки, — она отдаляет от нее питомку, ей опасно возможное в будущем родственное сближение бабушки с подрастающей внучкой, — она взаимно возбуждает их друг против друга. Нетребовательной девушке она внушает мысли, благодаря которым та заявляет и, при посредстве опекунии княгини Оболенской, достигает перемены помещения, отдельного хозяйства и будто бы необходимой для девушки самостоятельности.

Но и этого мало. Московская жизнь даже и в лучшей обстановке делается неудовлетворительной для девочки, — она уезжает во Ржев.

Кому же нужно было бежать из Москвы? Г-же Булах или Мазуриной?

Я утверждаю, что это нужно было Булах.

Вот мои аргументы.

Из всех уголков России избирается Ржев, город, с которым у Мазуриной не было никакой связи. У Булах — наоборот: там ее свойственники, ее сын; туда посылала она советные письма, приглашая помочь побегу. Для Мазуриной, полной любви и желания посещать святыни веры, Москва могла быть сменена Питером, Киевом, но не Ржевом. Ни исторической святыней, ни широтой жизни общественной Ржев не выдается среди городов России.

Бежала ли туда Мазурина, ища свободы, удобств жизни?

Нет! Ни та обстановка, в которой нашли ее в 1881 году, ни та, в которой она жила в шестидесятых, — не лучше, а хуже позднейшей московской обстановки.

А свобода? Да когда же в Москве стесняли так девушку, как стесняли ее во Ржеве! Возьмите всю совокупность свидетельских показаний — и останется в

итоге, что видеться с Мазуриной было нелегко, писать ей — значило терять даром время.

Увезти туда Мазурину, уговорить ее там поселиться — был прямой расчет для Булах: этим расчетом связь с Москвой разрывалась, уничтожалась возможность потерять место по домашним соображениям мазуринской родни.

Следует взять во внимание и то, что богатство и возраст девушки делали ее в начале 60-х годов предметом искательств для брачного союза. Найдется муж, увезет жену и вытеснит из сердца привязанность к гувернантке.

Бегство Мазуриной из Москвы было уместно, пока ее теснили, в год же ее отъезда она пользовалась наибольшей самостоятельностью. А для Булах это было подходящим временем: теперь Мазурина получила деньги и не обязана никому давать отчет, теперь вместо роли зависимой гувернантки она чувствовала наступившую новую пору, — пору руководительницы богатой и независимой девушки, пору, лучше которой пока ничего и не желала Булах, но зато и не желала потерять того, что приобретено...

Теперь последуем за ними во Ржев.

Нет никакого сомнения, что хорошо изучившая почву Булах понимала, что как бы ни была податлива ее питомица, но нельзя забирать власть над ней далее пределов упругости личности.

Прибавьте к тому и то, что Булах, еще недавно бедная труженица, при переходе к достатку имела сравнительно неширокий идеал удобства. Только достигнув одной ступени и свыкнувшись с ней, она мечтала о лучшей и делала шаг далее. Это общий закон.

Прилагая этот общий закон к событиям, становится понятным, что первый период ржевской жизни не мог быть полной подавленностью Мазуриной: надо было фактами поддержать авторитет совета ехать именно сюда; надо было здесь дать пищу наклонности Мазуриной — благотворить и любить нуждающееся и страждущее человечество. Отсюда ей дают указания на способ

благотворения и сосредоточивают на устройстве двух широко задуманных учреждений любви и милосердия. При этом Булах, еще стремящаяся только к прочному сожителству с Мазуриной, как к теплому и почетному месту, не идет далее совета сделать и ее номинальной участницей жертвования, а вместе учредительницей и пожизненной распорядительницей воздвигаемых заведений.

Личные цели ее пока еще умеренны: все ограничивается тем, что местная портниха получает заказ на платья более богатые для нее и менее богатые для Мазуриной, да одной парой новых сапог стало продаваться более во Ржеве, потому что до той поры шатавшийся без дела, одетый в старое платье и дырявые штиблеты сын Булах, Николай Егорович, вдруг стал одеваться и обуваться прилично и, досель нуждавшийся в 5 к., чем уплатить долг за бритье цирюльнику, стал заказывать новые одежды и даже модный халат для своего обихода.

Вскоре, однако, податливость Мазуриной, считавшей Булах за высший образец того, к чему она стремилась, а с другой — ее дальнейшие благочестивые намерения принудили задуматься Булах и дали толчок следующему шагу — из роли подруги-руководительницы в роль властной распорядительницы судьбой покорной ученицы-подруги.

Дело в том, что Мазурина, создавшая дома призрения для ржевских бедных девушек, обеспечившая их, имела большую часть своего имущества еще не тронутой. Но эта натура не могла остановиться на полдороге в своих намерениях и одной частью своих дел отрицать другую. Коли деньги — грех, коли добро и милость — долг и потребность души, то она хотела отвернуться от всего греха и исполнять долг до предела ее сил. Денег много, а бедных на Руси еще больше: значит, надо ехать, смотреть, искать и благотворить.

Вот этого-то и не захотела Булах. Мазурина уедет, уедут с ней ее средства, а Булах ничего более не приобретет, кроме того, что уже есть, что уже пригляделось, что только раззадорило аппетит.

Булах пошла далее.

Отпустить Мазурину — значит отпустить ту имущественную силу, около которой тепло и уютно жилось Булах. Податливая под чужую волю, впечатлительная и доверчивая, Мазурина встретит новых людей, новые нужды и другим отдаст то, что так ценно в ней, — ее богатство.

И вот, рядом советов и решений, Мазурина убеждается в том, что лучшего помещения для денег, лучшей гарантии, что они будут отданы на добро, как в передаче их всех на руки Булах, — нет.

И Мазурина отдает, уверенная, что этим обеспечен переход их на добрые цели, что надежный поверенный ее намерений остается при деле, а она может, оставив себе только умеренную долю, — всего 5000 руб. на всю жизнь, — ехать и искать места полного душевного покоя; если же встретится ей надобность в деньгах, для себя или для бедных, ей стоит сказать — хранительница выполнит ее волю.

Деньги переданы. Мазурина соблюдает все формы, какие необходимы, а Булах осведомляется у одного из своих родственников, сильного в знании законов, достаточно ли крепки формы перехода к ней имущества Мазуриной. Перечитываются статьи закона, пересматриваются документы, предусматриваются случаи, при которых возможно возвращение дара. Только укрывает Булах на семейном совете, что дар этот оставляет дарительницу нищей, укрывает, что дарительница, не чая души в своей воспитательнице, делает не то, что хочет, а то, что ей советуют.

Словом, возбуждены и разрешены были все вопросы формы и права, а не было и помина о том, что вопросы справедливости и морали требуют и своего участия в деле, и ответа на них.

Однако мнение юриста-свойственника, что дар возвращается в случае доказанной неблагодарности, а может быть, и боязнь мнений света, где Булах заняла и положение и уважение, заставляют ее прибегнуть к старому, давно практикуемому приему искусственного

обеления своего не совсем хорошего для самой себя поступка.

Она, — если допустить, что странная молва, о которой говорил г-н Филиппов, и подтверждающая эту молву мука, тяготившая душу покойного святителя, митрополита Филофея, имели основание, — она, говоря, припутывает к делу местного архипастыря, — дарит ему не лично, но как епархиальному начальнику на нужды церкви 30 000 руб.

Это маневр тех, кто знает за собой грех, — они любят становиться за людьми чистыми и их достоинствами прикрывать свои проступки: смотрите, не я одна, но и святитель не побоялся взять из этого источника, — значит, дело чисто и поступок праведен... Но это старый, избитый способ, и в наше время вы никого им не обманете!

Отдавая деньги, Мазурина уезжает.

Но, прежде чем мы ее встретим еще в Ржеве, остановимся на данном периоде жизни: мне нужно убедить вас, что, уезжая, Мазурина не дарила, а только препоручила свои деньги, как фонд своих будущих целей.

Вот мои доказательства по этой части моих утверждений:

1) Весь строй души Мазуриной — ее неизменные, даже позднейшим слабоумием непоколебленные основы ее взглядов на богатство доказывают, что дарение состояния одной личности было бы противоречием ее природе.

2) Письма Мазуриной свидетельствуют о том, что дара не было.

3) Несвязные речи периода слабоумия оставляют впечатление, что денег она не отчуждала от себя.

С детства привыкнув тяготиться деньгами, как грехом, с детства стремившаяся ими утешить горе страждущих, глубоко убежденная, что и Булах живет и согрета той же любовью и теми же помыслами, Мазурина не поверила бы, если бы услышала, что Булах стремится к личному обогащению. Дать все свое 300-тысячное состояние ей одной, перенести на нее тот грех и ту тя-

десть, которые мучили ее, она не могла, не впадая в непримиримое противоречие. Булах не возьмет, обидится, оскорбится такой черной неблагодарностью. Деньги могут быть на руках Булах только для передачи бедным: ведь они и взяты от них...

Позднее, уже совсем безумная, она продолжала лепетать: «Мужички бедны, мы им должны давать, это — их...» Более здоровая, она поступила так, как говорила, и кассу бедных отдать в дар хотя бы подруге, опять для богатой и роскошной жизни для Мазуриной было так же невозможно, как взять и утаить чужое.

Вспомните письма Мазуриной, писанные после совершения дара: есть ли намеки на радость, испытываемую тем, что любимая воспитательница награждена до возможности жить на широкую ногу и утопать в блаженстве? Есть ли заочные мечтания о той обстановке, в которой может жить теперь царственно одаренная подруга-руководительница?

Нет! Мазурина пишет о своем вечном долге перед потерявшей на нее время воспитательницей, извиняется за причиненные беспокойства, мечтает о Ржеве и просится туда; зовет Булах к себе на краткое свидание и опять извиняется, что ее беспокоит.

Так не пишут к тому, кто награжден до возможности комфорта и кого не стесняют расходы, вызываемые краткосрочной поездкой на свидание к своему щедрому дарителю.

Наконец, о том, что дара не было, свидетельствуют и полубреде и в минуты ослабления душевного недуга слова, высказываемые Мазуриной. Она говорит о деньгах, что они — ее деньги и их надо взять; иногда она говорит, что их не надо трогать, потому что Булах знает, что с ними делать, что их — 200 000 руб., что они целы.

Не бойтесь прислушаться порой и к бреду больной: разрушенный человеческий организм, как старые руины древнего храма, своими остатками иногда красноречивее свидетельствуют об истине, чем живые и здоровые люди. Здоровый человек, имея свободу воли, может сознательно извращать истину; больной и безум-

ный, если его язык беспрестанно повторяет одно и то же, как мертвый своей смертельной раной, не давая сознательного ответа, дает путь к уразумению правды...

А допустив, что под наружными формами дара скрывалось препоручение денег на добрые цели, мы совершенно ясно поймем и повод к преступлению, совершенному Булах по возвращении Мазуриной из Сибири, и необходимость его для нее.

Киевского периода, жизни в Сибири, воспроизведенной показанием Буяновой, — всего этого нечего повторять. Лучше отдадим себе отчет, каким образом могло случиться, что г-жа Булах вдруг изменила свое отношение к Мазуриной и отпустила последнюю.

Дело просто: все, что привлекало Булах к ее ученице, ее сила, — в руках у ней: Булах богата, сильна; теперь люди, вновь приблизившие к себе Мазурину, возьмут у Булах то, что она выносила как бремя, а то, что ей нужно — деньги, — в ее руках: крепко держит она их. Устои надежны, осмотрены и одобрены советами людей, сведущих в законе...

Вдали отыскивающая себе место успокоения, девушка, полная и теперь веры и любви к своей учительнице, едва ли переменит образ мыслей. Булах, зная ее безвольной, еще не знает, что эта слабость характера — плод душевного недуга. Она уверена, что Мазурина спокойна, что деньги ее пойдут на добро, и не заикнется о них. А там, среди скитаний и аскетических трудов, глядь, и кончит свое земное странствование, надломленное существование... Тогда конец всему, конец сомнениям и заботам...

Но судьбе угодно было поразить г-жу Булах неожиданностью, спутавшей все ее расчеты.

В 70-х годах, в одно прекрасное утро, к воротам одного из мазуринских богоугодных заведений подъехала телега, а в ней сидела Мазурина с какой-то женщиной. Долго, долго не видели бедные люди своей благотворительницы и, увидав ее, с криком: «Вот мать наша приехала!» — бросились к ней навстречу.

Бросились с теми же приветствиями и прислужники

дома, ничем ей не обязанные, но благоговевшие перед ее добротой. Одна Булах, пораженная, встречает ее сухо, нерадостно; друзья и враги Булах не проронили ни одного слова здесь, из которого можно было заключить о ласке, поцелуях и объятиях...

Когда к нам неожиданно является друг и близкий из дальнего странствия, когда он своим приходом приносит нам счастье и наслаждение, все и все, что способствовало этому другу вернуться к нам, все и все нам дорого, нам любезно. Ямщик, слуга, послуживший ему, в этот час нам близок, приятен...

А г-жа Булах? Как приняла она Буянову, 4000 верст проехавшую, чтобы помочь Мазуриной доехать до Ржева?

Она не удостаивает ее слова, она сажает ее с прислугой, она обрезывает всякую копейку, возвращая ей дорожные издержки, — да и это дает только потому, что наутро считает долгом выпроводить Буянову вон из города.

А Мазурина? Ее вместо радостной встречи ждет здесь суровая доля; ей, со властью былого времени, запрещается свидеться даже с той, которая оказала ей услугу. Ни во что считает Булах тот стыд, который она вызвала у Мазуриной, не смевшей исполнить простого долга гостеприимства перед той, кого звала она, надеясь вознаградить ее ласками, как своими, так и своей подруги-воспитательницы...

Но что же делать с Мазуриной?

Этот вопрос должна была задать себе Булах.

Выгнать вон ни на что более не нужную нищую? Но что будут говорить в городе, в печати? Ведь девушку знают все, ведь заступятся за нее! Кто знает, может быть, родственники заговорят о возврате дара? Найдется человек, — не один же Т. И. Филиппов имеет добрую душу, — возбудит дело. А Булах дорожит репутацией, дающей ей положение и обеспечивающей ее от неосторожных покушений заподозрить ее в нечистых способах обогащения.

Нет, отпускать Мазурину нельзя. Там, далеко, в Сибири и в Киеве, — другое дело: там Мазурина безопасна.

Но у девушки нашлась энергия выдержать долгий путь и вернуться во Ржев; более отпускать ее бесцельно.

Остается одно — держать ее около себя. Для этого не нужно тюрьмы: без гроша в кармане, без достаточной силы, чтобы не смутиться властью Булах, Мазурина будет опять покорна, как рабыня. Не нужно будет теперь и ухаживать за ней: она ничего более дать не может.

И приговор произнесен: свобода сношений с миром, с теми самыми детьми, которые воспитываются на средства Мазуриной, с отцами их, с подчиненными, — все устранено с удвоенной строгостью.

А между тем возвратившаяся из Сибири Мазурина привезла зерно болезни, которое быстро дало рост под давлением на ее душу обстоятельств, перевернувших в ее глазах все ее мирозерцание.

Она увидала, что вместо ласки, дружбы, о которой она так долго и постоянно мечтала и писала, ее окатили холодностью бессердечия; идеал благотворения, верная хранительница ее казны, посвященной на добро, оказалась эгоисткой, скрягой, отказывающей ей в нищенской подачке, изгоняющей из дому ее подругу и открыто завладевшей в свою пользу и в пользу детей своих благами, данными ей с другой целью.

Все перепуталось в голове Мазуриной, а ее умственные и нравственные силы и без того были утомлены: до сих пор, отрекшаяся от всего, она жила в Ржеве, хоть скудно, но — необходимое у ней было; Киев и Сибирь впервые познакомили ее с тернистым путем отречения на самом деле: она не раскаивалась, не отступала, но она падала, уставала и разбила свои не закаленные в труде силы...

Удар, нанесенный на ослабевшие силы, само собой, еще легче в конце пошатнул их.

Мазурина заболевает. Род ее болезни становится очевидным. Умной ли женщине, как Булах, не заметить этого?

И она заметила, но не вопросом, как помочь не-

счастной, занялся ее ум: что делать, чтобы не упустить своих выгод, — вот что теперь было на очереди.

Еще опаснее, чем прежде было, еще опаснее стало опустить Мазурину, ее отдадут в больницу, учредят опеку и... поколеблют то положение, которое завоевано Булах.

Самой отправить ее в подходящее заведение — тот же результат, опека, иски о возврате подаренного... К чему же было столько трудиться? Неужели отдать назад взятое, отдать деньги?

А для г-жи Булах деньги — все: божество и сила. Ведь и здесь, на суде, и всем поведением своим не дает ли она знать, что, в противоположность библейскому Иову, она не благами сокровища отдает, чтобы соблюсти душу, но, наоборот, она лучше отдаст и отдает себя на распятие, но зато скрывает то, что ей всего дороже, — награбленное богатство; скрывает так, что едва ли соединенные усилия суда и власти что-нибудь отымут у нее.

Остается держать, держать девушку, удесятерив меры разобшения, которые принесли плоды и прежде: пусть никто не знает о ней ничего, пусть не доходят до властей и родичей соблазнительные слухи о ее болезни.

Относительно низших по положению издаются строгие повеления: не допускать, гнать, сменять за попытку свиданий; а в отношении сильных пускается хитрость и дерзость: тщетно стараются проникнуть к Мазуриной духовники, учителя. Изгоняются и отступают архиереи и губернаторы. А когда один из архипастырей во что бы то ни стало хочет увидеть аскетку-благотворительницу, Булах становится между ним и дверью и озадачивает его своими каноническими познаниями: «Отец, — говорила она ему, — девушка больна и полураздета, а кормчая не позволяет монаху видеть обнаженное женское тело!»

Болезнь Мазуриной могла быть задержана, дать или обратный ход, к лучшему, или, медленнее развиваясь, на многие годы сохранить в ней разумные человеческие способности.

Но, если сношения с миром прерваны, родственники устранены и, видимо, примирились с этим, — к чему стремиться к здоровью, а следовательно, и к такому состоянию Мазуриной, когда она может требовать назад своего или если и не требовать, то сознательно укорять ее, Булах, за измену делу? Пусть идет своей дорогой разрушающий девушку недуг. Не мешать, а, наоборот, очищать ему путь, чтобы шел он торжественно и быстро к полной победе над своей добычей, — вот что стало мечтой и делом Булах.

Я боюсь верить более убийственным замыслам Булах, но зато в данном поступке убеждаюсь рядом мыслей и выводов из слышанного нами.

Когда дело шло о захвате состояния Мазуриной, сколько трудов на соблюдение форм и обрядов закона, сколько семейных советов употребила Булах!

А когда заболела Мазурина, когда наступил долг позаботиться о ней, пригласить тех, кто силой науки мог бы помешать враждебным силам недуга, — хоть бы одно слово в Питер и тому же советнику своему по делам, чтобы он указал сведущих людей, чтобы обратиться к их помощи!

Сколько заботливости и мер для того, чтобы злоприобретенное закрепить за своей семьей; сколько решительных мер, чтобы остаться безнаказанной, когда началось дело, спасти деньги от иска опеки Мазуриной, мер с точки зрения цели разумных, действительных!

А когда заболела Мазурина, у Булах не промелькнуло мысли, что нужна медицинская помощь, что обстановка, в какой живет та, — убийственна, нравственная атмосфера — невыносима. Не умела сама ухаживать — вспомнила бы, что есть дома для подобных больных; не хотела сама — дала бы знать родству, которое и теперь своим попечением утешило и, видимо, уменьшило больную несчастной.

Наоборот, систематично, бездушно соединено все, что сокращает период разрушения больного ума, устранено все, что, питая и поддерживая силы, отдалает конечную гибель.

Что у Булах в душе не жило ни малейшего чувства к Мазуриной — этому ряд очевиднейших доказательств: обобрав до нищенства девушку, возвратила ли она ей, и ее настоящим положением, хоть частицу?

Нет!

Душа растоптанного существа и ее муки для Булах — ничто. Сотни тысяч, и не сотни тысяч, а один рубль, — для нее выше и священнее прав загубленной личности.

А если настоящее таково, то не ясно ли, что тем же чувством руководствовалась эта женщина и в те 7 лет, когда рядом с ней стонала и медленно таяла ее ученица? Не ясно ли, что боязнь потерять приобретенное и уменьшить его хоть бы на малую долю руководила волею Булах, и она сознательно шла к быстрой и желанной развязке, терпя Мазурину около себя лишь из расчета, чтобы не выпустить в свет улику против своего бездушного эгоизма?

Зло, знающее, что закон и право не одобряют его, не выставляется наружу, а действует тайно, скрытно. Для того же, чтобы достигнуть преступных целей в данном случае, вовсе не нужны были явные и грандиозные меры. Здоровье Мазуриной разрушилось путем постепенного устранения противодействующих мер: люди неопытные могли не замечать их...

Великий поэт Англии Мильтон говорит, что сатанинская природа такова, что она может сократиться до булавоочной головки и носить целый ад зла в груди своей...

Так и поступала эта женщина.

Ее хитрый ум обошел не одних прислужников того дома, где жила Мазурина: люди умные, законоведы, успокаивали ее, говоря, что в ее поступках нет предусмотренного законом преступления.

Может быть, Булах и вам станет говорить про то же. Не идите на этот опасный путь не принадлежащих вам вопросов!

Вас спросят не о том, преступны ли дела этой женщины; вас спросят, творила ли она то, что ей приписывается, и, творя, была ли нравственно повинна. Если

дела ее и ее вина в них, вами установленная, однако, просмотрены законом — суд освободит ее, а если ошибется суд, силу закона восстановит Сенат.

Ваша же задача, судьи совести, — вменить в вину человеку его дела, если они не могли быть совершены без злой и преступно настроенной воли.

Если суд поставит перед вами человека, обвиняемого в том, что он ложными обещаниями вступить в брак довел девушку до самоубийства, и если спросят вас, виноват ли он, что обманул ее, вам нечего рыться в книгах закона для того, чтобы сказать, что он виновен в обмане.

Другое дело — судьи: их дело, получив ваш ответ, справиться, как наказуемо то, что совершил обманщик. Найдя ответ, что деяние ненаказуемо, суд отпустит виновного, и пусть отпустит; это — вина не ваша и не судей, — вина закона или его государственное соображение, что факт ненаказуем.

Вы же, обвиняя, не нарушите вашей обязанности, ибо суд совести тогда и свят, когда руководствуется при оценке людей и их поступков чистыми побуждениями нравственного чувства, вменяя злой воле ее зло и освобождая волю, если она не водилась, совершая ошибку, целями преступными и человеконенавистными.

Обратите внимание и на то, что довести человека до безумия можно намеренным употреблением вредных средств и намеренным устранением полезного: я и мой брат, мы — два злодея, желаем довести до безумия две жертвы: я даю своей жертве сильнодействующее средство, а брат мой томит своего врага голодом, и, когда тот мучится им, он ставит около него хлеб, но мешает ему взять его... Муки голода сводят с ума и этого человека. Я употреблял средство, брат — мешал жертве пользоваться необходимым для жизни, и оба достигли одного результата. Неужели же вы разделите нас: одного сочтете виновным, а другого безнаказанно простите? Всякая мера делания или воздержания от дела, направленная к достижению той или другой цели, есть способ добиться ее...

Но не довольно ли? Не думает ли эта женщина, что надежда на возврат ею взятого руководит по преимуществу нами и теми, кто взял из рук Булах загубленную душу?

О, вы жестоко ошибаетесь, г-жа Булах! Все наши права, все наши средства, которые были, мы бы кинули вам в лицо за то, чтобы вы отдали невозвратно погибшее, — за нашу молодость, силу, душу и разум! Их вы взяли и зверски растерзали человека.

Знаете ли вы, что у нас отнято? Слыхали ли вы, что есть горе и есть страдания, пред которыми смертный час — ничтожный удар, для которых гроб — райская отрада?

Когда пресекается жизнь, преждевременно отнятая людской рукой, у жертвы — если за гранью земного существования нас ждет не ложное обетование веры — есть мир новый, лучшего бытия. И эта вера утешает тех, кто теряет дорогих сердцу!

А безумный? Какая скорбь для его друзей созерцать, как образ разумного создания на их глазах превращается в юродствующее, скотоподобное существо! Какое отчаяние для веры в бессмертное и духовное достоинство личности, когда вчерашний наш брат по разуму и чувству здесь, в мире очевидности, перестает быть человеком, не переставая быть чем-то.

А если безумный иногда на минуту возвращается к сознанию или, наконец, от частных переходов от боли к моментальному просветлению, в быстробегущие мгновения последнего, знает, что оно преходяще? Какую адскую муку должен он испытывать!

Помните у Шекспира сцену тени отца с сыном, Гамлетом?

На краткий срок уходит он из мира небытия в мир живых надежд, чувств и упований. Он спешит скорей-скорей насладиться созерцанием любимого сына и сказать ему все то, что тяготит его душу... Но вот поет петух, утренний, предрассветный ветерок возвещает наступление восхода солнца, и тень спешит назад, в ужасный мир небытия и сени смертной...

Не то же ли и с безумными? Заговорить вновь человеческим языком, зажечь человеческим чувством и знать, что сейчас, сейчас опять — возврат в пучину, худшую смерти, шаг назад из царства разума и духа в царство неразумного и скотского прозябания!

Подсудимая, вы знали, что вы делали, но вы сознательно принесли право ближнего на его жизнь в жертву вашей ненасытной жажде обогащения. И мы, пораженные глубиной вас охватившего порока, не боимся преступления, призывая закон отмщения на вашу голову!

И нам дадут его, дадут перед вашим удивленным взором!..

Знаю я, что непонятно вам все то, что совершается, И — торжествую. Ибо это начало казни вашего злобно-го духа!

Вы жили упованием, что сила — в богатстве, вы думали, как говорит поэт, что «перед золотом гнется копьё стальное правосудия», и вдруг, — о чудное зрелище! — вы, владельница несметного достояния, — на скамье позора! Вас не спасли ни лживый почет, ни сила ваших связей!

А она, нищая и обезличенная, не могущая промолвить слова, стоит перед вами, как личность, имеющая право, правда, не сама, — ей, благодаря вам, этого уже не придется сделать, — но стоит, представляемая мной, пришедшим говорить за нее.

А меня слушают и о бедной заботятся и закон, который вы хотели обойти, и прокурор, не жалевший труда, и судьи, внимательно исследующие событие. Рассудить вас с какой-то ничтожностью, на ваш взгляд, пришли люди общества и терпеливо отдают труд и время, считая вашей жертвой равноправное со всеми человеческое существо! Еще час-другой, и раздастся слово правосудия, которого вы не ожидали...

Расставаясь с местом и уступая его тем, кто будет говорить после меня, я хочу бросить еще одно последнее, сравнительное, соображение по делу.

Десять лет тому назад, в этом самом здании, под этими самыми сводами, на эту самую скамью была при-

ведена женщина, облаченная в черные одежды и обличаемая в черных поступках.

То была — игуменья Митрофания.

Духовная гордыня внушила ей мысль дать учрежденной ею общине, бесспорно благому делу, размеры, превосходящие ее средства. Она не остановилась и подлогами хотела дополнить то, чего недоставало.

Ваши предшественники, сидевшие на ваших местах, спросили у совести и во время ее велений осудили нечистое дело.

Знаете ли, что поступки Булах во сто крат хуже и нравственно гаже поступков Митрофании?

Там дурно понятое человеколюбие и извращенные благочестивые цели натолкнули ее на преступление, а здесь — само благочестие эксплуатировалось как оружие для хищнических захватов.

Там, правда, крали, но краденым, по скудости ума и сухости сердца, думали угодить Богу, воздвигая алтари. Здесь — строили храм молитвы и милости на чужие средства, чтобы в притворах его, заманив свою жертву, растерзать ее!

Далее еще не шло человеческое лицемерие!..

Дадите ли вы право гражданства этому способу наживы?

Не думаю!

Нет, вы отторгнете зло; вы произнесете суд, который будет отражением нравственного мирозерцания вас и того общества, которого вы плоть от плоти и кровь от крови.

Во имя этого общества, во имя правды и справедливости, в которых оно нуждается, я молю вас: воздвигните поправленное право, подайте руку обиженной, защитите сирую и убогую.

Да воскреснет закон в вашем приговоре и да расточатся враги его, явные и тайные, дерзкие и, как крот под землей, подкапывающиеся под его истину.

А нечестивые дела, о которых нам свидетельствовали, и те, нечистые, руки, ими же зло совершено и вне-

сено в мир, от негодующего на неправду людскую мановения вашей властной руки, как исчезает дым, да исчезнут!

ДЕЛО О БЕСПОРЯДКАХ НА КОНШИНСКОЙ МАНУФАКТУРЕ

В заседании Московской судебной палаты с участием сословных представителей под председательством старшего председателя палаты А. Н. Попова 10—12 декабря 1897 года было рассмотрено дело по обвинению нескольких десятков рабочих Коншинской в г. Серпухове мануфактуры в устройстве противозаконной стачки и в участии в действиях публичного скопища, образовавшегося по экономическим побуждениям и проявившего разрушительную деятельность. События, давшие основание к уголовному преследованию обвиняемых, — так называемые фабричные беспорядки рабочих, протекли и на этот раз при обычных для этого периода рабочего движения условиях.

В январе 1896 года рабочие фабрики «Новая мыза» Товарищества мануфактур Н. Н. Коншина в г. Серпухове, будучи недовольны порядками, существовавшими на фабрике, представили управляющему ряд требований о сокращении рабочего дня, об изменении расценок и проч.

Переговоры с управляющим ни к чему не привели, и уже ночью громадная толпа рабочих человек в 500 стала выбивать стекла в окнах фабричных зданий и квартир некоторых высших фабричных служащих, а также, при звоне колокола, уничтожать, а частью и расхищать различное фабричное имущество.

На другой день беспорядки возобновились. Толпа направилась к деревне Глазечне, в которой находится много трактиров, и, переходя от одного трактира к другому и увеличиваясь в числе, требовала бесплатной выдачи денег и громила винные лавки.

В это же время коншинские рабочие пытались

силою прекратить работы на соседней фабрике Каштановых.

Тогда из Серпухова были вызваны казаки, и порядок был восстановлен обычными мерами. Рабочие В. Терещенков, В. Стекольников, Н. Медов, К. Кузнецов и ряд других были преданы суду по обвинению по первой части ст. ст. 269 и 1358 Уложения о наказаниях.

Заключительное слово солидарной защиты обвиняемых было предоставлено Ф. Н. Плевако.

Палата применила к обвиняемым ст. 269 Уложения о наказаниях, возможность применения которой к данному случаю принципиально отрицалась защитой, настаивав, однако, подсудимым минимальные в пределах этой статьи наказания. Принесенная защитой по вопросу о составе преступления кассационная жалоба была отвергнута Сенатом, который в подробно мотивированном «отделенском» указе впервые по этому делу высказался в смысле расширительного толкования по вопросу об объеме применения ст. 269 Уложения о наказаниях.

РЕЧЬ В ЗАЩИТУ КОНШИНСКИХ РАБОЧИХ

Как старший по возрасту между говорившими в защиту подсудимых товарищами, я осторожнее всех. Моя недлинная речь будет посвящена просьбе о снисходительном отношении к обвиняемым, если вы не разделите доводов, оспаривающих правильность законной оценки предполагаемых событий.

К этому прибавлю и просьбу, вызываемую особенными чертами этого дела.

Время, которое вы отдадите вниманию к моему слову, — это лучшее употребление его.

Когда на скамье сидят 40 человек, для которых сегодня поставлен роковой вопрос: быть ли и чувствовать себя завтра свободными, окруженными своими близкими, или утро встретит их картинами тюремной жизни, представлениями о безлюдных пустынях и, может быть, о зараженном миазмами воздухе отдаленных стран ссылки, — лишний потраченный час судейского време-

ни — ваш долг, даже если бы слово мое оказалось излишним и несодержательным.

Пусть, если не суждено им избавиться от тяжелых кар, они уйдут с сознанием, что здесь их считают не зараженный гурт, с которым расправляются средствами, рекомендуемыми ветеринарией и санитарями, а за людей, во имя которых здесь собрано это почтенное судилище, в защиту которых здесь велением закона допущено и слушается представительство защиты.

Особенный состав присутствия, установленный законом для данных дел, внушает мне смелую мысль воспользоваться благами, из того истекающими.

Простите, что хочу я внести не мир, а меч в сердце коллегии в минуты, когда она должна будет обсуждать дело. Я хочу говорить о тех условиях, которым должны быть верны представители сословий, когда начнется высказывание мнений по делу.

У вас, гг. коронные судьи, масса опыта, — не к вам слово мое: не напоминать вам, а учиться у вас должны мы, младшие служители правосудия. Вы выработали для себя строго установленные приемы, точно колеи на широкой дороге, по которой гладко и ровно идет к цели судейское мышление.

Но законодатель ввел в состав ваш общественный элемент, конечно, не для подсчета голосов и внешнего декора.

Вносится слово живой действительности, не искаленной в отвлеченный термин. Вносится непосредственность бытовых отношений, составляющих самую живую душу изучаемого дела.

И вот я прошу носителей этого непосредственного миропонимания не въезжать колесами в соблазняющие своей прямолинейностью колеи судейского опыта, а всеми силами отстаивать житейское значение фактов дела.

Есть у настоящего дела громадный недочет, — люди жизни его понимают.

Совершено деяние незаконное и нетерпимое, — преступником была толпа.

А судят не толпу, а несколько десятков лиц, замеченных в толпе.

Это тоже своего рода толпа, но уже другая, маленькая — ту образовали массовые инстинкты, эту — следователи и обвинители.

Заразительность толпы продолжает действовать. Помня, что проступки совершены толпою, мы и здесь мало говорим об отдельных лицах, а все сказуемые, наиболее хлестко вырисовывающие буйство и движения массы, — приписываем толпе, скопищу, а не отдельным лицам.

А судим отдельных лиц: толпа, как толпа, — ушла.

Подумайте над этим явлением.

Толпа — это фактически существующее юридическое лицо. Гражданские законы не дают ей никаких прав, но 14-й и 15-й тома делают ей честь, внося ее имя на свои страницы.

В первом — толпе советуется расходиться по приглашению городских и чинно, держась правой стороны, чтобы не мешать друг другу, идти к своим домам (ст. 113 т. XIV Сводов законов).

Второй — грозить толпе карами закона.

Толпа — стихия, ничего общего не имеющая с отдельными лицами, в нее вошедшими.

Толпа — здание, лица — кирпичи. Из одних и тех же кирпичей создается и храм Богу, и тюрьма — жилище отверженных. Пред первым вы склоняете колена, от второй бежите с ужасом.

Но разрушьте тюрьму, и кирпичи, оставшиеся целыми от разрушения, могут пойти на храмосодительство, не отражая отталкивающих черт их прошлого назначения...

Как ни тяжело, но с толпой мыслимо одно правосудие — воздействие силой, пока она не рассеется. С толпой говорят залпами и любезничают штыком и нагайкой: против стихии нет другого средства.

Толпа сама чудовище. Она не говорит и не плачет, а галдит и мычит. Она страшна, даже когда одушевлена добром. Она задавит, не останавливаясь, идет ли разру-

шать или спешит встретить святыню народного почитания.

Так живое страшилище, спасая, внушит страх, когда оно, по-своему нежничая, звуками и движениями сзывает к себе своих детенышей.

Быть в толпе еще не значит быть носителем ее инстинктов. В толпе богомольцев всегда ютятся и карманники. Применяя земные методы обвинения находящихся в толпе, вы впустите в рай вместе с пилигримами воров по профессии.

Толпа заражает, лица, в нее входящие, заражаются. Бить их — это все равно что бороться с эпидемией, бичуя больных.

Только рассмотрением улик, выясняющих намерения и поступки отдельных участников толпы, вы выполните требование закона, и кара ваша обрушится на лиц не за бытие в толпе, а за ношение в себе первичных, заразных миазм, превратившихся в эпидемию, по законам, подмеченным изучающими психологию масс.

Здесь вам доказывали, что не было стачки.

А если была?

Тогда выступает вопрос о целях стачки.

Доказано, что часть требований была законна и удовлетворена. Доказывали, что и все требования были законны, в том числе и спорный вопрос о прекращении работ перед праздниками ко времени церковного богослужения.

Я же допускаю, что последнее требование не было законно. Я допускаю, что базарные инстинкты взяли верх над духовными, и уже давно заповедь о посвящении субботы Богу (хотя бы со всеобщего бдения) отменена другою, гласящею, что суббота — время чистки машин на фабриках.

Спорить не будем против законности господствующего инстинкта, но не откажем виноватым в снисхождении за увлечение святыми, но отживающими в сознании хозяев идеалами.

Скажем только, что они жестоко ошибаются, урывая время у осатаневшего от недельного труда рабочего.

Церковь — это место подъема духа у забитого жизнью, возрождение нравственных заповедей, самосознания и любви.

Там он слышит, что и он человек, что пред Богом нет эллин или иудей, что пред Ним царь и раб в равном достоинстве, что церковь не делит людей на ранги и сословия, а знает лишь сокрушенных и смиренных, алчущих и жаждущих правды, нуждающихся и озлобленных, всех вкупе помощи Божией требующих.

Входя туда обозленным, труженик выходит освеженным умом и сердцем.

Хотите сделать из народа зверей — не напоминайте ему про Божию правду, хотите видеть работника-человека — не разлучайте его с великою школой Христовой.

Обвинение вменяет в вину избличенным подсудимым их тоску по церкви. В надежде, что вы в этой тоске найдете основание к снисхождению, я перехожу к другому моменту дела.

Отгоняемые от церкви, они, преданные страсти, разбивают кабаки. И за кабак их влекут к еще строжайшему ответу.

Остановимся.

Буйство было. Но относить это буйство к беспорядкам скопищем, направленным против порядка управления, — несогласно с требованием закона. Вам это доказывали, и я вычеркнул из моей памяти все, что хотел сказать по этому предмету.

Добавлю одно: закон, ст. 269 Уложения, — закон новый, но мотивы к нему выяснены весьма подробно. Закон этот целиком взят из нового Уложения.

Вам, вероятно, присланы, как высшему суду местности, для заключения работы комиссии по Уложению. Там, во 2-м томе, под ст. ст. 82—83 вы найдете исчерпывающую вопрос аргументацию за наказуемость скопищ особливими карами лишь в исключительных, статьях перечисленных, случаях; там приведено ценное мнение светила французской юриспруденции Heli о границах общепасного и просто буйного массового беспорядка. Прочитайте эти страницы.

Вас поразит дерзость буйнов, вторгающихся в чужие помещения, и хозяйничанье их за чужим вином.

Да, перед чужою дверью чувство деликатности и врожденное признание святости чужого очага сдерживает всякого человека с непреступно направленной или неиспорченной совестью.

Но в том-то и беда, что здесь для этого чувства не было места.

Разбивались кабаки, ютящиеся около той же фабрики, где жили обвиняемые. А что такое кабак в жизни большинства наших фабричных?

Это его клуб, его кабинет. Здесь он оставляет весь свой заработок, остающийся от необходимых домашних затрат. Кабачная выручка — это склад, где сложены и трудовые деньги, и здоровье, и свободное время рабочего.

Кабак построен около фабрики, чтобы своим видом, запахом смущать и напоминать о себе рабочему. Кабаку нужны не трезвые и сдержанные: его друзья — буйные и безвольные гуляки. Для этих последних он не чужой дом, а самое настоящее пребывание, свой угол, свой правовой домицилий, где ищет рабочего, уклонившегося от работы, надзиратель, где сыщут его и власти, находящие нужным задержать его.

А если так, то не вмените в особый признак злостности буйство пьяного рабочего в кабаке, где все, от чайной чашки до последней капли одуряющего спирта, есть кристаллизация его беспросветного невежества и его непосильного труда.

Судя этих людей, вы должны, по требованию закона и справедливости, принять во внимание нравственные качества их, как ту силу, которая противостоит преступным соблазнам всякого рода.

Посмотрим же, какова эта сила и среди каких условий возникает и растет она?

Вечный визг махового колеса, адский шум машины и пыхтение паровика, передающего свою силу десятку тысяч станков, около которых ютятся, как мало значащие винтики, рабочие люди...

Титаническая сила-машина блещит чистотой и изяществом своих частей, к ней прикованы забота и любовь домовладыки; и только они, легко заменимые в случае порчи винтики, чужды любви и внимания.

Это ли условие подъема личности?

Выйдем из фабрики.

Кое-где виднеется церковь, одна-две школы, а ближе и дальше — десятки кабаков и притонов разгула.

Это ли здоровое условие нравственного роста?

Есть кое-где шкаф с книгами, а фабрика окружена десятками подвалов с хмельным, все заботы утоляющим вином.

Это ли классический путь к душевному оздоровлению рабочего, надорванного всеми внутренностями от бесконечно однообразного служения машине?

Пожалею его. Не будем прилагать к нему не ради правды, а ради соображений неправомерного свойства мерку, удобную для наших сил.

Нас воспитывают с пеленок в понятии добра, нас блюдут свободные от повседневного труда зоркие очи родителей, к нам приставлены пестуны. Вся наша жизненная дорога, несмотря на запас сил и умение различать вещи, обставлена барьерами за счет нашего достатка, благодаря которым мы и сонные не свалимся в пучину, и рассеянные идем автоматически по прямой и торной дороге.

А у них не то.

Обессиленные физическим трудом, с обмершими от бездействия духовными силами, они тем не менее сами должны искать путь и находить признаки правого и неправомерного направления.

Справедливо ли требовать от них той выдержки, какую мы носим в нашей груди?..

Чудные часы предстоит пережить вам, гг. судьи. Вы можете при свете милосердия и закона избавить от кар неповинного и ослабить узы несчастных, виноватых не столько злою волею, сколько нерадостными условиями своей жизни.

Будьте снисходительны!

Правда, не велика разница для рабочего между неволей по закону и неволей нужды, приковывающей всю его жизнь, все его духовные интересы к станку, бесстрастно трепещущему перед его глазами. Но все же эти люди, куда бы вы ни послали их — к станку или в тюрьмы и ссылку, — услышав в вашем приговоре голос, осторожный в признании вины и свободный в приложении милости, исполнятся чувства нравственного удовлетворения.

Они увидят, что великое благо страны — суд равный для всех — коснулось и их, пасынков природы; что и им, воздавая по заслугам, судейская совесть сотворила написанное народу милосердием, внушенным русскому правосудию с высоты первовластия.

И пусть из их груди, чуткой ко всякой правде, им дарованной, дорожащей всякою крупичей вниманием со стороны вашей, вырвутся благодарные клики, обращенные к тому, чьим именем творится суд на Руси, клики, какие, правда, по иным побуждениям вырывались из груди гладиаторов Рима: «Vive, Caesar, morituri te salutant!»¹

¹ «Живи, Цезарь, идущие на смерть тебя приветствуют!» (лат.)

ЗАГАДОЧНОЕ САМОУБИЙСТВО

В Великих Луках, уездном городе Псковской губернии, в ночь на 17 января 1875 года совершилось кровавое дело. Около 12 часов в одном из номеров верхнего этажа гостиницы «Петербург» последовательно один за другим раздались два выстрела.

Из номера, в котором, по-видимому, только что случилась развязка какой-то таинственной драмы, вслед за тем как раздался первый выстрел, выбежал в коридор хозяин гостиницы, Мальтник, и громко стал звать к себе коридорного Якова. Разбуженный этим криком, прибежал на зов хозяина номерной Яков Тарасов. Войдя вслед за хозяином в номер, занимаемый постоянным квартирантом гостиницы, нотариусом Гольдштейном, он увидел последнего сидящим в кресле с отвалившеюся набок головой. Хозяин, заботливо наклонясь к нотариусу, сказал входящему слуге: «Неси скорее воды». Тот бросился в спальню, но воды там не нашлось. Тогда он побежал в коридор. Не успел здесь растерявшийся Яков схватить рукомойник, как раздался опять выстрел, и в ту же минуту он увидел Мальтника, снова выскочившего из дверей номера и побежавшего вниз по лестнице. Внизу помещалась биллиардная комната, где в это время находились посетители; им объявил сбежавший сверху Мальтник, что нотариус Гольдштейн только что застрелился.

Все бывшие в биллиардной, вместе с известившим их хозяином, пошли наверх, в комнату нотариуса. По-

койный сидел в кресле у стола, на котором горели две свечи. Очки, бывшие на нем, несколько съехали вниз, глаза были мутные и смотрели вверх. Тут один из вошедших спросил: «Не послать ли за доктором?» Но Мальтник взял бездыханного нотариуса за виски, покачал из стороны в сторону и сказал: «Зачем посылать, он уже готов!»

На другой день весть о кровавом приключении в гостинице «Петербург» разнеслась по всему городу; поднялись толки, пошли догадки, и стоустая молва скоро стала прямо указывать на хозяина гостиницы, Мальтника, как на убийцу. Говорилось об интимных отношениях покойного к жене Мальтника, которые будто бы ни для кого не составляли тайны, говорили о ревности обманутого мужа и глухой вражде, которая роковым образом повлекла за собою печальную развязку. Слуги Мальтника громко передавали свои наблюдения о том, что хозяин был очень угрюм в день катастрофы и накануне ссорился открыто с Гольдштейном: было узвано за несомненное, что, незадолго до происшествия, Мальником был куплен пистолет и т. п.

Заподозренный, таким образом, в убийстве, Мальтник был привлечен к следствию, заключен в тюрьму и наконец, ровно через год после смерти Гольдштейна, предстал на суд присяжных в качестве обвиняемого в убийстве, совершенного под влиянием чувства ревности.

На суде вскрылся целый роман, который в существенных чертах заключается в следующем.

В гостинице, содержимой лифляндским уроженцем Карлом Мальником, в числе других постоянных жильцов долгое время проживал статский советник Корнилий Францович Гольдштейн, занимавший в Великих Луках должность старшего нотариуса при окружном суде.

С самого приезда своего из Москвы, т. е. еще с марта 1873 года, Гольдштейн поселился в гостинице и прожил здесь безвыездно около двух лет. Когда Гольдштейн приехал, гостиница еще не была вполне отделана; но Гольдштейн, несмотря на это, остался жить здесь, хотя долгое время ему приходилось перекочевывать из но-

мера в номер, а подчас случалось даже ютиться в помещении самого хозяина.

Мальтник, разумеется, весьма скоро сошелся с таким любезным и невзыскательным жильцом и тем более охотно подружился с ним, что и в качестве старшего нотариуса, человека, знающего хорошо законы, он бывал ему полезен советами по юридическим делам. Гольдштейну также пришлось по сердцу радушные хозяева, и он не думал их покидать, хотя только через год ему удалось занять в гостинице вполне удобное для себя помещение в верхнем этаже. Раз установленные, таким образом, приятельские и даже дружеские отношения все крепили.

Вместе с Мальником жили его теща и жена, Надежда Афанасьевна. Это была женщина еще молодая, всего двадцати восьми лет. Она была не дурна собою, хотя и производила впечатление женщины уже порядочно пожилой: брюнетка, небольшого роста, чрезвычайно живая и бойкая, она обладала весьма подвижными чертами лица, и черные блестящие глаза ее отличались способностью быстро менять свое выражение: они глядели то сурово, то мягко, то привлекательно...

Корнилию Францовичу Гольдштейну было уже около пятидесяти лет, когда он познакомился с женою Мальтника, но он отличался крепким сложением и был еще в полной силе — чему, конечно, много способствовало то, что он до двадцатилетнего возраста, как значилось в его собственном дневнике, «не знал женщин».

Женившись в этом возрасте, он со всею пылкостью целомудренной страсти «прильнул к своей молодой жене». Но его семейному счастью не суждено было долго продолжаться. Хотя, живя в Великих Луках, он переписывался с женою, которая с детьми своими оставалась в Москве, и, по-видимому, находился с нею в дружеских отношениях, но все же он считал себя очень несчастным в супружеской жизни. Так, в одном из своих к г-же Мальтник писем он прямо указывает на «свою барыню», т. е. на жену, как на женщину, впервые заставившую его «недоверчиво глядеть на всю прекрас-

ную половину рода человеческого». Кроме такого общего указания мы имеем еще обстоятельно изложенный рассказ Гольдштейна об измене ему жены в 1864 году, т. е. лет за десять до переселения его в Великие Луки.

Документ, в котором содержится это грустное повествование, имеет довольно своеобразный облик, это что-то вроде загробного признания человека, убившего в припадке ревности свою жену и затем покончившего и с собою. Озаглавлена рукопись: «Нет худа без добра, или Я погибаю, но многих спасаю». В конце этой исповеди, после обстоятельного рассказа о случае неверности жены, сообщается тоном искреннейшего увлечения о кровавых подвигах мстящего мужа. «С яростью тигра, — картинно описывает Гольдштейн воображаемую сцену убийства, — схватил я бритву и, нанеся смертельный удар жене, сказал шепотом: «Молчи же ты!» В заключение все должно покончиться самоубийством, по крайней мере исповедь заканчивается патетическим финальным восклицанием: «О люди, я самоубийца, убийца, детоубийца!»

Несмотря, однако же, на такую кровавую развязку, очевидно долго лелеянную воображением обманутого мужа, и сам Корнилий Францович, и жена его «милый друг Лизуша», как называет он ее в позднейших своих письмах, оба остались здоровы и невредимы, и никакого смертоубийства, соединенного с самоубийством, Гольдштейн тогда не совершил.

Из этой исповеди и из письма Гольдштейна к жене, а также из показания некоторых свидетелей, мы знакомимся и с служебной стороною жизни Гольдштейна. «Мой обер-секретарь И. И. В., большой руки взяточник, — читаем мы в «предсмертной» исповеди Гольдштейна, — по бывшим у меня делам делал мерзости из корысти в понаровку воришкам; встречая же камень преткновения во мне, всячески старался удалить меня от себя и, наконец, успел вооружить против меня своего одношкольника, отличного экзекутора, но и не последнего осла, по занимаемой им должности обер-прокурора Н. Н. Н.; но затем, все вместе взятые, — и лихоимец,

и дурак, — не могли столкнуть меня с места, ибо я чист совестью и у меня посаженный отец г. товарищ министра юстиции».

Таким образом, пока Гольдштейн служил в Москве, он держался прочно на месте, хотя, как видим, с сослуживцами своими очень не ладил. В Великие Луки, на должность старшего нотариуса, он приехал уже статским советником. Здесь по службе он стяжал себе не совсем лестную репутацию, хотя в письме к своей жене, писанном накануне смерти, высказывал о своих служебных способностях весьма высокое мнение. Так, говоря о предположении занять в скором времени место члена окружного суда, он не без гордости заявляет, что «в целом великолукском округе никто не знает так законов», как он. «Отличное» знание законов и «чистота совести» не мешали, однако же, Гольдштейну брать взятки в качестве нотариуса, а еще раньше того быть заподозренным в совершении подлога по службе. Так, на суде между прочим открылось, что на купленное имение за семьдесят пять тысяч рублей младший нотариус совершил купчую крепость в двадцать пять тысяч рублей Гольдштейн сначала не утверждал ее, но, получив взятку, утвердил. Кроме того, втихомолку, в качестве «первого законника в округе», он занимался подпольною адвокатскою практикою: давал советы тем, кому нужны были тайные лазейки, и учил разным юридическим подвигам и крючкотворству. Как частный человек, Гольдштейн вызвал также весьма неодобрительные отзывы на суд. Большинство его знакомых отзывалось о нем как о человеке двуличном, неискреннем и т. п.

Однако же, невзирая на свои непривлекательные нравственные качества и солидный возраст, Гольдштейну удалось завладеть если не сердцем, то, по крайней мере, интимным вниманием Надежды Афанасьевны Мальтник. Когда именно началось их сближение, определить трудно; но первое его любовное письмо к ней помечено еще 1874 годом.

В первое время после своего приезда в Великие Луки он вел жизнь весьма степенную и скромную, соответ-

ственно своим летам и своему служебному положению, но, мало-помалу, в нем стало преобладать какое-то тревожное, напряженное состояние духа. Он не по летам начал заботиться о своем туалете, беспрестанно менял свой облик, то запуская бороду, то снова сбривая ее. Стало заметно в нем усиленное желание нравиться. Мало того, он стал покучивать и сорить деньгами, чего прежде за ним не замечали.

Какие душевные тревоги им владели и какие затаенные цели он в это время преследовал, можно в точности узнать из его писем к «своему идолу Надичке», которыми он усердно снабжал г-жу Мальтник, несмотря на то что жил с нею все время под одною кровлею. Он буквально не давал ей проходу. С назойливостью маньяка он подстерегал ее всюду, где только мог, и осыпал ее своими излияниями, признаниями и ревнивыми упреками то в письмах, то на словах. Он много раз говорил ей, что лишит себя жизни, если она будет отвергать его ухаживанья...

Кроме писем и страстных словесных признаний Гольдштейн часто прибегал и к «другим мерам», которые, по его мнению, могли подействовать на «упрямое» сердце Надежды Афанасьевны. Раз он ушел из дому и целые два дня не был дома. Г-жа Мальтник спросила его: где он был? «Ходил», загадочно ответил Гольдштейн. — Где же вы ночевали? — «На речке ходил — хотел утопиться». И такие выходки стали повторяться у Гольдштейна очень часто. Раз г-жа Мальтник отняла у него бритву, в другой раз он представился отравленным и пролежал целые сутки в постели, охая и стона, наконец, «пробовал топить в колодце, да вода показалась мутною» и т. д.

Разжигая все более и более свою страсть к «пожившей брюнетке с очаровательными глазами», давая полную волю своему взволнованному воображению, он подчас терял всякое чувство меры и перспективы, и тогда провинциальная дама средней руки, эмансипированная в известном направлении, вырастала в его глазах

и титанический образ лермонтовской Тамары, которая «как ангел прекрасна, как демон коварна и зла».

Наконец Гольдштейн достиг своей «цели». Но это не принесло ему покоя.

В то время как «побежденное упрямство» г-жи Мальтник доставляло ей только лишний случай «играть шестами супружеской неверности», Корнилий Францович стремился совсем «прильнуть» к очаровательной, но ветреной и ненадежной в своих привязанностях Надежде Афанасьевне. Чтобы только улучшить свободную минуту свидания, несчастный любовник должен был вечно умолять, прислушиваться, ждать... «Сколько я шпоревья потратил, — горестно восклицает он в одном из своих любовных писем, — потратил бесконечным начинанием... сопровождаемым притом страхом. Это ужас, и тем более горестно, что такая бестолковая жизнь повредно действует на мозг и на весь организм!»

Даже служба перестала ему идти на ум — так занят он был вечно мыслью поудобнее устроиться относительно своих любовных дел. К этому примешивалась еще ревность. «Голубчик мой Наденька, — пишет он г-же Мальтник, — ты спрашиваешь с удивлением, отчего я не пошел на службу? Так как между нами не должно быть тайны, то я скажу тебе следующее: во-первых, — не пойду на службу до тех пор, пока не уедет немец (жилец, к которому Гольдштейн больше всех ревновал ее после некоего «ветеринарного врача, приехавшего из Петербурга»); во-вторых, третьего дня утром ты убежала на минутку к немцу и что-то сказала ему шепотом, а это породило во мне ревность, и в-третьих, недовко, подав рапорт, на другой же день явиться на службу; надо пробыть дома хотя дня три — четыре. Наконец, в заключение скажу тебе, ангел мой, и то, что сегодня сильное имел желание быть с тобою хоть полчаса вместе и успокоиться как должно, если только ты, душечка, на то согласна. Часов 11 утра время самое лучшее. Вследствие чего после обеда можешь спать или гулять как найдешь лучшим. Целую тебя крепко и несчетно раз. Весь твой Корнилий».

Итак, «побыть полчаса вместе и успокоиться, как должно» — вот, в сущности, заветные и вместе скромные желания влюбленного Корнилия Францовича, и только благодаря своенравной ветрености его возлюбленной они становятся для него вопросом жизни и спокойствия. Неудовлетворенная чувственность, разжигаемая упрямым непостоянством Надежды Афанасьевны, беседующей поминутно шепотом то с «немцем», то с «ветеринарным врачом из Петербурга», постоянно дает о себе знать, и злополучный влюбленный по три и четыре дня не встает с постели, притворяясь больным, чтобы только на минутку заманить в свой номер вечно куда-то запропастившуюся «душечку».

Пороку Гольдштейн, словно желая стряхнуть с себя такое беспомощное состояние, берет в руки перо — и бич сатиры и озлобления беспощадно шелкает над спиною «проклятого идола Нади». «Итак, Надежда Афанасьевна, где же ваша совесть? Зачем вы растерзали мое невинное сердце? Зачем вы ругались даже над моим лицом, стараясь, чтобы я выставлял напоказ свою любовь к вам, тогда как вам нужен только удовлетворяющий вас мужчина. Зачем год целый вы притворялись невинною, угнетенною мужем, когда эти слова были только приманкою на вашу удочку? О боже мой, боже мой, за что я так жестоко наказан? О мечты мои, мечты мои, куда вы меня довели; какое бремя должен я поднимать, чтобы выбиться на свободу? Есть ли в мире творение лютее вас? О нет, о нет! Помните, что вы похитили священный огонь моего сердца...» и т. д.

В качестве несчастного, безумно влюбленного, сердце которого «невинно» и в котором притом таится «огонь священный», Корнилия Францовича озаряет вдохновение, и он пишет такие стихи:

Полюбил я, и кого же?
Злую лгунью, о мой боже!
Сердце хладно, как могила,
Я ждал жадно, чтоб любила.
Ты писала: ведь сознание —
На насмешку, на терзанье.
Так любуйся ж добрым делом —
Ты убила душу с телом!

Ревнивые укоры и жалобы несчастного любовника не всегда, впрочем, отличаются деликатностью выражений и изяществом формы. Подчас он топчет в грязь «свою Надичку», называя ее «развратною женщиною», которую он напрасно силился «возбудить не корчемствовать собою». Под конец он доходит до того, что по счету прыщиков на ее лице заключает о ее невоздержанности и неверности; подслушивая вечно у дверей, он не упускает случая «поздравить ее с законным браком», когда ей случится остаться с посторонним мужчиною наедине. Мало этого, он даже мужу делает постоянные намеки на ее неверность, выгораживая, разумеется, при этом себя от всяких подозрений. Подобная назойливость доходила до того, что подчас выводила из себя обыкновенно беззаботную и не терпящую «стеснения в своих действиях» г-жу Мальтник, так что злосчастному Корнилию Францовичу за подобные выходки приходилось плохо... Она без церемонии, по собственному его живописному выражению, иногда «тыкала ему дулю в нос» и, как видно из письма Гольдштейна, не церемонилась даже пригрозить ему однажды еще большею «неприятностью»... «Можете ли вы божиться, что вы не виноваты, и имеете ли совесть говорить мне: рыло разобью?!» — спрашивает обескураженный любовник. «Вы убили мою душу, растерзали сердце, помрачили мой мозг — и все-таки вам мало: нужно еще и телу сделать вред?!...»

Однако — по пословице ли: милые бранятся — только тешатся или по другим причинам — «телесная неприкосновенность» Гольдштейна серьезных повреждений не потерпела. Вообще подобного рода сцены ничуть не изменяли силы и напряжения его «безумной страсти». С прежнею, даже еще большею настойчивостью стал он умолять «свою мамочку Надю» принадлежать ему одному и для этого даже решался переехать в другой город и увезти ее с собою. Но на такое предложение г-жа Мальтник не говорила ему ни да, ни нет, хотя Гольдштейн, на случай ее согласия, и сулил ей стать для нее и «козлом и бараном». Впрочем, она по-прежнему благосклонно выслушивала его «пустяки»,

ездила с ним кататься за город и вообще урывала и для него свободную минутку...

Так продолжалось до первых чисел декабря 1874 года, когда Гольдштейн собрался ехать в Петербург. Вероятно, эта поездка была заранее условлена между ним и Надеждою Афанасьевною, которая была не прочь прокатиться и посмотреть столицу.

Муж, после некоторого колебания, согласился отпустить жену вместе с Гольдштейном, и 27 декабря счастливый Корнилий Францович отправился путешествовать с желанной своей спутницей. В Петербурге они прожили неделю с лишним и, вероятно, прожили бы дольше, если бы 11 января на имя Гольдштейна не было получено письма от г. Мальтника. Черная печать, которая виднелась на конверте, смутила г-жу Мальтник; она подумала, не умер ли у нее сын, которого она оставила больным.

Муж им писал: «Друзья мои! Как вы знаете, что сын мой остался болен дома, и вы уехали. Дом заложен Безобразову, я хочу его выкупить и уехать на свою сторону, а сынишку оставить здесь». Не поняв хорошенько содержания письма, г-жа Мальтник собралась в обратный путь; за нею, разумеется, последовал и Гольдштейн.

Во время их отлучки в Петербург Мальтник случайно нашел письмо Гольдштейна, писанное к его жене; порывшись в ее шкатулке, он нашел и другие письма. Сомнения не могло быть, — преступная связь была налицо. Мальтник решил, что Гольдштейн совсем увез от него жену.

В ожидании ответа на письмо прозревший внезапно муж почувствовал, что «маска спала у него с лица». Он наводит справки; хочет знать подробности. Случайно заходит в гостиницу еврей-комиссионер, знающий весь город; он объявляет ему о своем положении и говорит, что «жена уехала с нотариусом в Петербург». Затем, вспомнив, что Гольдштейн покупал разные вещи у этого еврея, он начинает допытываться от него: «Скажи, продавал ты ему золотые вещи?» Еврей отвечает, что это не его дело, но Мальтник настаивает. При помощи уг-

розы «убить в самое сердце» он узнает от еврея, что Гольдштейн действительно купил у него браслет в 50 руб. и дамскую цепочку... Мальтник записывает на клочке бумаги таинственное сообщение и велит еврею подписать его. Еврей упирается, говорит: «Я могу сказать, но зачем писать». Рассвирепевший муж снова грозит убить «презренного еврея», если тот не подпишет своей фамилии, и бог знает, чем бы кончилось «азартное положение» Мальтника, если бы на выручку совсем перетрусившего еврея не вошли случайно посторонние люди.

Наконец, дня через три, именно 14 января, возвращаются в Великие Луки запоздавшие путешественники. Мальтник старается встретить их «хладнокровно».

Поставили самовар, пили чай, «но никакого особенного разговора тут не было».

Только когда Гольдштейн ушел к себе наверх, Мальтник сказал жене: «Что ты чернишь мою фамилию; ты жена Гольдштейна!» — «Как так?» — спросила недоумевающе г-жа Мальтник. Тут муж «показал ей письма, назвал ее скверным словом и стал гнать вон».

На другой день последовало объяснение и с Гольдштейном. Мальтник начал с отказа ему от квартиры, «не желая поднимать ссоры и не желая открывать ему причин отказа». Гольдштейн прикинулся невинно заподозренным и пожелал сам «вести дело начистоту». Тогда Мальтник, отложив в сторону всякую деликатность, высказал ему все, что у него было на душе. Он грозил ему судом, грозил написать его жене, что «муж ее у него жену украл», наконец обещал разоблачить все его делишки по службе. Гольдштейн, по-видимому, струсил, потому что стал предлагать ему «мириться», но Мальтник отвечал: «Мне денег ваших не нужно»; тогда Гольдштейн стал умолять его возвратить ему уличающие письма. Оскорбленный муж и на это не соглашался. Он гнал его с квартиры и не переставал грозить: «Вы и за казенные дела пойдете под суд и за мое... может быть, господа и не знают, какой вы человек. Вы на бумагах подписываете: нотариус Гольдштейн, а подлые письма — статский советник!»

Гольдштейн совершенно растерялся, умолял то его, то жену отдать его письма...

Все это происходило 15 января, а на другой день — день самой катастрофы — Гольдштейн, по словам Мальтника, снова зашел просить письма и, получив отказ, подошел к г-же Мальтник, которая лежала тут же на кровати, и сказал ей: «Надежда Афанасьевна, простите, я вас сгубил», на что та ответила: «Мы оба виноваты!»

С этой минуты, по словам Мальтника, он до самого вечера не виделся с Гольдштейном. Вечером Гольдштейн умер от огнестрельных ран, таинственность происхождения которых и возбудила уголовное дело против г. Мальтника по обвинению его в убийстве Гольдштейна.

Присяжные нашли, что Гольдштейн застрелился сам. Они Мальтника оправдали.

ЗЛАЯ МАЧЕХА

Молодая крестьянка Екатерина Корнилова, «злая мачеха», выбросившая из окна четвертого этажа свою шестилетнюю падчерицу, причем эта последняя каким-то чудом осталась живою и невредимою, была признана присяжными виновною и приговорена судом к двухлетним каторжным работам, с поселением ее затем в Сибири навсегда.

На суд Корнилова явилась в последней степени беременности, так что в зал заседания, на всякий случай, была приглашена и акушерка. Поведение Корниловой на суде, совершенная необычайность зверского ее поступка в связи с полным и чистосердечным ее сознанием, наконец, соображения о том, что в момент совершения преступления она была уже в четвертом месяце беременности, — все это возбуждало в более внимательных наблюдателях суда над этим «извергом природы» целый ряд вопросов относительно нормальности ее душевных отправлений в момент совершения преступления. В судебном заседании, однако же, вопрос о какой-либо психической болезни беременной Корниловой

никогда возбужден не был. Ни прокурор, ни защитник, ни тем более сама Корнилова не настаивали на медицинском освидетельствовании ее, на приглашении экспертов, и суд ограничился постановкою присяжным одного голого вопроса о виновности, о злом умысле подсудимой.

На суде только и было одно собственное признание Корниловой для характеристики ее преступных побуждений и обстоятельств ее нерадостной жизни, приведших ее к такому ужасному и печальному концу.

Вышла замуж Корнилова совсем молодою девушкой за иловца. Жизнь их с первых же дней пошла как-то неладно. Муж часто с нею ссорился, не пускал ее в гости к родным и родных не хотел принимать к себе. Но душе всего досаждал он ей постоянными попреками, ставя ей в образец свою первую жену, покойницу, которая, по его словам, и любила-то его больше, и хозяйкой была образцовой, так что хозяйство шло у него тогда не в пример лучше. Этими попреками, повторявшимися изо дня в день, по сознанию Корниловой, муж скоро довел ее до того, что она «вовсе перестала любить его». Еще немного — и она кончила тем, что возненавидела его и всю свою злобную ненависть перенесла на ни в чем не повинного ребенка, на шестилетнюю свою падчерицу, дочку той первой жены своего мужа, которою этот последний не переставал попрекать ее.

Скоро злая, непобедимая вражда к ненавистному ребенку стала настоящею страстью в Корниловой. Мстительные, зверские инстинкты овладели ею всецело: она порешила «покончить с девочкой, извести ненавистную»...

Раз вечером она собралась уже совсем покончить со своей жертвой, но присутствие мужа помешало ей. Тогда она переждала ночь и на другой день, когда муж ушел на работу, она отворила окно, отставила на одну сторону подоконника горшки с цветами и велела девочке влезть на подоконник и посмотреть вниз в окошко. Как только девочка влезла, стала на колени и, опершись ручонками, заглянула в окно, Корнилова схватила ее

сзади за ноги и вытолкнула вниз, на мостовую. Поглядев в окошко на грохнувшегося ребенка, Корнилова без малейшего смущения захлопнула окно, оделась, заперла комнату и отправилась в участок заявить о случившемся.

На суде, как мы уже говорили, не было в качестве экспертов специалистов-психиатров, которые бы могли дать свое заключение, основанное на данных науки, о состоянии психического здоровья подсудимой; был только полицейский врач, свидетель, наблюдавший Корнилову в участке вскоре после ее явки с повинной. Этот врач находил, что Корнилова действовала «сознательно», желая, вероятно, сказать этим, что она была в нормальном психическом состоянии. Присяжные поверили ему на слово и обвинили Корнилову, дав ей, однако, снисхождение.

Верховный, кассационный суд нашел, что при первом разбирательстве дела судом был допущен такой существенный процессуальный промах, как смешение в одном и том же лице, и притом в лице полицейского врача, не специалиста по вопросам психиатрии, двух обязанностей — обязанности свидетеля и эксперта. Поэтому приговор суда и вердикт присяжных были отменены Сенатом и дело было препровождено в другое отделение суда, с тем чтобы оно было вторично, «зано-во» рассмотрено.

Со дня первого заседания, которое закончилось безусловным осуждением Корниловой, протекло всего несколько месяцев. Фактическая обстановка «преступного деяния подсудимой», выражаясь языком юристов, ясно констатированная и закреплённая протоколами следственных актов, собственным сознанием подсудимой и, наконец, буквальным повторением свидетелями своих прежних показаний, осталась, разумеется все та же. А между тем какая разница в результатах! Та же «злая мачеха» Корнилова, тот же «изверг рода человеческого», беспричинно и безжалостно покусившийся на жизнь несчастного ребенка, в глазах таких же присяжных, таких же «судей по совести», может быть даже несколько менее «просвещенных», нежели первые, — утрачи-

ает все свои злодейские атрибуты, несмотря на неутрачивающийся ужас, который продолжает возбуждать сам по себе ее поступок.

В зале суда заранее уже чувствуется безмолвная, но ясно всеми сознаваемая «агитация» против первого «необдуманного и безжалостного» приговора. Не успел еще совершенно закончить свое заключение известный эксперт-психиатр, призванный на этот раз в суд для того, чтобы высказаться о душевном состоянии Корниловой во время совершения ею преступления, как уже вы заранее торжествуете «победу милосердия» в предстоящем вердикте. По прояснившимся лицам присяжных заседателей, по их выпрямившейся, ободрившейся осанке, вы уже наверняка угадываете, что приговор о каторге, грозившей не только Корниловой, но и ее ни в чем не повинному грудному младенцу, рожденному ею в тюрьме, был только страшным кошмаром, который сейчас рассеется, распадется от одного «заново» произнесенного слова.

В ту минуту, когда присяжные заседатели удалились для совещания, в нас жила уже твердая уверенность, что иного приговора, кроме оправдательного, последовать не может. Если бы не это, то и не страдая даже излишнюю чувствительностью, трудно было бы равнодушно глядеть на подсудимую... В ожидании рокового звонка и появления присяжных с ответом на вопросный лист, она, и без того сдержанная и подавленная на суде, буквально окаменела на своей позорной скамье... Глаза ее, поднятые вверх и словно застлавшиеся туманом, все время оставались устремленными на одну точку — на икону, висевшую против нее... Лицо ее оставалось спокойным — в нем вы не замечали искаженного выражения борьбы страха и надежды; покорности в этом лице было много. Но чисто физического волнения организм молодой женщины убить в себе не мог. Под серым клетчатым платком, который скрывал ее арестантскую серпанку, то и дело пробегала зловещая дрожь, плечи ее судорожно сдвигались, ее било, как в лихорадке.

Это тягостное состояние «правосудебной агонии», к счастью, протянулось недолго. На этот раз присяжные

словно заранее уговорились быть до конца великодушными. Они не совещались и пяти минут и вынесли безусловно оправдательный вердикт. Среди гробовой тишины, воцарившейся на это мгновение в публике, наполнявшей залу суда, простые, обычные слова председателяствующего, обращенные к подсудимой: «Вы свободны!» — произвели потрясающее впечатление. Казалось внятным для каждого уха, что это звякнули и упали на пол те цепи, в которые заковал несчастную женщину первый приговор...

Бездонная пропасть лежит между двумя этими приговорами — такая пропасть, через которую излишне было бы пытаться перекинуть какой-либо мост, ведущий к компромиссам, к исканию «золотой середины». В деле, подобном делу Корниловой, не может быть еще третьего, срединного приговора. Но именно поэтому и заслуживают внимания те причины. Те особенности в процессе, которые могли породить такое различие в двух приговорах, одинаково неподкупных, одинаково искренних, по одному и тому же очень простому и несложному делу.

При вторичном разбирательстве дела Корниловой все внимание суда и присяжных было обращено исключительно на вопрос о нормальности или ненормальности того психического состояния, в котором находилась Корнилова при совершении ею преступления. В заседание было приглашено четверо врачей-экспертов, из которых было двое акушеров (Корнилова, если помнят читатели, находилась в состоянии беременности, когда совершила свой поступок), один полицейский врач и один известный психиатр (г. Дюков).

За исключением акушера Флоринского, в практике которого «не было таких случаев» и который поэтому «не думал, чтобы Корнилова действовала бессознательно», все остальные эксперты высказались категорически в том смысле, что суд имеет дело не «с извергом людской природы», а просто с душевнобольной, психическая деятельность которой была болезненно подавлена в момент совершения преступления. Особенно вески

и доказательны были доводы г. Дюкова, который, разобрав все обстоятельства жизни подсудимой, все стороны ее нравственной природы, пришел к заключению, что во время своей беременности она находилась в состоянии «меланхолии» и совершила свой поступок в припадке «мрачного умоисступления».

Итак, люди науки, люди опыта, специалисты дела, как только для разрешения вопроса понадобилось их содействие, без всякого колебания высказали свое суждение, в корень подрезавшее прежний приговор присяжных.

Теперь спрашивается: каким образом такой существенный, краеугольный вопрос, как вопрос о сумасшествии подсудимой, мог затереться, мог остаться не возбужденным вплоть до кассационной инстанции суда?

Новые судебные уставы, давая лицу обвиняемому «все средства к своему оправданию», не могли, разумеется, оставить без особенного заботливого внимания те случаи, где есть основания предполагать, что правосудие имеет дело не с злой волей преступника, а просто с душевнобольным. Право «возбудить» вопрос о ненормальности умственных способностей подсудимого предоставлено уставами всем лицам и инстанциям, через которые проходит дело раньше, чем оно попадает на суд присяжных. Судебный следователь, по собственному ли усмотрению или по чьему-либо указанию, может еще во время предварительного следствия потребовать тщательной экспертизы медиков-психиатров. Затем дело может быть вовсе прекращено окружным судом, с утверждения судебной палаты, если «состояние невменяемости» обвиняемого не подлежит никакому сомнению. На разрешение присяжных заседателей при таком направлении дела могут восходить только случаи совершенно сомнительные, в которых обвинительная инстанция не признала наличности «состояния невменяемости». Ничего подобного в деле Корниловой не было. Даже защитник при первом разбирательстве не просил суд о вызове экспертов, не ставил категорически вопроса о болезненном аффекте подсудимой.

Честь возбуждения этого вопроса целиком принад-

лежит Ф. М. Достоевскому, который первый усомнился в справедливости вердикта присяжных и взял несчастную Корнилову под свою горячую защиту. И вот «сомнение», которое равнодушно не затаил в себе талантливый писатель, а громко и открыто высказал для всех, превратилось в уверенность, что Корнилова не изверг, каким мы ее себе воображали, а только больная.

Эта простая «догадка», однако же, не пришла в голову никому из тех, кому об этом следовало бы вовремя «догадаться».

В суде во время заседания нас, между прочим, неприятно поразило отношение обвинителя к этой «догадке», подтвердившейся безусловно заключением экспертов. Товарищ прокурора, обвинявший во второй раз Корнилову, пускал в ход все средства, чтобы «уговорить» (он действительно уговаривал, а не убеждал, так как не представил ни одного мало-мальски серьезного довода) присяжных «не верить психиатрам, которые уже по своей профессии склонны видеть везде сумасшедших». Горячность, с которою он умолял присяжных оставить без внимания отрезвляющее слово науки и опыта, — к счастью, пришедшее на этот раз не слишком поздно, — признать подсудимую виновною «по крайней мере в покушении на убийство в запальчивости и раздражении», не убедила присяжных. Да и мудрено было ею убедиться. Те критические приемы, которые пустил в ход обвинитель в своих нападениях на экспертизу, кроме того, что обличили полное его незнание с разбираемым предметом, давали еще полную возможность упрек в «профессиональной пристрастности», брошенный им в лицо экспертам, обратить целиком против него же самого.

Немало удивило нас также заключительное слово председателя. Это было целое нападение, — и как бы вы думали на кого? Ф. М. Достоевский, находившийся на этот раз в публике и внимательно прислушивавшийся к чтению процесса, полагаем, был поражен не меньше нашего. Присяжные приглашались «воздерживаться от всякого влияния на них доводов знаменитого пи-

сателя». По мнению г. председательствующего, мало ли что может так себе, на ветер «взболтнуть знаменитый писатель»; другое дело, «если бы его посадили на скамью присяжных, тогда он, может быть, *сказал бы совсем другое!*».

Это — многознаменательное суждение и многознаменательный взгляд на нравственное достоинство нашей литературы в лице лучших ее представителей!

Недоумеваем только, к чему такое приглашение могло понадобиться. Закон, ограждая присяжных от всякого внешнего влияния, очевидно имел в виду — удалить их от своекорыстных, суетных и праздных мнений толпы, могущих иметь пагубное в интересах правосудия влияние на беспристрастие приговора. Но по меньшей мере смешно и странно было приглашать присяжных «не верить тому, что может писать знаменитый писатель», когда все, что он высказал в печати, безусловно подтвердилось на судебном следствии, подтвердилось настолько, что, пожалуй, не подними своевременно этот «знаменитый писатель» вопроса об умственном состоянии Корниловой, мы так бы и остались немymi свидетелями «правоубийства».

СТРАШНЫЙ ГРАБИТЕЛЬ

Другой случай — зверское убийство мальчика с целью ограбления в одной из табачных лавочек Васильевского острова — представляет не меньшую психологическую загадку, чем дело Корниловой. Здесь тоже личность тяжкого преступника производит какое-то странное впечатление. Вы выходите из залы суда в каком-то болезненном душевном состоянии, как будто только что очнулись от гнетущего кошмара, который мрачною, свинцовою тучею налег на вас во время сна и душил вас.

Вот подробности дела.

На Васильевском острове проживала вдова почетного гражданина, старушка Клеменс. Она бессемейная,

детей у нее нет, а был у нее только приемыш воспитанник, крестьянский мальчик Муан, которого она каждый день посылала в школу. Однажды Клеменс заметила, что у нее из комода пропала пачка денег, в которой было около 500 рублей. Дано было знать полиции, и прежде всего принялись разыскивать Муана, который ушел с утра, но в школу не заглядывал и неизвестно куда запропастился. Производя розыски мальчика, полиции, между прочим, удалось узнать, что его видели в последний раз в табачной лавке, содержимой отставным губернским секретарем Смирновым. На расспросы полиции о пребывании Муана в его лавке Смирнов сначала давал разноречивые показания. Когда же явившийся в лавку для дознания околоточный надзиратель взял лампу и пошел осматривать все темные закоулки квартиры, Смирнов бросился в соседнюю комнату и, схватив там револьвер, нанес себе выстрелом тяжкую рану. Потом, обессилев, он подозвал к себе полицейского надзирателя, передал ему ключ от дровяного сарайчика и заявил, что мальчик убит им и что тело его спрятано там.

Приступили к осмотру сарайчика. В заднем углу на земле нашли деревянный ящик. Из-под крышки ящика высовывалась наружу детская нога, обутая в резиновую калошу поверх кожаного сапога; нога эта оказалась отрубленную несколько выше колена. Затем нашли тут же и другую ногу, точно так же отрубленную. На дне ящика лежало детское туловище, втиснутое с трудом в ящик таким образом, что голову пришлось согнуть. Поверх туловища были сложены разные ученические принадлежности Муана: школьный журнал, жестяной пенал и линейка, а под телом убитого лежал свернутый овчинный детский полушубок, местами залитый кровью. При ближайшем осмотре изуродованного трупa несчастного Муана на шее у него оказался туго затянутый поясной ремень, которым он был задушен, и тут же в сарайчике был найден небольшой топорик, впрочем, без следов крови, которым были отрублены конечности задушенного мальчика.

В квартире Смирнова за вырубкой найдены были

487 рублей, ограбленные у Муана, завернутые в белый носовой платок г-жи Клеменс.

Несмотря на то что рана, нанесенная себе Смирновым выстрелом из револьвера, была довольно опасна, он, однако же, скоро оправился и 25 ноября 1881 года предстал на суд присяжных физически совершенно здоровым.

Свежему человеку, только что заглянувшему в залу суда и не знающему, о каком преступнике идет речь, никогда бы не пришло в голову, взглянув на почтительно вытянувшегося перед присяжными заседателями Смирнова, что этот скромный, вежливый и приличный господин и есть тот страшный убийца, о зверском подвиге которого невозможно слушать без содрогания.

Одетый в длинный черный сюртук и с шеей, повязанной белым платком, как будто у него болит горло, Смирнов наружностью своею напоминает больше всего какого-нибудь главного приказчика солидного торгового дома, который судится «по подозрению» хозяина в растрате, в которой, впрочем, он не признает себя виновным.

Таково первое впечатление, которое производит подсудимый своей манерой держать себя на суде. Но это только какой-то странный, непостижимый для вас самих обман зрения... По мере того как вы начинаете вслушиваться в мягкую, отчетливую, плавную дикцию подсудимого, по мере того как вы начинаете ловить смысл и содержание его речей, вас начинает бить лихорадка, вами овладевает какой-то смертельный ужас...

Речь идет о ноге, которую он отрезал, о шее мальчика, которую он затянул ремнем, а голос исповедывающегося не перестает звучать мягко, плавно, даже как-то слащаво... Тогда с невольным страхом и любопытством вы проталкиваетесь ближе к скамье, на которой сидит этот непостижимый для вас урод нравственной природы, и тут-то при тщательном ближайшем наблюдении выражения лица подсудимого вы как будто начинаете догадываться, с кем имеете дело...

Смирнов — плотный мужчина лет сорока; окладистая борода и усы у него темно-русые, а густые, подстриженные волосы на голове почти совсем седые.

Лицо у него обрюзглое, полное, с расплывающимися, грубыми чертами; но что всего в нем неприятнее, это цвет лица и выражение глаз. Кожа на его лице какого-то землистого, серого цвета, а глаза — выражение их вы не можете уловить, их взгляда вы не можете поймать, хотя они вовсе и не бегают из стороны в сторону.

Исповедь подсудимого пространна, обстоятельна, даже слишком обстоятельна. С какою-то художественною объективностью, как будто бы он был только случайным свидетелем зверского происшествия, рассказывает он о своем убийстве со всевозможными подробностями, оттеняет все детали.

— Я, — рассказывал о себе Смирнов, — не имел страсти к деньгам и вел жизнь совершенно аскетическую, не пил вина, не курил табаку, не играл в карты, избегал общества и ни с кем не заводил знакомства. Лет пять назад я оставил свой дом, имущество и деньги и поступил в Троице-Сергиеву лавру, думал — здесь лучше можно спасти свою душу. Здесь я вел иноческую жизнь, безвозмездно ухаживал за больными, бедными странниками и затем был помощником смотрителя больницы, а также заведовал больничною библиотекою. Я страдаю болезнью, которую доктора называют импотенциею, и питаюсь весьма скудною пищею...

— Почему вы разошлись с женой? — предлагал ему дальнейшие вопросы председатель суда.

— А именно вследствие этой моей болезни; впрочем, я больше об этом не желаю говорить ничего...

— А с Вильгельминою Люнберн вы ведь жили?

— Я жил вместе, но не как любовник с любовницей, хотя мы спали в одной комнате и даже на одной кровати, но у нее был жених, и я не мог...

Затем шел вопрос о самом убийстве, о мотивах его.

— Скажите, почему вы захотели завладеть деньгами Муана и почему прибегли к такому средству?.. — спрашивает председатель Смирнова.

— Вот это и для меня вопрос, — недоумевающе разводит подсудимый руками и тоном простого любопытства, спокойно добавляет: — Это-то я и желал бы разъ-

...знать, так как сам решительно не понимаю... — И вслед за тем, на предложение рассказать обстоятельства дела, он ведет длинный рассказ.

Муан вместе с другими мальчиками своего училища часто заходил к нему в лавку покупать разные письменные принадлежности. Раз, это было еще 1 ноября прошлого года, Муан прибежал к нему в лавку в 9 часов утра и просил продать ему револьвер, который он уже раньше видел в лавке под сукном. Револьвер этот был ирижен, и Смирнов держал его для собственной безопасности. Он отвечал мальчику, что револьвера ему не продаст, и, чтобы отделаться от него, сказал, что револьвер Муану не по карману, что он стоит 50 рублей. У мальчика глаза разгорелись.

— Я могу купить, у меня денег куча, все отдам! — и Муан действительно вытащил из кармана полушубка белый платочек, в котором была завернута целая кучка кредитных билетов.

— Тут у меня разом явилась мысль, — рассказывал на суде Смирнов, — зачем мальчику столько денег? Я и подумал: надо отнять их!..

— Почему же, если вам пришла такая мысль в голову, вы не воспользовались предложением Муана купить у нас револьвер и не выманили у него всех денег? Он, вероятно, охотно согласился бы, — спрашивал Смирнова председатель.

— О! наверно согласился бы. Про мальчика говорят, что он был бойкий; действительно, физически он был расторопный, бойкий, но он был туповат... Мне бы ничего не стоило взять за револьвер все деньги. Но этой мысли у меня не было в голове, я только решил про себя: надо отнять у него деньги, а как это сделать, еще не знал...

Часа в три в тот же день на возвратном пути из школы мальчик опять забежал в лавку к Смирнову.

— Я тут стал его ласкать, — продолжал свой рассказ Смирнов, — и стал одеваться, чтобы идти с ним гулять, а про себя думал: «На дороге где-нибудь вытащу». Пошли мы с Васильевского острова на Невский; он в

своем худом полушубочке, а я в меховом пальто — идем, у магазинов останавливаемся, в окна смотрим. У меня все мысль в голове: «Отнять надо, а как отнять?..» Зашли мы в Пассаж, походили внизу, потом поднялись и на верхнюю галерею. Повел я моего мальчика в музей Гаснера, здесь, думаю, за толпой как раз удастся вытащить деньги... Однако я не вытащил; пошел в «секретный кабинет», куда малолетних не пускают, стал рассматривать фигуры разные да и позабыл вовсе о мальчике и об деньгах. Выхожу оттуда, а он у дверей: «Я вас, — говорит, — дяденька, дожидаюсь!» Оттуда мы пошли в Гостинный двор, надо, думаю себе, удовольствие мальчику сделать, пистолет купить. Зашли, купили маленький пистолет и без патронов... Потом стал я его водить по разным улицам и зашел куда-то в кабак. Отродясь я и капли вина в рот не брал, а тут выпил на 20 к.; и про себя думаю: «Так надо, для смелости всегда выпить нужно!..» Выпивши, у меня в голове эта мысль как-то быстрее заходила: «Что ж, деньги отнять-то ведь нужно?..» Тут я мальчика с собою в санки посадил, извозчику приказываю: на Васильевский остров... Приезжаем ко мне на квартиру, дело уже к вечеру идет... Мальчик запросился выйти, я его повел. А у меня на лестнице две дверцы рядом: одна в сортир, другая в дровяной сарайчик... Я его вместо сортира в сарайчик завел... Тут как все случилось, уж не могу и рассказать... На предварительном следствии я показывал, будто одной рукой схватил его за спину, а другой зажал рот, чтобы он кричать не мог... Это — неестественно: если обе руки были заняты, как же я мог снять с себя пояс и на шею ему накинуть, а ведь я его задушил... Так я с ним и покончил, и деньги взял...

Затем, на вопросы о том, когда он отрубил мальчику ноги и уложил его труп в ящик, он продолжал:

— Это уж было несколько спустя: зашел я в сарайчик, луна ярко так светит, мальчик мертвый лежит... Как я тут его заметил, и не помню, одно помнил: «Спрячь-ть надо!..»

Затем Смирнов так же подробно рассказывал о своем душевном состоянии после убийства.

— После этого всего на меня какая-то бесчувственность напала: ни об чем мысли нет в голове... Только зуд у меня пошел по всему телу, так вот все и чешется... И подумал: в баню схожу, пройдет... Пошел в баню, взял номерной номер, а что там делал, не помню, только вышел я из бани совсем с сухой головой.

На другое утро, — продолжал Смирнов, — это было в воскресенье, захожу я в сарайчик — нога мальчика торчит... Тут я не то что вспомнил, памяти у меня об этом не было, а сообразил: «Убит мальчик, значит, я его убил!» Чтобы жильцы не пришли в сарай, я сам им дров принес: «Топите, говорю, у вас все будто холодно».

Потом я в церковь ходил, думал во всем священнику открыться, покаяться в грехе. Народу в церкви было много, я стоял, клал земные поклоны, но духу во всем открыться у меня не хватало... И страх меня, и стыд стали одолевать. Потом у меня явилось презрение и ненависть к себе: «За что я мальчика убил?» Тут явилась полиция, я и выстрелил в себя, думал на месте уложить...

Затем из объяснений подсудимого выяснилось еще несколько интересных эпизодов.

Так, например, на суде, когда речь зашла о платке, в котором были завернуты деньги, подсудимый неожиданным заявлением потряс всю залу.

— Да вот у меня на шее белый платочек; это ведь тоже память мальчика, я у него, должно быть, с шеи сорвал. При мне этот платочек остался; я его сюда и надел вместо галстука...

Платок этот тут же был отобран судом и приобщен к числу «вещественных доказательств».

На вопросы председателя, страдал ли он раньше припадками умоисступления или беспамятства, подсудимый отвечал:

— Нет, никогда, и если все это случилось от беспамятства, не понимаю, от какой причины...

Затем на суде шла речь о каком-то варенье с примесью дурмана, несколько банок которого было найдено

в квартире Смирнова. Этим вареньем чуть не отравились городовые, арестовавшие Смирнова. По словам подсудимого, задолго до убийства Муана, в квартире Смирнова проживал студент-медик. Прожив самое короткое время, этот студент ушел от него, и после него в квартире остались: книга «о спиритизме» и большая банка какого-то варенья; книгу эту подсудимый съел, а варенье разложил в две банки и оставил у себя. Варенье этого он раньше не пробовал, а первого ноября утром, перед приходом Муана, съел несколько ложек с чаем. На этом обстоятельстве подсудимый особенно не настаивал.

— Впрочем, может быть, я ел это варенье и не в самый тот день, и если ел, то самую малость... Что затмение на меня нашло, это я понимаю отлично, но от какой причины это случилось, вот этого-то и я объяснить не могу.

Хотя почти все свидетели были уже допрошены и судебное следствие подвигалось к концу, суд, однако же, не нашел возможным обойтись на этот раз без психиатров-экспертов, которые могли бы дать более или менее точное заключение о психическом состоянии Смирнова в момент совершения им зверского убийства.

Суд прекратил свое заседание и постановил: дополнить следствие нужными свидетелями и экспертами, а обвиняемого отдать в больницу для душевнобольных¹ на испытание.

БРАКОРАЗВОДНОЕ ДЕЛО

В августе 1876 года Московским окружным судом было рассмотрено дело о клятвopеступлении свидетелей, на ложных показаниях которых московская духовная консистория основала развод супругов Тупицыных.

Дело это во многих отношениях представляется лю-

¹ Смирнов был признан действительно безумным, так как дело о нем было прекращено. — *Авт.*

близким. С одной стороны, на судебном следствии развернулась новая, не лишенная типических черт, бытовая картина из жизни московского купечества; с другой — здесь был затронут один из самых серьезных нравственно-экономических вопросов, вопрос о супружеских отношениях; наконец, этим процессом лишние раз обнажены самые больные места нашего дореформенного законодательства, именно формальность и исключительность постановлений об условиях расторжения брака и подсудность этого рода дел судам духовным.

Сущность дела заключается в следующем.

В 1865 году потомственный почетный гражданин Константин Еромолаевич Тупицын женился на молодой семнадцатилетней девушке, Варваре Вуколовне Волженской, дочери коломенского помещика.

Женитьба на девушке из среды, чуждой Тупицыну, пришлась не по сердцу матери его, женщине властной и себялюбивой. С первых же дней брака старуха Тупицына стала относиться к невестке очень недружелюбно, а под конец, не найдя в ней того послушания и покорности, которых она требовала от всех домашних, она стала к ней прямо во враждебные отношения.

Тупицын, невзирая на то что был страстно влюблен в свою молодую жену, был принужден, однако, жить вместе с матерью и, по привычке, приобретенной с детства, ни в чем не противоречить матери, находился под ее безусловным влиянием. К тому же и в материальном отношении он вполне зависел от матери. Хотя по завещанию деда своего, оставившего полумиллионное состояние, он и был назначен единственным наследником богатой торговой фирмы, но пожизненной владелицей, а следовательно, и распорядительницей всего состояния была назначена мать. Женщина деятельная, энергичная и настойчивая, она была тираном в домашней жизни сына и не терпела никаких ограничений своей власти.

Насколько бесхарактерным и легко поддающимся чужому влиянию был Тупицын, можно судить по следующему примеру. В январе 1867 года Тупицын, над которым в это время, вероятно случайно, перевесило

влияние жены, подал в Московской окружной суд прошение, в котором жаловался на свою мать, обвиняя ее в том, что она незаконно владеет и распоряжается имуществом и капиталом деда, принадлежащим исключительно ему, и нарушает спокойствие его семейной жизни, причем заявлял, что между ними происходит вражда оттого, что он не мог исполнить желание матери бросить свою нежно любящую жену, не подававшую ему никакого повода обвинять ее в чем-либо.

Не успев этим путем устранить влияние матери на свои дела, он окончательно затем теряет всякую охоту бороться с нею и находит уже более выгодным для себя стать послушною игрушкою в ее руках. Не проходит и четырех месяцев, как он круто поворачивает назад. В мае того же года он уже является в духовную консисторию с жалобою на свою «нежно любящую» жену, обвиняя ее в супружеской неверности, и просит о расторжении брака.

Духовная консистория потребовала, разумеется, формальных доказательств супружеской неверности, и налицо предстало три услужливых свидетеля.

Свидетелями явились слуги и прислужники Тупицыных. Обвинять Тупицыну в супружеской неверности прежде всех взялся некий — «актер императорских театров» — Эрлангер, бывший хорошим приятелем Тупицына, которому он задолжал по векселям довольно значительную сумму. Этот «кавалер» должен был удостоверить, что именно с ним, Эрлангером, плененная его красой, совершила грехопадение молодая супруга Тупицына.

Затем слуга Тупицыных, мещанин Гусев, утверждал в консистории, что летом 1866 года, т. е. в первый же год замужества молодой Тупицыной, когда Тупицын жил на даче в селе Калистов, к ней часто приезжал Густав Эрлангер. 16 или 17 июля в отсутствие Тупицына он приехал будто бы к ней и остался ночевать; постель ему была приготовлена в кабинете. На другой день утром, убирая комнаты, Гусев нечаянно уронил в гостиную половую щетку и из опасения, не разбудил ли он

этим стуком госпожу свою, подошел к дверям спальни, вглянулся в замочную скважину, из которой был вынут ключ, и увидел на постели вместе с Варварою Вуколовною Густава Эрлангера. Жена Гусева, служанка Тупицыных, рассказала подробности другого подобного же случая. В конце июля того же года, повествовала Гусева, Варвара Вуколовна собралась с Эрлангером в лес за грибами, ей же приказала взять ковер, подушку и корзину и идти за ними. В лесу на указанном месте разостлали ковер; она по приказанию барыни оставила их, но, вместо того чтобы идти домой, пошла в лес собирать грибы, затем, спустя около получаса, подходя к месту, на котором она оставила барыню, из-за куста она увидела, что они сидя обнимаются и целуются, а затем вскоре увидела их лежащими на ковре и, не дав им себя заметить, ушла.

На основании таких показаний свидетелей, заставших будто бы молодую Тупицыну *en flagrant delit*, духовная консистория постановила свое решение, которым вместе с расторжением брака Волженская (бывшая жена Тупицына) приговаривалась к вечному безбрачию и к церковному покаянию. Это решение консистории было затем в установленном порядке окончательно утверждено Святейшим синодом.

Разведенная Волженская, недовольная таким решением, возбудила дело о лживости свидетельских показаний.

На суде действительно обнаружилось, что показания, данные свидетелями в консистории, от первого и до последнего были ложны. При этом выяснилось, что данное бракоразводное дело было затеяно матерью Тупицына и что она для этого подкупала свидетелей.

Присяжные заседатели признали все показания, данные в консистории, безусловно ложными, но весьма различно отнеслись к отдельным подсудимым при определении степени их виновности. Тупицына и одного из свидетелей они, например, вовсе оправдали. Эрлангера признали виновным в лжесвидетельстве, но не вследствие подкупа. Всех строже отнеслись они к ви-

новнице всего дела, матери Тупицыной, и к свидетельницы Гусевой, служанке Тупицыных. Впрочем, суд и об этих последних подсудимых постановил: ходатайствовать перед Государем Императором о полном помиловании.

Сопоставив этот приговор суда с внешней обстановкой процесса, мы увидим следующее: присяжные признают факт лживости свидетельских показаний, но не находят возможности некоторым из подсудимых вменить их деяние в вину; суд постановляет ходатайствовать о совершенном помиловании обвиненных; а публика — от напора которой ломятся двери суда — энергично рукоплещет обвинительной речи поверенного опозоренной, обесчещенной женщины, рукоплещет так громко и с такою настойчивостью, что только усиленными мерами полиции удастся очистить залу суда от публики.

Эта странность объясняется теми особыми условиями, в какие поставлены у нас бракоразводные дела. Наши гражданские законы, как известно, не допускают расторжения брака по взаимному соглашению супругов; мало того, они признают ничтожными всякого рода акты, клонящиеся к установлению между ними раздельного друг от друга жительства.

Не отрицая в принципе развода, законодательство допускает его лишь при совершенно исключительных условиях. К таким условиям принадлежит прежде всего доказанная свидетельскими показаниями неверность одного из супругов, причем в случае развода виновная сторона обрекается на вечное безбрачие. За неимением других лазеек супруги, желающие во что бы то ни стало расторжения супружеских уз, поневоле прибегают к этому единственному доступному им средству. Волею-неволей одному из них приходится «брать на себя вину» и являться перед духовным судом в некрасивой роли виновника супружеской измены, пойманного на месте преступления.

Формальность и чисто внешняя сложность делопроизводства в духовных судах породила при них целую стаю поверенных, которые с особенною любовью и за-

бегливостью приняли под свое покровительство дела бракоразводные.

Люди богатые, не жалеющие средств для того, чтобы добиться развода, все производство по такому делу передают обыкновенно на руки какого-нибудь более или менее прославленного бракоразводных дел мастера и затем избавляются даже от щекотливой необходимости быть захваченными *en flagrant delit*. Главный поверенный, берущий, так сказать, подряд на бракоразводное дело, сам уже должен озаботиться о всем необходимом. Оставаясь сам невидимым руководителем дела, он нанимает поверенных рукоприкладчиков для той и другой стороны и подкупает нужных свидетелей. Духовная консистория, исполняя формальное предписание закона, допрашивает таких свидетелей и, не входя в оценку достоверности их показаний, по внутреннему убеждению, постановляет надлежащее решение.

С введением у нас судебных уставов 20 ноября 1864 года дела о ложности показаний по бракоразводным делам стали (по инициативе обиженной стороны) всплывать наружу. Несколько дел, подобных тупицынскому, уже доходили до судебного разбирательства, присяжные относились более или менее строго к подставным свидетелям (например, в деле князей Голицыных); но и это мало помогло делу. После каждого обвинительного приговора по такому делу только дорожала на несколько тысяч рублей цена бракоразводного делопроизводства; остальное же все оставалось по-старому.

Разумеется, если бы развод, добываемый такими средствами, возможен был только между супругами, взаимно на это согласившимися, то можно было бы только осуждать безнравственность и недоступность для бедных людей этих средств. Но ведь при таком положении вещей, как это и было в деле Тупицыных, вся тяжесть обвинения в супружеской неверности может пасть на лицо, ни в чем не повинное, не имеющее даже возможности желать развода, ввиду отсутствия всяких материальных средств к существованию. А между тем в руках противной стороны вся сила — деньги, нужные

для подкупа свидетелей, показания которых, как бы очевидно лживы они ни были, принимаются консисториею.

Понятно всякому, что для желающих развода трудно обойтись без подкупа свидетелей даже в том случае, если эти свидетели действительно «застали» (по заранее подстроенному распределению ролей) одного из жаждущих развода супругов на месте преступления потому, что кто же, кроме продажных свидетелей, занимающихся этими делами как ремеслом, пойдет свидетельствовать в консистории. С другой стороны, также понятно, что без участия таких свидетелей сделалась бы невозможна для пользования и та узкая лазейка к разводу, какая допускается законом. Но при этом не следует забывать, что намерение закона предоставить обманутому супругу право искать развода остается во всяком случае мертвою буквою. Супружеская неверность, не подлежащая никакому сомнению, но не удостоверенная тремя свидетельскими показаниями, несмотря на всю убедительность других доказательств, не может повлечь за собою развода. И выходит таким образом, что несовершенство духовного суда, несовершенство закона повлекло за собой ту массу лжи и злоупотреблений, которые неразрывно связаны с каждым бракоразводным делом. Все это понимают, все об этом знают — и суд и присяжные — и поневоле смотрят на подобное дело как на своего рода необходимое зло.

И в деле Тупицыных негодование слышалось не столько по поводу безнравственных и противозаконных средств развода, сколько по поводу тяжелых его последствий. Сама Волженская была, в сущности, рада возвращенной свободе; она добивалась от мужа только приличных средств к существованию. Так, на суде фигурировали два письма поверенных Волженской (князя Урусова и г. Громницкого), которые предлагали Тупицыным «прекратить» все дело о ложном показании, если они заплатят ей 50 000.

Присяжные, признав факт преступления, предоставили Волженской все средства выйти из своего тяжело-

то положения; но им не было основания набрасываться с особенною строгостью на лиц, воспользовавшихся хотя и противозаконными, но освященными обычаем и традициею порядками наших духовных судов.

Против этих порядков может бороться не приговор суда, а коренная законодательная реформа, как относительно подсудности бракоразводных дел, так и относительно законных условий самого развода.

ПРОСТИТУТКА-УБИЙЦА

В коридоре окружного суда шум и давка; толпа любопытных с раннего утра осаждает залу уголовного заседания. Женский элемент преобладает. Молодые изящно разодетые дамы напирают на расторопного судебного пристава, который теряется перед напором града любезностей и громогласно отдает приказания сторожам:

— Места внизу для дам!

С писком, с визгом, не щадя своих модных туалетов, устремляются шумной ватагой все эти искательницы сильных ощущений и наперебой друг у друга спешат занять лучшие места.

За ними приливает другая волна, волна публики разношерстной, которая довольствуется уже всяким местом, готова занять самое неудобное положение, лишь бы послушать хоть одним кончиком уха...

Наконец, все места заняты: на хорах, внизу, в местах, отведенных для адвокатов и для лиц судебного ведомства, — всюду полно. Зала суда превратилась в залу театра — ждут начала спектакля и в ожидании поднятия занавеса нетерпеливо покашливают, протирают бинокли и... ждут.

Опять на сцене «роман действительной жизни», — роман, полный сенсационных подробностей и интимных разоблачений с кровавою, трагической развязкою в конце.

Дело идет об убийстве любовницей своего любовни-

ка. На скамье подсудимых появляется стройная высокая молодая женщина. Черты лица ее грубы и ординарны, ее красивою назвать нельзя, но отпечаток грусти и страдания лежит на ее бледном лице, и это делает ее «интересным», это окружает его ореолом поэзии. Она одета в черное, но костюм ее не настолько прост, чтобы не заметить, что и в тюрьме, прежде чем явиться сюда на суд, она успела взглянуть на себя в зеркало... С особенной тщательностью убрана ее голова: густые темнорусые волосы заплетены в две массивные косы, которые подобраны на затылке гребнем и покрыты черным кружевом.

Введенная в залу через узкую боковую арестантскую дверь, она прежде всего оглянулась во все стороны. Увидев всю эту массу любопытных взоров, устремленных на нее, она не смутилась; напротив, она словно приняла их за дружеские, ободряющие взгляды.

Взойдя на возвышение, прежде чем опуститься на скамью, она плавно, медленно, словно совершая религиозный обряд, поклонилась сперва суду, потом присяжным и, наконец, публике... Когда священник взял крест и присяжные подошли к присяге, ею овладело словно какое-то неожиданное беспокойство. Сначала она тревожно подняла было голову и устремила глаза на образ, висящий в зале суда, но скоро пошатнулась, голова ее опустилась на грудь, и она заплакала.

Кронштадтская мешанка Анна Кирилова — это звание и имя подсудимой. Кто она такая, чем она живет, какое место занимает на ступенях общественной лестницы?..

На суде председатель предложил ей рассказать подробно о своей жизни, но Кирилова отвечала коротко:

— Не желаю!

Раньше, на предварительном следствии и наедине с защитником своим, она была откровеннее...

Не длинен и не нов рассказ!

— Откровенно рассказать всю жизнь, полную самых тяжелых невзгод и страданий, не всегда легко, — говорил за нее в своей речи защитник. — Вы знаете, что

такое жизнь публичной женщины, и вы не поставите ей в упрек, что она не хотела снова перед вами раскрыть ряд этих ужасных картин. Но для вас очевидно, какая это была жизнь!

С двенадцатилетнего возраста Кирилова очутилась в Петербурге одна; никакому ремеслу она не училась и к работе не привыкла. Это была смазливая, по-своему сметливая девочка, и вот только что она подросла — работа о куске хлеба миновала: она стала жить на средства «одного господина», которому она приглянулась. С этих пор жизнь ее замкнулась в определенную, раз навсегда сколоченную раму.

— Он женился, я осталась без капитала и стала путаться, — кратко оттеняла Кирилова дальнейшие свои отношения к мужчинам. Защитник ее пояснял:

— К двадцати пяти годам Кирилова уже прошла снизу доверху все ступени разврата.

И вот в 1875 году случай сводит ее с мужчиной, который как раз искал таких женщин, мимолетные сношения с которыми заменяли ему всякую прочную привязанность к честным женщинам, обегаемым им «пуше огня».

Инженер-технолог Семен Францович Малевский (так звали нового любовника Кириловой) встретился с нею в Летнем саду, угостил ее ужином и затем провел с нею ночь. Этим бы, казалось, и должны были покончиться все дальнейшие отношения этих случайных любовников.

Приятели и товарищи Малевского, характеризовавшие его на суде в самых восторженных выражениях, как человека во всех отношениях прекрасного, особенно настаивали на той черте его характера, которая заставляла будто бы его оставаться чуждым всяким увлечениям женщинами, на которых он не смотрел иначе как на орудие физического удовлетворения и наслаждения.

— Малевский имел веселый, умный, симпатичный характер, — рассказывал о нем ближайший друг его детства и закадычный приятель, — его пылкая, впечатлительная натура способствовала его увлечениям и ото-

звалась на его карьере. В 1862 году Малевский, принимавший участие в движении университетской молодежи, несмотря на хорошие успехи, вышел из Николаевской военной инженерной академии и поступил в технологический институт, где и окончил курс в 1866 году. Затем он отправился на Кавказ, служил в качестве производителя работ на Поти-Тифлисской железной дороге, а затем на Киево-Брестской. Везде он успевал, всякая работа кипела в его руках, все было исполнено отчетливо, аккуратно. По окончании этих работ Малевский приехал в Петербург и получил здесь место директора Сампсоньевского завода; энергия и способности Малевского поставили завод в ряду лучших заводов. Деятельность Малевского была изумительна: он не уходил с завода с 7 часов утра до 8 вечера. Ровный, хороший характер снискал покойному расположение и уважение всех знавших его, даже и рабочих: недоброжелателей у покойного не было.

Но самостоятельный и энергический во всех делах, в отношениях своих с женщинами покойный отличался слабостью и нерешительностью. Он говорил, что против слез женщин он не может устоять. Такая черта мягкости его характера не мешала, однако же, ему тяготиться всякой серьезной привязанностью к женщине. Малевский любил быть в обществе женщин «только легкого поведения». В пирушках с ними он как бы находил новые силы для работы, с большею энергиею наутро принимался за нее, никогда не жалуясь на усталость. При таком образе жизни у покойного не было постоянной связи с женщиной, он не искал сердечного чувства, не требовал привязанности и тяготился ее проявлениями; он часто говорил, что не желает продолжать знакомства с такой-то, так как она «начинает любить его».

Несмотря на такое упорство в нежелании иметь прочную связь с женщинами, Малевский сделал, однако, некоторое исключение для Кириловой. Их знакомство не прекратилось тотчас после первой ночи, проведенной вместе. По выражению Кириловой, она «сошлась» с ним, т. е. стала получать от него на содержа-

ние, сначала в неопределенные сроки по 25, 30 и 40 рублей, а затем он давал ей по 100 рублей в месяц. С этих пор они начали видаться часто, почти каждый день. Кирилова приходила к нему на квартиру во всякое время дня и ночи, прислуга Малевского стала ее называть «своей барыней».

Это не мешало, впрочем, Малевскому относиться пренебрежительно к Кириловой, третировать ее, как женщину, не заслуживающую даже внешних знаков уважения, в присутствии своих товарищей и знакомых. Так, ближайшие друзья Малевского, оставаясь наедине с Кириловой, тотчас же обращались к ней с разными предложениями, пытались рассматривать публично ее подвязки и т. п.

Впрочем, — по мнению, например, товарища прокурора, — Кирилова и не заслуживала лучшего о себе мнения. По словам обвинителя, стоило только «подробно процитировать акт осмотра квартиры Кириловой», чтобы получить надлежащее понятие о том, какого это была сорта женщина.

— Акт осмотра в ее квартире дает много фактов, характеризующих ее жизнь, — с проникательностью плохого романиста распространялся в своей речи г-н Плющик-Плющевский. — Из этого акта мы видим, что Кирилова занимала три комнаты: одна предназначалась отдаче жильцам, а в остальных двух, с неизбежным в подобных квартирах коридором сзади, жила она сама. В одной комнате стояла обыкновенная репсовая мебель, а в другой — ситцевая. Известная обстановка, обыкновенная для женщины такого рода. В квартире ее нашлись кое-какие книжки, несколько томов «Дела» за 1871 год, один том Гоголя, сказки Андерсена, «Лизок» Поль де Кока, «Упрощенная арифметика», «Несколько слов о городских собаках», «Руководство к обращению с швейной машиной», «Каталог музея Гасснера» и т. д. Видно, что эти книги, — продолжал обвинитель, — попали в квартиру Кириловой случайно и она относилась к ним с равным вниманием; видно было, что все эти книги одинаково служили для развития того лица, ко-

торое их имело. Кроме книг нашли еще билет на получение журнала «Нива» и конфетный билетик со стихами: «Вкус груб и дурен у тебя — ты любишь только лишь себя», в которых выразился, может быть, взгляд Кириловой на кого-либо из мужчин, знакомых ей, может быть, на характер самого Малевского.

Таковы догадки обвинителя относительно внешней и внутренней жизни Кириловой. Но сама подсудимая настаивала на том, что, вследствие знакомства с Малевским, она круто изменила свой прежний образ жизни и «не хотела знаться» более ни с одним мужчиной.

— Я привязалась к нему, я готова была за этого человека идти на все, дороже его для меня никого не было на свете, я не могу передать словами, какую любовь к нему питала и что чувствовала! — так говорила Кирилова о своих чувствах к Малевскому.

Приятеля же последнего характеризовали его отношения к Кириловой так. Человек умный и развитой, каким они признают Малевского, «он не мог питать какого-нибудь серьезного чувства к женщине с таким прошлым, как у Кириловой. Он терпел ее подле себя, не более»... Он часто жаловался приятелям, что «она надоедает ему своими приторностями и нежностями». Не раз он, ссылаясь на свои постоянные занятия, просил ее заглядывать к нему пореже; она отвечала на это слезами и упреками... Вообще же друзья Малевского полагали, что Кирилова жила с ним «только ради денег» и видела в нем обеспеченный источник постоянного дохода.

На это Кирилова с энергиею, даже с вызывающею грубостью возражала:

— Вы врите, мне нужны были не деньги его — мне нужен был он сам! Если бы я жила с ним ради денег, я ночью в слякоть, в холод не бегала бы к нему каждую минуту, чтобы только узнать, не примет ли он меня, не нужна ли я ему?... Если бы я хотела денег, я могла бы получить втрое более тех ста рублей, которые он мне давал.

Затем Кирилова старалась выяснить, что приятелям

Малевского и не мог быть известен истинный характер их отношений. По ее словам, сам Малевский ее «любил», был к ней привязан. Он только тщательно скрывал это от своих товарищей, боясь насмешек и упреков с их стороны. Если она долго не приходила к нему, он сам приходил к ней, ревновал, подозревал в измене... Когда же он бывал в кружке товарищей и встречался с нею, например, в Летнем саду, то убегал от нее с другими женщинами в темные аллеи. Такое двоедишное поведение Малевского ее страшно возмущало, и она не раз говорила ему: «Погоди, ты когда-нибудь добегаешься».

Товарищи Малевского утверждали, что будто бы однажды за обедом в компании Кирилова, увидев у Малевского револьвер, грозила ему убить тут же и заявила, что ей «не страшно», если ее за это сошлют в Сибирь на поселение. Но подсудимая дала на этот счет свои разъяснения: убить она никому не грозила, а, увидав пистолет, просила своего Маньку (она так звала Малевского) научить ее стрелять, на что тот возразил ей коротко: «Это дело не женское!»

Затем на суде шла речь о том, что Малевский старался приучить Кирилову к самостоятельной трудовой жизни и для этой цели купил ей швейную машину. Но из этого — по собственному сознанию Кириловой — ровно ничего не вышло, так как она была плохая мастерица и вообще к работе не привыкла.

Для того чтобы рельефнее очертить Кирилову, как женщину глубоко развратную, умевшую жить только праздною жизнью продажной женщины, обвинитель привел в своей речи письмо, писанное Кириловой еще тем господином, с которым она впервые находилась в более или менее продолжительной связи. Вот это письмо: «Тебе я удивляюсь: не иметь никаких занятий, кроме как ругаться с окружающими, и если какое дело и занятие представляются, то отталкивать его; все это происходит от излишнего самолюбия; что не рождена-де я для такого грязного дела, вот мне королевой бы быть в самый раз. Поэтому век чего-то ищешь, а что

под носом — того не видишь. Это не упрек, а жалость говорит».

Чтение этого письма, неблагоприятные показания свидетелей, товарищей Малевского, все это, видимо, возбуждающим образом действовало на Кирилову. Сначала она держала себя на суде убитой, подавленной; но когда на нее полетел целый град упреков не только как на преступницу, но и как на женщину, в которой никто не хотел признать даже простого человеческого чувства, которую все не стесняясь называли в глаза публичной женщиной, отверженной, парией, подсудимая с таким циничным равнодушием стала выслушивать показания свидетелей и так злобно, с такою энергичною желчностью защищалась от огульных нападок, что становилось жалко ее и вместе жутко...

Многие из публики, возмущаясь грубою резкостью ее ответов, заранее предсказывали, что против нее слагается у присяжных самое неблагоприятное впечатление.

Когда со стола вещественных доказательств сняли окровавленную подушку, на которой покоилась спящая голова Малевского в ту минуту, когда он был убит, и поднесли эту подушку к подсудимой, она опять зашаталась, опять заплакала, и прежний убитый, унылый вид не покидал ее уже более до конца заседания...

Малевский был убит в восемь часов утра, когда он лежал еще в постели и не успел проснуться. Убила его именно Кирилова, в чем и созналась, и это случилось так.

Вечером накануне Кирилова вернулась от знакомых к себе довольно поздно, часов в двенадцать. Ей показалось, что скучно оставаться одной в квартире, и она отправилась на Выборгскую сторону к Малевскому. Шла она пешком и потому только к часу успела добраться. Пройдя, по обыкновению, через кухню и кабинета и не предупрежденная никем из прислуги, она подошла к дверям спальни Малевского. Двери, против обыкновения, оказались запертыми; тогда она постучалась. На стук ее и оклик Малевский подал голос:

— Ступай себе домой, я завтра зайду к тебе объясниться...

Затем на расспросы Кириловой он пояснил:

— Со мной здесь женщина, ступай себе!.. Она вылитый твой портрет, и мне решительно все равно, что с нею, что с тобой!

В ту же минуту слышался за дверью женский голос. Женщина хохотала и из-за двери стала дразнить Кирилову:

— А я бы так заплакала!..

Тогда Кирилова стала просить Малевского выйти к ней на минуту. Тот вышел из спальни и очутился с нею в темной комнате.

— Зажги свечу, я в темноте не могу разговаривать,— попросила Кирилова, на что Малевский ответил:

— Зачем?.. И так знаем друг друга.

Кирилова опять ему сказала: «Зажги свечу!»

Малевский зажег, взглянул на Кирилову — и отшатнулся:

— Фуй, какая ты страшная, бледная, уходи!..

Тогда она спросила:

— Зачем ты утром сказал мне: приходи, а теперь привез другую женщину?..

На это ей Малевский отвечал смеясь:

— Так, на тебя похожа, иначе не привез бы!

Затем он снова ушел в спальню, а Кирилова осталась у дверей. Она стала просить его, чтобы он позволил ей остаться ночевать на креслах в соседней комнате. Он ей на это отвечал смеясь:

— Зачем на креслах, иди сюда, станем спать втроем, веселей будет!..

Тогда Кирилова пошла из комнаты и очутилась в темном кабинете. Здесь со стола она взяла револьвер, села на кушетку и стала им вертеть в руках. Потом из револьвера она выстрелила, и пуля полетела куда-то в темное пространство. В спальне Малевский и бывшая с ним женщина засуетились. Последняя стала торопливо одеваться. Кирилова между тем подошла с револьве-

ром в руках к дверям спальни и здесь еще раз выстрелила.

— Если ты еще раз это сделаешь, я пошлю за полицией! — крикнул ей Малевский и захлопнул дверь.

Тогда Кирилова ворвалась насильно в спальню и кинулась к нему, отбросив револьвер и цепляясь за него руками.

Женщина, бывшая с ним, с криком выбежала из комнаты и, не помня себя от страха, бросилась бежать. Кирилова, желая ее успокоить, крикнула ей вслед:

— Дама, я вас не трону!

«Дама» между тем бежала уже по лестнице без оглядки, где ее нагнала кухарка, чтобы отдать ей зонтик, перчатки и высланные барином деньги.

Оставшись наедине с Малевским, Кирилова скоро пришла в себя и успокоилась.

Малевский после этого долго не спал. Он пошел в кабинет и стал разыскивать, куда попали пули. Потом он позвал и Кирилову.

— Какая же ты дуручка, нацелить не сумела! — сказал он ей уже шутливо.

Потом они пошли в другую комнату, совершенно пустую, где только что выкрашен был пол. Здесь он лег на пол и сказал ей:

— Если любишь, ляг и ты!..

Кирилова не легла, а подняла его самого и увела в кабинет. Здесь он вздумал читать газету. Она звала его спать. Они перешли наконец в спальню. Кирилова раздела своего «Маньку», надела на него чистую рубашку, уложила в кровать, загасила свечку, легла с ним и — они «помирились».

Утром в 7 часов в двери постучалась девушка. Кирилова ответила ей «слышим» и разбудила Малевского.

— Ты вставай, я полежу еще! — сказал ей тот и повернулся на другой бок.

Кириловой спать больше не хотелось. Она пошла в другую комнату, вычесала себе голову, оделась и возвратилась опять в спальню. Малевский все еще спал. Она подошла к изголовью кровати, чтоб разбудить его.

На ночном столике лежал револьвер...

Вдруг у Кириловой — по ее словам — мелькнула мысль: «Когда он откроет глаза, я увижу его уже в последний раз, потому что должна уйти с тем, чтобы больше никогда не возвращаться!»

Тогда с ней сделалось что-то «странное», в чем она не могла себе дать отчета.

Она взяла револьвер и выстрелила в спящего Малевского. Тот захрипел, но даже не качнулся на месте. Она увидела кровь, ей сделалось страшно, ее охватил ужас...

Она выстрелила во второй раз; «зачем?» — не помнит. Ей показалось, что первого выстрела вовсе не было... Наконец, она «поняла, что случилось», и сама позвала людей.

— Я убила Семена Францовича!

Тут и конец «роману».

Прокурор и защитник сошлись в одной задаче: каждый по-своему истолковывал душевные движения подсудимой. Один настаивал на побуждениях злой воли, не вызванных ничем, кроме нравственной грубости и распушенности подсудимой; другой — отыскивал мотивы, упраздняющие возможность если не психического, то нравственного вменения.

Присяжные тонко и хорошо рассудили дело: они оправдали Кирилову.

ДАМА ВЫСШЕГО ОБЩЕСТВА

В начале декабря 1877 года в Петербурге хоронили миллионера, потомственного почетного гражданина Николая Александровича Пастухова.

Он умер бездетным холостяком, не достигшим еще и сорокалетнего возраста, умер от какой-то странной болезни мозга, которой предшествовали общий упадок сил и какое-то тяжелое нравственно-напряженное состояние духа.

В пышной похоронной процессии, устроенной ему двумя братьями, Иваном и Дмитрием, которым он ос-

тавлял капитал свыше миллиона рублей, обращала на себя подозрительное внимание родных и знакомых покойного некая таинственная «дама из общества», вся в черном, хранившая на своем, хотя уже пожившем, но все еще привлекательном, лице печать неподдельной грусти и сожаления о покойном. Она появлялась несколько раз на панихидах и теперь провожала покойного Пастухова до самой могилы.

Эту госпожу видели раньше оба брата Пастухова; они знали, что знакомство с нею сведено было покойным через закадычного приятеля своего г. Полевого; наконец, доходили до них слухи и о том, что сближение с этой женщиной оказало самое пагубное влияние на душевное состояние покойного.

Незадолго до своей кончины Николай Пастухов, будучи уже очень болен, совершенно избегал встречи с этой женщиной, но она не оставляла его в покое. Она то добивалась свидания с ним, то старалась сойтись с кем-либо из его родных, чтобы через них справляться о его здоровье и не потерять его из виду. Задолго еще до его смерти она не раз говорила, что у нее есть долгая претензия к Николаю Александровичу Пастухову на сумму свыше пятидесяти тысяч; но когда эти слухи доходили до самого Пастухова через знакомых, то он категорически отрицал это, говоря: «Никогда никакого повода не было у меня занимать эти деньги!»

Так или иначе, но не прошло и месяца после похорон Николая Пастухова, как на сцену появились три векселя покойного, выданные на разные сроки еще в 1876 году, всего на сумму в пятьдесят восемь тысяч рублей, на имя вдовы титулярного советника Людмилы Михайловны Гулак-Артемовской.

Эта последняя и была та таинственная дама в черном, та «дама из общества», которая принимала участие в похоронной процессии, считая нужным и с своей стороны отдать «последний долг» покойному.

Произвести взыскание по векселям с наследников Пастухова было поручено присяжному поверенному князю Кейкуатову. Не предвидя никакого спора против

взыскания, этот последний прямо обратился к одному из наследников, именно к Дмитрию Пастухову, с предложением произвести уплату. Но г. Пастухов, по обзору только одного векселя, порешил поступить иначе. Не дав никакого положительного ответа адвокату г-жи Гулак-Артемовской, он тем временем отправился к прокурору с заявлением о подложности подписи на векселе. Это повело к производству следствия, а затем кончилось и судом с присяжными.

Аристократическая и фешенебельная героиня уголовного романа, г-жа Гулак-Артемовская предстала на суде в сообществе довольно бесцветной личности, некоего тридцатипятилетнего «купеческого сына» Богданова, который писал самый текст векселей и вообще во всем деле играл довольно пассивную роль. Как выяснилось следствие, Богданов этот, хотя имел очень богатую мать, у которой в Новгороде большое имение и торговля, проживая в Петербурге без всяких определенных занятий, часто нуждался в деньгах и, благодаря давнишнему своему знакомству с г-жою Гулак-Артемовскою, просто-напросто состоял у нее «на посылках».

Что касается до самой г-жи Гулак-Артемовской, то личность ее выяснилась на суде в довольно определенных и законченных чертах.

По своему происхождению это женщина так называемого «высшего общества». Она воспитывалась в Смольном монастыре и получила хотя и поверхностное, но довольно блестящее образование. Ее счастливая наружность, внешний лоск и шик, живость в разговоре и некоторые другие таланты, как, например, отличная игра на фортепьяно, делали ее всегда заметною в обществе и привлекали к ней много ухаживателей и поклонников. В одном ей не посчастливилось — она была без средств; но и это скоро явилось. Еще в ранней молодости, по выходе замуж, ее стала преследовать мысль об аферах и богатстве. Она успела побывать в Сибири, где занялась покупкой и продажей золотых приисков и делала различные крупные обороты.

Наш рассказ застает ее уже женщиною вполне сло-

жившейся, в тот роковой для всякой женщины возраст, когда «розы, — увы! — отцветать начинают».

Г-жа Гулак-Артемовская в это время жила в Петербурге одна и вела своеобразно открытую жизнь. Квартира и вся обстановка была у нее на барскую ногу, в средствах она, по-видимому, нисколько не нуждалась. С дамами своего круга она не водилась. У ней проживала лишь в доме в качестве *dame de compagnie* некая г-жа Зыбина, которая была вместе и наперсницею ее, и дуэньей и которая фигурировала в настоящем деле в качестве свидетельницы.

Зато дом ее был полон обществом самых разнообразных мужчин. Тут были в качества *habitués* лица высокопоставленные, с более или менее громкими именами, каковы: барон Торнау, князь Суворов, тайный советник Митков, генерал-лейтенант Анненков и др. Рядом с ними в качестве «друзей дома» фигурировали какие-то, никому не ведомые, сибирские золотопромышленники, братья Хаймовичи, какие-то темные ходатаи по делам и юркий жидок, исчезавший всегда вовремя, пока не успевали справиться о его фамилии.

Никакого родового состояния у г-жи Гулак-Артемовской не было; тем не менее она тратила много; на текущих счетах в банках у нее бывали от времени до времени значительные суммы денег. В доме г-жи Гулак-Артемовской велась почти непрерывная карточная игра. Но, по ее словам, это был всегда невинный «вист» или еще более невинные «дурачки», в которые она любила поиграть «от скуки с добрыми приятелями».

По признанию самой г-жи Артемовской, средства к жизни ей давало ее «негласное ходатайство» по разного рода административным и торгово-промышленным делам; ходатайство, которое, благодаря ее обширным связям и знакомству, большею частью оканчивалось вполне успешно. Это удачное «проведение дел» действительно вознаграждалось хорошо; так, за утверждение устава какой-то мануфактуры она разом получила тысяч до сорока. И такой случай был не единичный.

По меткой характеристике обвинителя, великосвет-

ский салон г-жи Артемовской, устроенный на широкую ногу, «так сказать, сам себя окупал с большим барышом для хозяйки: здесь именами высокопоставленных утранных гостей эксплуатировали по вечерам наивных провинциалов».

Надо, однако же, заметить, что «высокопоставленные» посетители салона г-жи Гулак-Артемовской были о ней весьма высокого мнения. В своих свидетельских показаниях по настоящему делу все они дали крайне лестные отзывы о личности подсудимой. Они единогласно утверждали, что по общественному положению Артемовской, ее уму, характеру они считают ее положительно неспособной на подлог. Барон Н. Е. Торнау, у которого Гулак-Артемовская во время производства следствия находилась на поруках, в данном им на суде показании, даже самое обвинение г-жи Гулак-Артемовской объяснял себе не иначе как «желанием вызвать скандал, привлекая к суду лиц высшего круга, хотя бы только как простых свидетелей».

Таково было общественное и материальное положение г-жи Гулак-Артемовской в то время, когда она познакомилась и завязала свои отношения с покойным Пастуховым.

Об этих отношениях на суде поведал весьма обстоятельно и многоречиво г. Полевой, который вообще во всем этом деле, состоя в роли свидетеля, играл хотя и эпизодическую, но весьма заметную и подчас проникнутую истинным комизмом роль.

Это тот самый г. Полевой, бывший профессор одесского и варшавского университетов, который занимался издательством разных хрестоматий и тому подобной литературной дребедени, выпускаемой им в тисненном золотом переплете по дорогой цене. Г. Полевой именно по поводу своей издательской деятельности весьма близко сошелся и подружился с Пастуховым. Этот последний, в качестве новейшего мецената, поощрял труды г. Полевого и ссужал его деньгами, которые тот при жизни Пастухова так и «не успел» возратить ему. По поводу этих издательских афер за счет Пастухова не без

ехидства зло острил, во время допроса свидетеля, защитник г-жи Артемовской, присяжный поверенный В. И. Жуковский.

— Вы издавали книги на счет Пастухова, как же вы делили барыши? — спрашивал, например, Жуковский г. Полевого.

На это получался ответ:

— Мы издавали не ради барышей. Покойный был не такой человек... и я занимался из любви к делу.

Затем оказывалось, что из «любви к делу» г. Полевой издал «Книгу о висте» и детскую книжку «Серебряный конек».

— А дорого стоит этот ваш «золотой» конек в продаже? — язвительно допрашивал защитник.

Г. Полевой сердится: «Зачем вы переменяете название?!» Требуется вмешательство председателя, и затем г. Полевой решается наконец отвечать на вопрос и отвечает, что книжка эта стоит «дешево» — три рубля.

— Вы находите, что три рубля за детскую книжку дешево? — не отстает г. Жуковский.

— Да, в переплете, для двенадцати-четырнадцати-летнего возраста. Если вы не понимаете толка в этом, то не можете судить! — наконец выходит из себя г. Полевой и начинает «грубить» неотвязчивому допросчику.

Вот этот-то г. Полевой и был посредником в знакомстве г-жи Гулак-Артемовской с покойным Пастуховым. Сам он познакомился с Пастуховым с лета 1869 года и был дружен с ним до самой смерти. Эта «дружба» была самая тесная; они сошлись «как родственники» и виделись раза три или четыре в неделю. С Артемовской г. Полевой познакомился лишь зимою 1874 года. Сама Артемовская искала этого знакомства и добилась его через посредство своей подруги по институту, бывшей в то время гувернанткой при детях г. Полевого. Из слов г. Полевого можно было заключить, что он был сначала очень рад этому знакомству, так как понял, что г-жа Артемовская — «богатая и светская женщина» — заинтересована лично им. В сущнос-

ти же, она хотела лишь добиться через г. Полевого знакомства с Пастуховым, что ей вполне и удалось.

О дальнейших подробностях этого знакомства расскажем словами самого г. Полевого.

— Она часто присылала мне записки с приглашением поговорить о важном деле, — повествовал свидетель. — Бывало, придешь и застаешь картежную игру, посидишь долго и уходишь ни с чем. Я даже раз посмеялся, что вот вы меня держали до двух часов ночи и выпускаете голодным. В другой за этим раз меня накормили ужином, и когда мы остались вдвоем, то я увидел сильное желание воспользоваться моею любовью к вину. Хозяйка стала усердно подливать мне вино, я ей делал то же. Этот раз мы так просидели до шести часов утра.

Подпоив таким образом своего гостя, почтенного экс-профессора, г-жа Артемовская «приступила к делу». Она стала расспрашивать: богатые ли люди Пастуховы, может ли Н. А. Пастухов вступить в супружество, женился ли бы он на ней?

— На это, — заявил на суде г. Полевой, — я сказал ей прямо, что Н. Пастухов для нее слишком глуп и что ей нужно не такого мужа!

Говорил ли это тогда г. Полевой под влиянием личного увлечения г-жою Артемовской или же просто в интересах друга и ради его собственной безопасности от сетей коварной женщины честил его «круглым дураком», — так и осталось невыясненным при расспросах. Впрочем, несколько ниже в своем показании свидетель охарактеризовал покойного Пастухова как «большого идеалиста, в самом настоящем смысле этого слова». Из такого сопоставления как бы неожиданно вытекало, что в глазах г. Полевого «большой идеалист, в самом настоящем смысле этого слова» ничем, собственно, не разнится от «большого дурака».

Как образчик крайнего «идеализма» покойного Пастухова свидетель привел следующий случай из его студенческой жизни.

— Он был странного рода идеалист, — рассказывал

г. Полевой, — он был способен увлекаться женщинами такими, о которых нельзя говорить в порядочном обществе. Будучи студентом, он влюбился в публичную женщину, выкупил ее из заведения и не осмеливался целовать у нее руки, чтобы возвысить ее в собственных глазах.

Лично для г. Полевого знакомство с г-жою Гулак-Артемовскою покончилось весьма скоро, и притом, по его собственному выражению, «кончилось ничем». Правда, почтенного экс-профессора, оставшегося не вполне равнодушным к женской красоте, заставили проделать на прощание несколько весьма потешных штук. Так, отпуская однажды его от себя весьма поздно, г-жа Гулак-Артемовская уже на лестнице позволила ему вкусить некоторые сладкие муки как бы разделенной любви, а именно она приказала ему «спуститься вниз тайком, тихо, чтобы не разбудить швейцара, во избежание всяких толков». Эту таинственную эволюцию г. Полевой выполнил весьма старательно и даже на другой день об этом «писал» г-же Гулак-Артемовской с большими предосторожностями: «на английском языке и без подписи». За это ему же еще досталось, в порядочном обществе не принято писать анонимных записок. И г. Полевой, сознавшись в своей вине, извинялся в следующих трогательных выражениях:

«Многоуважаемая Людмила Михайловна, я не могу объяснить себе, как случилось, что при самых добрых намерениях, при полном отсутствии задней мысли, я навлек на себя серьезные укоры, которые сегодня от вас услышал. Мне бы хотелось снять малейшую тень подозрения, которое вкралось вам в душу. Если бы я знал, что застану вас завтра вечером от 9 до 10 часов и мое присутствие не будет вам неприятно» и т. д.

На суде г. Полевой объяснялся далеко уже не столь деликатно и изысканно. Он отзывался о подсудимой в самых резких и грубых выражениях, так что председатель должен был напоминать ему, что он говорит «все-таки о женщине», и притом в ее присутствии.

Показания этого свидетеля вызвали чуть не истерику

у г-жи Гулак-Артемовской, и она потребовала, чтобы ее удалили из залы заседания на время его допроса. Само собою разумеется, что все озлобление г. Полевого против себя подсудимая объясняла исключительно его досядою за некогда весьма усиленное, но совершенно бесплодное ухаживание за нею.

Что касается отношений покойного Пастухова к г-же Гулак-Артемовской, то о них кроме г. Полевого сообщили еще кое-что оба брата покойного. При этом все свидетели сознались, что, при замкнутости и скрытности характера, от него лично им приходилось слышать очень мало; он не любил посвящать в свои интимные дела. Несомненно, однако, что г-жа Гулак-Артемовская ему очень нравилась: он ценил в ней хорошую музыкантшу и с удовольствием проводил время в ее обществе. Несколько позднее их отношения стали еще более близкими. Они делали друг другу ценные подарки и виделись почти каждый день. Родные и знакомые Пастухова, видя, как в нем развивается страсть к этой женщине, даже не раз уговаривали его «лучше жениться на ней».

Но именно в это-то время покойный начал впадать в какое-то странное и тягостное состояние духа. Иногда из его слов можно было лишь догадываться, что причиной всего этого и были именно его отношения к г-же Артемовской. Увлеченный ею, он не мог, однако же, не сознавать многих темных сторон в характере этой личности. Сначала, считая ее женщиной с независимыми и обеспеченными средствами, он радовался, что эта женщина чужда всяких материальных расчетов и искренно к нему расположена. Скоро очень многое должно было его навести на мысли противоположного свойства.

По словам Ивана Пастухова, был такой случай. Однажды, еще в начале 1876 года, Артемовская была вечером в гостях у покойного. Она пожелала «посмотреть кассу» и увидела в ней, между прочим, мешочек с золотом на сумму около пятисот рублей. Как будто в шутку, попросила она этот «мешочек» у Пастухова и

затем не возвратила его. Но этого мало. Близкие к Николаю Александровичу Пастухову люди стали вообще замечать в нем какую-то необыкновенную задумчивость и даже озабоченность в денежных расчетах. Это последнее обстоятельство должно было показаться всем знавшим Пастухова тем более странным, что, несмотря на все свое громадное состояние, он был очень скромен в своих привычках и проживал лишь весьма незначительную часть своих доходов. При этом он был вообще в высшей степени аккуратен в денежных делах, всегда был исправен в платежах и никогда не брал денег взаймы у посторонних людей. Правда, в 1869 году ему случилось несколько «прогореть» с игрой на бирже, но это обстоятельство не имело никакого серьезного влияния на общее состояние его денежных дел.

Весною 1876 года покойный Пастухов находился в особенно мрачном настроении. Он, несмотря на всю свою скрытность, признался брату Ивану и своему приятелю Полевому, что его «очень тяготит знакомство с г-жою Артемовскою», и сообщил притом, что в короткое время он «проиграл ей в карты в дурачки 170 000 рублей». Тут же он пояснил, что сто тысяч он уже уплатил ей, и высказал, что по уплате остальных семи тысяч рублей рад будет порвать с нею всякое знакомство. Несмотря на то что Артемовская просила его дать ей на эту сумму векселя или расписки, он ей не только не выдал этих долговых обязательств, но даже чека ей не давал, боясь себя «компрометировать», а уплачивал ей долг исключительно наличными деньгами.

К зиме того же года Николай Пастухов уже говорил всем близким, что он окончательно рассчитался с Гулак-Артемовской, но что она не перестает преследовать его постоянными просьбами навещать ее.

Затем угнетенное душевное состояние Николая Александровича перешло в настоящую психическую болезнь. Его лечили известные психиатры, но безуспешно.

Вскоре он умер.

С своей стороны г-жа Гулак-Артемовская объясняла происхождение векселей довольно естественно и про-

сто. По ее словам, бывали времена, что Пастухов, предававшийся вообще «нетрезвой жизни и по преимуществу в доме г. Полевого», нуждался в деньгах. В одну из таких минут он и «занял» у нее сумму, значащуюся по векселям. Текст векселей писал, по его поручению, Богданов, а подписал он их у себя дома.

Ввиду же категорического заключения экспертов, что подписи на векселях не имеют «никакого» сходства с несомненною подписью г. Пастухова, подсудимая привела то соображение, что покойный, будучи уже психически расстроен, быть может, нарочно выдал ей эти подложные векселя за свои.

На вопрос председателя суда, чем же она может объяснить себе подобный поступок со стороны Пастухова, которого все свидетели признают человеком безусловно честным и который в то время, по свидетельству докторов, был еще в полном разуме, г-жа Артемовская возразила приблизительно следующее:

— Я совершенно согласна с этими мнениями о Пастухове и никогда бы не заявила, что он дал мне фальшивые векселя, если бы следователь не поставил вопроса так, что это могли только сделать или я, или Пастухов. Я не могу себе объяснить поступка Пастухова; полагать, что он хотел мстить женщине за то, что она не вышла замуж, — нельзя. Он мне действительно делал несколько раз предложение, говорил, что употребит все средства, чтобы заставить меня забыть первый мой, не совсем удавшийся брак. На это — я обещала подумать. Потом я уехала за границу и, когда вернулась, он уже серьезно заболел. Взял он у меня денег всего до семи-десяти тысяч; может быть, он этим хотел оказать мне услугу, так как постоянно отсоветовал отдавать деньги в частные руки или вести биржевую игру.

Присяжные заседатели, однако же, не приняли в уважение этих доводов подсудимой. Они признали обоих подсудимых, и г-жу Гулак-Артемовскую и Богданова, виновными в подлоге.

Г-жа Артемовская, все время весьма ажитированная на суде, против всякого ожидания, выслушала

вердикт довольно спокойно. Она только обернулась в ту сторону, где сидели братья Пастуховы и г. Полевой, свидетельствовавшие против нее, и укоризненно с саркастической улыбкой спросила их:

— Довольны?

ПЛАВУЧАЯ ТЮРЬМА

В Севастополе, в глубине южной бухты, ближе к берегу, окаймляющему так называемую корабельную сторону, одиноко чернеет военное судно, неизменно стоящее на мертвом якоре.

Внешний вид его являет нечто странное, непохожее на оживленный вид множества других военных судов, стоящих на рейде. На нем нет развевающегося на мачте флага, не слышно спешной судовой работы, бравой и проворной команды. Из двух мачт признаки вооружения носит только одна носовая, другая бесполезно чернеет, точно засохшее дерево, которое забыли срубить. Несмотря на значительные размеры судна — типа нормального военного корвета, — на нем нет ни трубы, ни других каких-либо признаков парового двигателя; очевидно, оно обречено на вечную неподвижность, оно приковано к месту.

Некогда военный учебный корвет славного имени «Память Меркурия», теперь — это «плавучая тюрьма», где отбывают исправительные наказания матросы Черноморского флота, присужденные к более или менее продолжительному тюремному заключению.

Учреждение этой своеобразной морской тюрьмы последовало в 1883 году. Система тюремного содержания состоит в одиночном заключении, за исключением времени, проводимого арестантами на практических судовых маневрах и общих работах. Но и в то время, несмотря на гуртовую, так сказать, общую работу, они не вправе ни подбодрить друг друга восклицанием, ни перекинуться словом: для них обязательно полное и безусловное молчание.

Упражнение в практических судовых работах производится ежедневно по утрам, в какую бы то ни было погоду. Так как по отбытии тюремного заключения наказанные возвращаются снова на службу в команды морского ведомства, то задача исправительного наказания преследует не только нравственное их исправление и поддержание строгой воинской дисциплины, но еще и усовершенствование в приемах морской службы. Для этой цели на судне имеется одна мачта в полном вооружении, достаточное число орудий и гребных судов. Смотри по состоянию погоды и времени года, производится то парусное, то артиллерийское, то гребное учение.

Заведование плавучей тюрьмой и главное распоряжение работами арестантов возложено на морского штаб-офицера, который пользуется всеми правами командира судна. В помощь ему назначается также морской офицер, занимающий положение старшего судового офицера. Этими двумя лицами исчерпывается состав ближайшего начальства тюрьмы и руководителей арестантов. Затем, под начальством старшего боцмана состоит небольшая команда старых, опытных матросов, главным образом для обучения арестантов морскому делу.

Кроме упражнений в приемах морской службы и содержания судна в чистоте арестанты занимаются некоторыми «дозволенными» ремеслами. В средней палубе тюремного судна устроено для этой цели особое помещение с необходимыми приспособлениями. Большинство арестантов заняты плетением матов, но есть между ними столяры, сапожники и даже портные. Плата, поступающая за эти работы, в размере одной половины принадлежит арестанту и выдается ему на руки при выходе из тюрьмы, другая поступает в казну. В виде дисциплинарного наказания начальник тюрьмы может уменьшить следуемую арестанту плату до половины, а в крайних случаях (на срок, впрочем, не более одного месяца) на одну треть и даже вовсе лишить заключенного всякой платы за работу.

По отзыву тюремного начальства, таких случаев (кроме одного, о котором речь впереди) со времени учреждения тюрьмы вовсе не бывало. Заключенные, обреченные на полное молчание во время работы, тяготятся праздностью и проявляют много добровольного рвения к работе, как бы стремясь однообразным механическим трудом отогнать свои невеселые думы.

По роду преступлений большинство заключенных не бог весть какие преступники. Мелкое воровство, пьянство, промотание казенного обмундирования большей частью приводят в плавучую тюрьму на шесть, семь, восемь месяцев, иногда и на год с месяцами.

Самый прием в тюрьму свежеприбывшего арестанта обставлен некоторой внушительной дисциплинарной обрядностью, рассчитанной, очевидно, на то, чтобы усилить первое впечатление, произвести должный эффект, сразу дать почувствовать, куда и зачем заключенный попал. Вновь поступивший арестант с места, так сказать, ошеломляется. Его запирают в карцер на сорок восемь часов и держат эти двое суток на карцерном положении, т. е. не дают ему другой пищи, кроме хлеба и воды.

После этого пробного двухдневного поста заключенного выводят из карцера преобразенным. Внешность его приведена в общеарестантский вид: он тщательно вымыт, переодет в арестантскую куртку, голова острижена под корень волос, борода и усы (обязательно) тщательно выбриты. Бритье усов и бороды производится через день; разрешение затем отпустить усы и бороду есть мера поощрения, своего рода награда, которой вправе награждать командир лишь в случаях выдающихся, и притом арестанта, пробывшего в тюрьме уже значительную часть своего срока. Этим отличием страшно гордятся выслужившие себе бороду арестанты. Даже те, кто на свободе не носил обыкновенно бороды, отпускают ее здесь, лишь только получают разрешение. Среди нескольких десятков арестантов, виденных нами в общей камере за работой, мы заметили только двух с почетной растительностью на подбородке. Они держали

себя и не так приниженно, как все другие арестанты, и не работали сами, а надзирали лишь за работой других.

Кроме указанной следует отметить две другие, гораздо более целесообразные меры поощрения арестантов, находящихся в распоряжении тюремного начальства.

Во время пребывания своего в тюрьме каждый заключенный, который и работает исправно, и ведет себя хорошо, может получить из заработанной им суммы незначительную часть (не более 12 копеек разом) на руки для покупки себе чая, сахара и т. п., но только — не табаку. Курение безусловно воспрещено. Запрещение это, благодаря немногочисленности заключенных и доступности надзора, выполняется весьма строго, и по отзыву лица, долго служившего командиром плавучей тюрьмы, лишение это едва ли не считается в среде большинства привыкших к курению арестантов наиболее тягостным.

Вполне целесообразной мерой поощрения, в видах исправления арестантов, является сокращение срока заключения на одну шестую часть. Такое сокращение сроков не предоставлено, однако, дискреционной власти командира тюрьмы; оно может последовать по его представлению не иначе как с разрешения главного командира Черноморского флота.

Параллельно с мерами поощрения, но только далеко превосходя их по своей интенсивности, идут меры взыскания с провинившихся арестантов.

Дискреционной власти начальника тюрьмы, и даже отчасти единоличному усмотрению его помощника, предоставлены следующие меры взыскания: а) лишение права на отдых до четырех дней (отдых и прогулки по $\frac{1}{2}$ часа полагаются между работой и после обеда), причем на время отдыха и прогулки провинившихся отводят в карцер; б) одиночное заключение в светлом карцере на хлебе и воде на время до двух недель и в) одиночное заключение в темном карцере также на хлебе и воде — до восьми дней.

Светлый карцер — это крошечная каморка, с жест-

кой деревянной койкой и куском солдатского сукна вместо подстилки. В ней ходить нельзя, но повернуться можно; притом же из круглого судового оконца виден свет божий. Зато так называемый темный карцер производит безусловно удручающее впечатление... Он расположен в самой удаленной, носовой подводной части судна. Мы едва добрались туда через темные переходы между складочными люками при помощи фонаря, бывшего у провожатого. Это даже не каморка, а какой-то ящик, куда ввести человека нельзя, а можно лишь втолкнуть его, и то предварительно пригнув ему голову. Здесь абсолютный мрак и днем и ночью. Спать полагается прямо на палубе. В углу этого карцера мы заметили цепи. Из расспросов мы узнали, что это кандалы, которые, по распоряжению начальника тюрьмы, могут отягчать заключение в карцере на время до семи дней.

Наконец, в распоряжении начальника тюрьмы, рядом с хитроумными изобретениями новейшей пенитенциарной системы, находится и доморощенная мера: право наказания розгами до пятидесяти ударов.

По уверениям лиц, начальствующих в тюрьме, из числа всех перечисленных дисциплинарных взысканий к мерам квалифицированным почти прибегать не приходится — всякие недоразумения улаживаются двумя, тремя днями простого карцера. Мы этому охотно верим, так как личность начальника тюрьмы произвела на нас впечатление вполне гуманного и развитого человека... Но мы описываем систему, а не личность.

По замечаниям компетентных лиц, вся пенитенциарная система морской плавучей тюрьмы, рассчитанная на строгость дисциплины и возмездия, с внешней стороны, весьма легко и быстро достигает своего назначения. Буйный, нерадивый, привыкший к вольностям и пьянству матрос, сразу попадая в ежовые рукавицы прославленной пенитенциарной системы, с ее обязательным молчанием, автоматическим послушанием и однообразием судового режима, чувствует себя пойманным зверем, и ему не остается ничего другого, как смириться, подавить свое «я»; смолкнуть, затихнуть, замереть...

Все рассчитано на обезличение человека, на механическое, так сказать, усмирение, обуздание его волевых импульсов. На время заключения он действительно отказывается от всяких волевых побуждений, сбрасывает их с себя, как ненужную одежду, и живет или, по крайней мере, старается жить исключительно растительной жизнью. За отсутствием живых, разнообразных ощущений сознание, и без того слабо развитое, перестает почти вовсе работать.

Период одиночного молчаливого заключения — для большинства малоразвитых арестантов — отнюдь не есть школа нравственного перерождения или духовного самоуглубления; напротив, это абсолютная духовная спячка, временная летаргия, освобождающая их совершенно от необходимости думать и рассуждать. Вот почему — по отзыву хотя бы тех же служащих на плавучей тюрьме — получаются, по-видимому, столь странные и неожиданные (для поклонников подобной пенитенциарной системы) результаты. Образцовый арестант, с необыкновенной покорностью отдающийся всем пенитенциарным воздействиям, покорный, послушный, по-видимому, совершенно исправившийся под влиянием тюремного режима, раз выпущенный (иногда даже до срока за свое примерное благонравие) на свободу, очень быстро становится рецидивистом и затем, к изумлению тюремного начальства, снова не оставляет желать ничего лучшего в качестве арестанта.

Наоборот, замечено, что наиболее строптивые арестанты, на которых никакие меры исправления не действовали, с которыми была настоящая мука в тюрьме, на свободе служили исправно и более в тюрьму не попадали.

Таким образом, получается нечто весьма поучительное: кого не успевала «исправить», т. е. окончательно побороть, придавить тюрьма, те умели справляться с новыми, более сложными требованиями свободной жизни; выпущенные же из тюрьмы с одобрительным аттестатом «вполне исправившихся» делались неиспра-

вимыми рецидивистами, годными только для тюремной жизни.

Подобный результат не является, само собой разумеется, исключительной принадлежностью описываемой нами военно-морской тюрьмы. Вся современная пенитенциарная система заключения грешит одним и тем же. Мы отмечаем здесь это явление лишь потому, что нам дорого свидетельство лиц, которые, сами будучи весьма далеки от мысли критиковать существующую систему, тем не менее на основании многих лет практики с удивлением останавливались на подобном выводе.

Арестантские помещения на плавучей тюрьме не оставляют желать ничего лучшего. Порядок и чистота образцовые, как это заведено на всех военно-морских судах. Каждый арестант имеет свою кают-камеру, которую сам убирает и в которой проводит взаперти ночное время и время дневного отдыха. День проводится на работах на палубе, или в мастерской, или же, наконец, в классной комнате, где арестантов учат грамоте под руководством старшего офицера. Постоянно живущего на судне священника не полагается, но в канун праздников и в самые праздники в особо для этой цели приспособленной молельне, рядом с классной комнатой, происходит богослужение. Для этого командировается один из портовых севастопольских священников, который, согласно существующей на этот предмет инструкции, сверх исполнения обычных духовных треб и отправления богослужения обязан обращаться с «поучением» к заключенным.

Продовольствие и пища арестантов ничем не отличаются от общепринятого довольствия нижних чинов морского ведомства и потому, безусловно, хороша. У арестантов здоровый и сытый вид. Их кормят три раза в день, давая завтрак, обед и ужин. На случай заболевания арестантов на плавучей тюрьме имеется небольшой тюремный лазарет. Отдельные каюты арестантов настолько удовлетворительны по своему объему, что, по соглашению начальника тюрьмы с врачом, больному

может быть разрешено лечиться и не оставляя своей камеры. Отправление больного в береговой лазарет практикуется лишь в самых крайних случаях: при заразительности болезни, недостатке помещения, помешательстве и т. п. При тюрьме состоит военно-морской врач, который производит освидетельствование заключенных обязательно раз в неделю.

Достоинство быть отмеченным правилом, в силу которого все время, проведенное больным в лазарете, вовсе не засчитывается ему в срок заключения. Такой зачет возможен лишь с разрешения главного командира Черноморского флота, и то в строго определенных законом случаях. Если этой мерой имелось в виду парализовать случаи притворного заболевания, то, казалось бы, другим существующим наряду с этим правилом подобное опасение достаточно уже устранено. В случае притворной болезни заключенного или умышленного нанесения им себе вреда (это обстоятельство должно быть удостоверено врачом) начальник тюрьмы подвергает виновного строгому дисциплинарному наказанию, и, сверх того, ему может быть продлен срок содержания. Таким образом, предыдущее правило имеет в виду действительно больных в тюрьме, которым удлиняется срок заключения только потому, что они имели несчастье заболеть. Это, конечно, несправедливо.

Внешняя охрана судна и арестантов лежит не на судовой команде, которая весьма незначительна по своей численности, а на особом карауле, наряжаемом под командой флотского обер-офицера из морских береговых команд и сменяемом через каждые сутки. Начальствующие в тюрьме находят присутствие этого пришлового, ежедневно изменяющегося состава караула неудобным в целях пенитенциарных. Не говоря уже о том, что такой пришлый элемент не проникается задачами и целями, преследуемыми лицами, постоянно заведующими тюрьмой, бывают случаи якобы и небрежного отношения к делу. Приходящие на караул, по большей части молодые матросики, несмотря на все запреты и предупреждения, вносят жизнь и живые интересы в это

мертвое царство скорби и молчания... И поговорить они не прочь с своим братом заключенным, и поделиться с ним табачком, чуть отвернул в сторону свои важные шетинистые усы беспощадный ригорист — старший боцман.

— Никакого сладу с ними нет! — жаловался нам этот почтенный поборник тюремной дисциплины. — Ты ему верно объясняешь: нельзя, мол, разговаривать, запрещено!.. А он тебе: «Я потихоньку!..» Без всякого понятия народ.

Вооруженная стража размещается не только на палубе, по борту судна, но и внутри, в арестантских мастерских и вокруг камер заключенных. Бегство, казалось бы, невозможно и бесполезно. Мало выбраться из тюрьмы, надо еще проплыть до берега весьма значительное расстояние. Тем не менее за время существования тюрьмы был все-таки один такой случай, и об этом ловком и смелом побеге ведется подробное сказание в летописях тюрьмы.

Бежал молодой арестант, которому и оставалось-то из семи месяцев всего еще месяц отсидеть в тюрьме. Однако он не выдержал и, несмотря на все препятствия, несмотря на грозящие последствия, бежал так смело и ловко, что тюремное начальство только ахнуло, когда его не оказалось на вечерней перекличке. Под вечер в небольшой партии арестантов он мыл швабры на нижней площадке судового трапа. Партия охранялась часовыми, которые с ружьями в руках не спускали глаз с работавших арестантов. Тем не менее случай ему помог: в суматохе, когда арестанты столпились, чтобы взбираться по трапу на судно, он осторожно, как бы оступившись, юркнул в воду, нырнул под судно (он был отличный пловец) и был таков. Арестанты знали о предстоящем «отвале» товарища и, конечно, молчали; стража же ничего не заметила. Его поймали только спустя много дней, уже в Бахчисарае, где он плясал в кабаке, переодевшись татарин. Оказалось, что, доплыв до глубины южной бухты (постепенно раздевшись в воде донага), он вышел на берег только ночью. Его приютил

какой-то сердобольный татарин, поверивший его рассказу о том, что его платье унесли в то время, пока он купался.

Несчастный беглец дорого поплатился за свою важную попытку. По распоряжению совета тюрьмы¹, утвержденному управлением Морского министерства, он был на шесть месяцев заключен одиночно на карцерном положении.

Летопись плавучей тюрьмы, несмотря на кратковременность свою, знает также один случай дерзкого буйства. Один арестант, отличавшийся крайней безответностью и покорностью, однажды вдруг и, по-видимому, ни с того ни с сего хватил кулаком по голове младшего боцмана, нагнувшегося зачем-то к полу, с такой силой, что тот лишился чувств...

Этого судили и осудили по всей строгости военных законов о дисциплине. В тюрьму он больше не вернулся. Рассказывая нам подробности этих выдающихся случаев, служащие в тюрьме приписывали эти два явления простой случайности — «в семье не без урода»; в общем же они отзывались с большой похвалой о поведении и нравственности заключенных. Случаи упорного нерадения или непослушания так редки, что о них не стоит говорить... кроме одного, впрочем, рассказ о котором сохранился в нашей памяти.

Заключенный, отличавшийся, в общем, безукоризненным поведением и усердием к морской службе, с замечательным, несвойственным его характеру упорством отлынивал от всяких ручных работ в мастерских. Особенно он ненавидел плетение матов. Его наказывали — лишали заработной платы, сажали в карцер — ничто не помогало... Наконец, его посадили в темный карцер. Он стонал, плакал, жаловался на свою судьбу, на людскую несправедливость... Начальник тюрьмы

¹Тюремный совет состоит из начальника тюрьмы, его помощника, врача, священника и заведующего хозяйством. Его решения касаются случаев, выходящих за пределы власти начальника тюрьмы, и подлежат утверждению высшего начальства. — *Авт.*

лично отправился в карцер, чтобы объясниться с ним наедине, подействовать на него внушением.

Наказанный, сопровождая свою исповедь горькими рыданиями, стал уверять, что не лень не позволяет ему работать, но что во время работы с ним делается что-то странное: он перестает как будто вовсе осязать левой рукой, все валится у него из пальцев... То, что дается другим без особого труда, ему кажется непреодолимо тягостным. Его освободили из карцера и учредили за ним правильный врачебный надзор. Оказалось, что у него — нарождающийся паралич левой руки. Он не решился заявить о своей болезни ранее — из боязни попасть в лазарет и этим добровольно продлить срок своего заключения.

Впечатления, вынесенные нами из часового пребывания на плавучей тюрьме¹, и заключились этим поучительным рассказом.

Несмотря на безупречный порядок и ложенный вид этой новой оригинальной тюрьмы, несмотря на радушный и предупредительный прием, встреченный нами, мы не без чувства удовольствия поспешили в ожидавшую нас «вольную» шлюпку, которая легко и быстро понесла нас к Графской пристани по зеркальной поверхности рейда, залитого ярким солнечным светом, оглашенного тысячами голосов кипящей вокруг деятельной жизни. В эту минуту с плавучей тюрьмы раздавалось стройное, но глухое и монотонное пение предобеденной молитвы заключенных...

Лодочник мой, почтенный севастополец-ветеран, до той минуты упорно хранивший сосредоточенное молчание, неожиданно обратился ко мне:

— Осмотрели все?.. — И на мой утвердительный ответ с философским добродушием заметил: — А помоему, где ни держи человека под замком, на воде или на сухопутье, — все одна мука... все тюрьма!

Я с ним согласился.

¹ Осмотр тюрьмы разрешается не иначе как с согласия командира Севастопольского порта. — *Авт.*

ИЗ КАЗАНСКИХ ВОСПОМИНАНИЙ

Если бы знаменитый криминолог Ломброзо увидел некоего *Нечаева*, которого мне пришлось обвинять в Казани весной 1871 года, то он, конечно, нашел бы, что это яркий представитель изобретенного итальянским ученым *преступного типа* и прирожденный преступник-маттоид. Маленького роста, растрепанный, с низким лбом и злыми глазами, курносый, он всей своей повадкой и наружностью подходил к излюбленному болонским профессором искусственному типу. Он представлял вместе с тем и своего рода психологическую загадку по той смеси жестокости, нахальства и чувствительности, которые отражались в его действиях.

В 1871 году Благовещение приходилось в пятницу на Страстной неделе. «Свято соблюдая обычай русской старины», старик портной Чернов решил, вместо птицы, выпустить на свободу человека. Он отправился в тюремный замок и там узнал, что есть арестант — отставной военный писарь Нечаев, обвиняемый в краже и сидящий лишь за неимением поручителя на сумму 50 рублей. Чернов обратился к начальству тюрьмы, прося отдать ему на поруки Нечаева, и, по соблюдении формальностей, получил его на свои руки и немедленно привел к себе в мастерскую, подарив ему при этом две ситцевых рубашки и рубль серебром. С ними Нечаев немедленно исчез и вернулся лишь перед самой пасхальной заутреней, и конечно без рубашек и без рубля.

Утром в день Светлого воскресенья он стал требовать еще денег, но Чернов отказал. В четыре часа дня последний оказался убитым, с кровоподтеками на виске и на лбу, причем шея его была почти совершенно перерублена топором, валявшимся тут же, а голова висела лишь на широком лоскуте кожи. Карманы платья Чернова были выворочены, и со стены исчезло его новое, только что сшитое пальто. Исчез и Нечаев. Он был обнаружен ночью в доме терпимости, причем на спине его, на рубашке, найдено было большое кровавое пятно; такое же пятно было и на подкладке пальто со стороны спинки. Нечаев ни в чем не сознавался и даже отрицал свое знакомство с Черновым и пребывание в его доме. Он держал себя чрезвычайно нагло. Когда его вели в сопровождении массы любопытствующего народа на квартиру Чернова для присутствия при осмотре места преступления, он обратился к проезжавшему мимо губернатору со словами: «Ваше превосходительство, а что бы вам меня за деньги показывать? Ведь большая бы выручка была!»

Перед осмотром и вскрытием трупа убитого в анатомическом театре университета Нечаев прислал мне заявление о непременном желании своем присутствовать при этой процедуре. Во время последней он, совершенно неожиданно, держал себя весьма прилично и внимательно вглядывался и вслушивался во все, что делал и говорил профессор судебной медицины И. М. Гвоздев. Когда последний кончил, Нечаев спросил меня: «Как объясняет он кровоподтек на лбу?» Я попросил Гвоздева повторить обвиняемому это место его *visum peritum*¹ и заключения. «Этот кровоподтек должен быть признан посмертным, — сказал Гвоздев, — он, вероятно, получен уже умершим Черновым во время падения с нар, возле которых найден покойный, от удара обо что-нибудь тупое». Нечаев злобно усмехнулся и вдруг, обращаясь ко мне и к следователю, громко сказал: «Гм! После смерти?! Все врет, дурак! Это я его

¹ Установленной картины преступления (лат.).

обухом топора живого, а не мертвого; он еще после этого закричал». И затем Нечаев тут же, не без развязности, рассказал, как, затаив злобу на Чернова за отказ в деньгах, поджидал его возвращения с визитов и как Чернов вернулся под хмельком, но грустный и жаловался ему, что у него сосет под сердцем, «точно смертный час приходит». «Тут я, — продолжал свой рассказ Нечаев, — увидел, что действительно его час пришел. Ударом кулака в висок сбросил я его с нар, на краю которых он сидел, схватил топор и ударил его обухом по лбу. Он вскрикнул: «Что ты, разбойник, делаешь?!» — а потом *забормотал* и, наконец, замолчал. Я стал шарить у него в карманах, но, увидав, что он еще жив, ударил его изо всей силы топором по шее. Кровь брызнула, *как кислые щи*, и попала на пальто, которое Чернов повесил на стену, повернув подкладкой кверху, потому что оно было новое. Я крови не заметил, когда надевал пальто; оттого у меня она и на спине оказалась. А вы, может, и поверили, что это из носу?» — насмешливо заключил он, обращаясь к следователю и напоминая свое первое объяснение этого пятна.

В тюрьме он себя держал спокойно и просил «почитать книжек». Но когда я однажды взойшел к нему в камеру, он заявил мне какую-то совершенно нелепую жалобу на зрителя и, не получив по ней удовлетворения, сказал мне: «Значит, теперь мне надо на *вас* жаловаться?» — «Да, на меня». — «А кому?» — «Прокурору судебной палаты, а еще лучше министру юстиции: он здесь будет через неделю». — «Гм, мое дело, значит, при нем пойдет?» — «Да, при нем». — «Эхма! В кармане-то у меня дыра, а то бы князя Урусова надо выписать. Дело мое ведь очень интересное. А кто меня будет обвинять?» — «Я». — «Вы сами?» — «Да, сам». — «То-то, я думаю, постараетесь! при министре-то?» — вызывающим тоном сказал он. «За вкус не ручаюсь, а горячо будет», — ответил я известной поговоркой. «А вы бы меня, господин прокурор, пожалели: не весело ведь на каторгу идти». — «Об этом надо было думать прежде, чем убивать для грабежа». — «А зачем он мне денег не

дал? Ведь и я хочу погулять на праздниках. Я так скажу: меня не только пожалеть надо, а даже быть мне благодарным. Не будь нашего брата, вам бы и делать было нечего, жалование не за что получать». — «Да, по человечеству мне и впрямь жаль», — сказал я. «А коли жаль, так у меня к вам и просьба: тут как меня выводили гулять или за нуждой, что ли, забралась ко мне в камеру кошка да и окотилась; так я просил двух котятков мне отдать: с ними занятнее, чем с книжкой. Однако не дали. Прикажите дать, явите божескую милость!» Я сказал смотрителю, что прошу исполнить просьбу Нечаева.

В заседании суда, в начале июня, действительно присутствовал граф Пален, приехавший в Казань на ревизию. Нечаев держал себя очень развязно, говорил колкости свидетелям и заявил, что убийство совершилось «фоментально» (т. е. моментально). Присяжные не дали ему снисхождения, и он был приговорен к 10 годам каторги. В тот же день казанское дворянство и городское общество давали обед графу Палену в зале Дворянского собрания. В середине обеда мне сказали, что приехал смотритель тюремного замка по экстренному делу. Я вышел к нему, и он объяснил, что Нечаев, привезенный из суда, начал буйствовать, вырвал у конвойного ружье и согнул штык (он обладал громадной физической силой), а затем выломал у себя в камере из печки кирпич и грозил разmozжить голову всякому, кто к нему войдет. Его удалось обезоружить, но смотритель находил необходимым заковать его в ручные и ножные кандалы, не желая, однако, это сделать без моего ведома, так как на мне лежали и обязанности старого губернского прокурора. Я отнесся отрицательно к этой крайней мере и посоветовал ему подействовать на Нечаева каким-нибудь иным образом. «Что, котята еще у него?» — «У него — он возится с ними целый день и из последних грошей поит их молоком». — «Так возьмите у него в наказание котят». Смотритель, старый служака прежних времен, посмотрел на меня с недоумением, потом презрительно пожал плечами и иронически сказал: «Слушаю-с!»

Прошло три дня. Смотритель явился ко мне вновь. «Господин прокурор, позвольте отдать котят Нечаеву». — «А что?» — «Да никак невозможно». — «Что же? буйствует?» — «Какое, помилуйте! Ничего не ест, лежит у дверей своей камеры на полу, стонет и плачет горючими слезами. «Отдайте котят, — говорит, — ради Христа, отдайте! Делайте со мной, что хотите: ни в чем перечить не буду, только котяточек моих мне!» Даже жалко его стало. Так можно отдать? Он уж будет себя вести примерно. Так и говорит: «Отдайте: Бога за вас молить буду!»

И котята были отданы убийце Чернова.

ТЕМНОЕ ДЕЛО

Перейдя в Петербург из Казани, в начале семидесятых годов, я нашел в производстве у следователя одно из тех мрачных дел, про которые можно сказать словами знаменитого Tardieu: *c'est ici que l'on désespère de l'humanité!*

В Петербурге жило семейство чиновника К., состоявшее из родителей, двух дочерей, замечательных красавиц, и забулдыги-брата. Старшая дочь была замужем тоже за чиновником, но не жила с ним. Семейство познакомилось с богатым банкиром, который среди петербургских развратников слыл за особого любителя и ценителя молодых девушек, сохранивших внешние признаки девства, за право нарушения которых старый и безобразный торговец деньгами платил большие суммы. Почтенная семья решила представить ему старшую дочь в качестве девственницы и, по-видимому, получила кое-что авансом. Но, кем-то предупрежденный о готовившемся обмане, банкир потребовал точного исполнения условленного, грозя какими-то имевшимися у него компрометирующими родителей подлож-

¹Тардье: вот где приходится разочаровываться в человечестве (фр.).

ной девственницы документами. Тогда вся семья, за исключением младшей дочери Надежды, решила принести ее в жертву современному Минотавру, причем старшая сестра ее играла самую активную роль и была посредницей в переговорах, выговорив себе за это часть из общего вознаграждения. Но несчастная Надежда К., которой только что минуло 19 лет, приходила в ужас от той роли, на которую ее обрекала развращенная семья. Кроме того; она была влюблена, хотя без доказательств взаимности, в красавца офицера лейб-гвардии Казачьего полка. Понадобились просьбы, слезы, настояния и всякого рода психическое принуждение и давление, чтобы побудить ее наконец согласиться отдаться в опытные и жадные объятия старой обезьяны. Для этого назначен был и день, в который сестра должна была приехать с нею к банкиру и затем, после роскошного ужина, оставить их вдвоем.

Но произошло нечто неожиданное.

Накануне своего жертвоприношения Надежда К. написала письмо любимому человеку в казармы, в котором просила приехать отобедать с нею в одном из загородных ресторанов. Около 5 часов дня она явилась в этот ресторан, взяла отдельный кабинет, заказала обед на двоих и приказала заморозить бутылку шампанского. Но ожидаемый сотрапезник не приехал. Прождав его до 9 часов вечера, не дотрагиваясь до обеда, но выпив несколько бокалов шампанского, Надежда К. уехала. Около 11 часов вечера она явилась в казачьи гвардейские казармы, где пожелала видеть своего знакомого. Его, однако, не было дома, и она, весело поболтав с тремя его товарищами, удалилась, сказав, что отправляется домой. На этом след ее потерялся. В 6 часов утра (дело было летом) какая-то дама, растрепанная и шатавшаяся, наняла на Знаменской площади извозчика и, подъехав к дому, где жило семейство К., дала извозчику полуимпериал, а на выраженное им недоумение махнула рукой и вошла в подъезд. Это была Надежда К. Она быстро прошла через комнату спавшего брата, потревожив его своим появлением и тем, что чего-то искала в

столе, ничего не ответив на его вопрос. Через несколько минут в ее комнате раздался выстрел. Пуля прошла снизу вверх, не задев сердца, но произведя жестокое повреждение спинного мозга, выразившееся в быстром нарастании паралича верхних конечностей и языка. Понесшая убыток благородная семья («а счастье было так возможно, так близко!») не дала, однако, знать полиции, а пригласила находившегося в близких отношениях со старшей сестрою доктора медицины, преподававшего студентам Медико-хирургической академии и известного некоторыми научными работами. Он подавал первую помощь несчастной девушке, покуда она еще обладала речью, но когда, через несколько часов, она уже не могла владеть ни руками, ни языком, было дано знать полицейскому врачу, который нашел Надежду К. в ужасном положении. Она не могла говорить и двигать руками, лицо ее выражало жесточайшее страдание, а когда врач, осматривая рану, обратил внимание на ее половые органы, то нашел, что они находятся в таком состоянии воспаления и даже омертвения, которое свидетельствует о том, что она сделалась жертвою, вероятно, нескольких человек, лишивших ее невинности и обладавших ею последовательно много раз. Никаких знаков насилия, однако, на ее теле найдено не было. Несчастливая протрпдала несколько дней, на расспросы полиции и следователя отвечала лишь слезами и стопами и, наконец, умерла от своей раны и от явлений острой уремии как последствия местного повреждения.

К следствию была привлечена старшая сестра, взятая на поруки упомянутым выше профессором, но, несмотря на все усилия следователя и сыскной полиции, открыть виновников совершенного над Надеждой К. злодеяния и вообще разъяснить эту драму не удалось. Существовал ряд предположений, розыски направлялись то в ту, то в другую сторону, но это не приводило ни к чему, и все обрывалось на роковом и вынужденном молчании покойной.

В начале октября того года, когда все это случилось, ко мне в камеру пришел поручитель за старшую дочь и

с большим сознанием собственного достоинства сказал, что желает отказаться от поручительства за нее, так как разошелся и не хочет более иметь с нею ничего общего. Я сказал ему, что он может подать об отказе от поручительства заявление мне или следователю, но, воспользовавшись его пребыванием у меня, завел с ним разговор о существе этого дела. Он согласился со мною, что оно ужасно, и, когда я сказал ему, в каких направлениях шли розыски, он заявил мне, что это все ложные пути и, если бы покойная могла теперь говорить, она бы рассказала другое, «весьма неожиданное», прибавил он, лукаво усмехаясь. «Но ведь вы были при ней, когда она еще говорила, конечно, расспрашивали ее, и, без сомнения, она вам сказала все, как другу семьи. Вы могли бы поэтому нас вывести из лабиринта, дать нам руководящую нить... ведь вы тоже возмущаетесь этим мрачным делом и не можете не жалеть несчастную девушку». — «Ну, само собой разумеется, — ответил он совершенно спокойно, — она мне все рассказала, и жаль мне ее, и возмущаюсь я, а все-таки помогать вам не хочу. Ее не воротишь, а мне это невыгодно и неудобно. Впрочем, если вы дадите честное слово, — и он оглянулся на двери кабинета, — что не только не передадите никому того, что я вам скажу, но ни в каком случае и никаким способом этим не воспользуетесь, то я вам, как знакомому, для удовлетворения вашего любопытства, по дружбе, пожалуй, кое-что расскажу». — «Милостивый государь, я с вами говорю как прокурор, а не по дружбе, которой между нами существовать не может, тем более что я не имею чести быть с вами знакомым и вижу вас в первый раз». — «Ну вот, вы уж и сердитесь! Если так, то я вам, господин прокурор, заявляю, что я ничего по этому делу не знаю». — «Даже и того, что старшая сестра погибшей заявила, что подделка ее невинности для господина банкира должна была совершиться при вашем техническом содействии?» — «Нет, знаю!» — «Но разве это возможно?!» — «Почему же нет? Для этого есть разные способы, между прочим, некоторые вяжущие средства». — «Я не в этом смысле говорю

о невозможности. Но разве мыслимо, чтобы врач, профессор, руководитель молодежи служил своими знаниями такому презренному предприятию. Ведь это безнравственно!» — «Э-э-эх, господин прокурор, зачем вы такие страшные слова употребляете: *нравственно, безнравственно*. Нравственность-то ведь есть понятие гуттаперчевое, растяжимое. Есть более реальные вещи: возможность, целесообразность, о них только и стоит говорить. Так то-с!» — и он с напускным добродушием протянул мне руку, а когда я ее не принял, то с насмешливым удивлением пожал плечами и неторопливой походкой пошел из кабинета. Дело было прекращено судебной палатой.

ПРОПАВШАЯ СЕРЬГА

Несколько лет назад я — по профессии врач — был приглашен одним из судебных следователей Петербурга для осмотра и вскрытия трупа мещанки Эммы Герзау, отравившейся медным купоросом. Обстановка и причины этого самоубийства заинтересовали меня, и я просил у следователя позволения познакомиться с подлинным делом, когда оно будет окончено. Я выписал из дела дословно некоторые протоколы и документы и не раз задумывался над печальным смыслом. Теперь, когда со времени этого происшествия прошло много лет, я полагаю, что не совершу особой нескромности, если напечатаю эти протоколы и документы в том порядке, в каком они следовали друг за другом в подлинном виде, вероятно, тлеющем теперь в архивной пыли. Я только изменил собственные имена и фамилии и кое-где сделал грамматические поправки.

Телеграмма. 20 октября 188... года. 5 часов пополудни. — Судебному следователю N участка. «На углу N проспекта и N улицы, дом Иванова, отравилась ревельская мещанка Эмма Герзау. Жизнь в опасности». Помощник пристава N.

Телеграмма. 21 октября 188... года. 10 часов пополудни. — Судебному следователю N участка. «Эмма Герзау скончалась. Отравилась медным купоросом. Предсмертное показание мною снято, и следы преступления предохранены». Помощник пристава N.

Протокол допроса. 20-го октября. 7 часов вечера. — «Зовут меня Эмма, по отчеству Иванова, Герзау, 36 лет, незамужняя мещанка, под судом и следствием не была, грамотная, имею рожденных вне брака детей: Екатерину — 15 лет, Петра — 14 лет, Николая — 12 и Варвару — 7. Отравилась сама купоросом потому, что не в силах больше жить. К самоубийству побудило меня безвыходное положение, главное — случай пропажи серьги у квартирантки моей Сидоровой, в краже которой обвиняется моя дочь Екатерина. Я убеждена, что не она украла ее. Записка, оставленная на столе, написана мною собственноручно, ночью на сегодняшнее число». — По прочтении этого показания Эмма Герзау, подтвердив оное, от подписания его отказалась, отзываясь, что не может, и присовокупила: «Не мучьте, ради Христа». Помощник пристава, околоточный надзиратель, двое понятых.

Предсмертная записка Герзау. — «Нет сил больше бороться. Жизнь надоела. Причин тому много. Главным образом побуждает меня лишиться себя жизни история этих дней. Я верю, что не Катя серьгу украла, но одному Богу известно, кто мог это сделать. Тяжело, очень тяжело расстаться с детьми! Что-то будет с ними — сохрани их, Господи! Письма отца их оставляю на столе. Эти дни я лишилась своей последней нравственной опоры. Я не была достойна того, что со мной сделали. У меня ничего не осталось для детей. Сил моих недостает. Благодарю добрую Амалию Карловну за ее искреннее чувство ко мне. Она добрая душа, и я очень виновата перед нею, ставя ее в такое положение. Госпожа Сидорова в своем праве, но все-таки поступила со мной жестоко. Много оставляю долгов. При иных обстоятельствах поправила бы их, но теперь нет больше сил жить...»

Из письма господина NNN. — «Кавказ. 187... Милая

Эммочка! Получил твои оба письма разом. Поздравляю с дочкой. Очень жаль, что тебе так много пришлось страдать. Много сокрушаюсь об этом и представь себе — не могу и утешить особенно. По приезде сюда захворал общим расстройством организма. Теперь поправился, но работы на постройке много. Поцелуй детей. Буду писать, а теперь некогда... Твой...» и т. д.

Через полгода, оттуда же. — «Вчера получил твое грустное письмо. Не могу я не понимать твоих страданий и вместе с тобою бедных деток. Сердце разрывалось при воспоминании о вас. Посылаю все, что могу — 50 р[ублей] с[еребром]. Дела свои запутанные все еще не могу устроить. Надо вооружиться терпением и энергией. Я хорошо понимаю твое тяжелое положение, но бессилён ещё настолько, что не могу даже совета подать: действуй по своему усмотрению и благоразумию...»

Через год затем — оттуда же. — «...Как ты поживаешь и как живут детки? Посылаю 25 р. Жизнь веду отшельническую, замаливаю прежние грехи. Был я в Москве и так летал, что не успел заехать в Питер и написать тебе об этом. Время ужасно быстро скачет. До свидания — скоро увидимся. Некогда писать. Твой...» и т. д.

Через полтора года затем — оттуда же. — «Милая Эммочка, два твоих письма получил вчера. Не стану описывать впечатления, произведенного ими. Они раскрыли мне картину вашей жизни несколько живее, чем это было постоянно в моей душе. Бедные мученики — да хранит вас провидение! Как ни тяжела трудовая жизнь и лишения, но нравственные страдания ещё хуже — тяжелым гнетом лежат они на душе и не дают ей покоя. Но довольно об этом — все это мы оба знаем. Новый год даст вам лучшее положение, мои милые труженики. Если есть возможность — потерпи немного, месяца через полтора обстановка будет яснее. Посылаю, что могу — 25 р.»

Через два с половиною года затем. Юг России. — «Добрый, милый друг. Я много виноват перед тобою и вообще против всех обязанностей человека. Если бы это

продолжалось небольшое время, то было бы прости-тельно, но на самом деле выходит, что я вовсе не такой порядочный человек, как думала ты и как думал я сам. До людей, впрочем, тут вообще нет дела. Они никогда не поймут, как надо. Все они, по большей части, глупы или злы, как собаки. Не следует быть простаком и су-дить по себе о них. В этом состоит большая ошибка, из-за которой много приходится страдать... Получив твою вторую телеграмму, с удовольствием отвечаю на нее, тем более что могу действительно выслать с этим письмом 25 р., другие же постараюсь выслать на днях и вообще буду присылать непременно каждый месяц. Пора за ум взяться. Может быть, я еще успею сколько-нибудь загладить мои грехи перед вами... Много у меня долгов — вот я и верчусь, как муха на свечке: и греться надо, и крылья не сжечь... Так-то, милая Эмма, будем по-старому дружбу водить и перенисываться не реже как раз в месяц, если это будет удобно. А чувства мои открыты для вас всех. Милый Колюшка! Я рад за твои успехи, — ты уже порядочно пишешь, и я непременно буду высылать тебе деньги на школу. После первого числа получишь. Целую тебя, а ты поцелуй маму за меня. Твой папа».

Протокол осмотра. 21 октября. — «...Тело Эммы Герзау лежит на кровати в вытянутом положении. Одето в белой холщовой рубаше и полубатистовой кофте и покрыто простынею. Посреди комнаты письменный стол, на нем распечатанные лекарства, записка Герзау и пачка с письмами г-на NNN. В соседней комнате много следов рвоты с зеленого цвета осадком купороса. По наружному осмотру тела оказалось: покойной, по-видимому, 35 лет, телосложения слабого, сильно изну-ренная. Волосы на голове распущены, темно-русые, а глаза и рот закрыты, лицо бледно-исхудалое, грудь впалая с выдающимися ребрами, знаков наружного наси-лия на теле нет». Помощник пристава. Врач. Двое по-нятых.

Акт дознания полиции. — «...Около двух лет назад покойная ездила на юг России для свидания с г. NNN

и затем, возвратясь в Петербург, не имела с ним больше переписки. Она терпела большую нужду. Добывала скудное насущное содержание белошвейною работою. В последние годы содержала также меблированные комнаты. В прошлом году покойная страдала женскою болезнью, от которой пользовалась в Максимилиановской лечебнице, по скорбному листу № 000. Пользовавшийся ее врач запретил работу на машине, вследствие чего нужда усилилась. 16 октября квартировавшая у покойной дочь чиновника Сидорова заявила полиции о пропаже у ней серьги, оцененной в 50 р., обвиняя в краже 15-летнюю дочь Эммы Герзау. Это последнее обстоятельство очень повлияло на моральное состояние покойной, и она, в стесненных своих обстоятельствах, решилась на самоубийство. Свидетелями по делу могут быть бывшие жильцы квартиры Герзау. Дело о похищении бриллиантовой серьги у Сидоровой передано мировому судье N участка». Помощник пристава.

Протокол допроса свидетеля. — «Зовут меня Петр Иванович Высоколоб, 25 лет, дворянин, студент Технологического института. Я жил у Эммы Герзау около десяти месяцев, платя за квартиру по 15 р. в месяц. Хозяйка все время находилась в крайне стесненных материальных обстоятельствах. К этому присоединилось еще огорчение, причиненное тем, что старший сын не выдержал вступительного экзамена в реальное училище, а она страстно желала дать ему порядочное образование и во всем себе для этого отказывала. Незадолго до ее смерти старшая дочь ее была заподозрена в похищении бриллиантов у жилицы Сидоровой. По заявлению Сидоровой явилась полиция, и был составлен протокол, причем обнаружилось, что Эмма Герзау не вдова, за каковую она себя выдавала, а незамужняя девушка. Оказалось также, что дети ее — все незаконнорожденные, о чем они тотчас и узнали. Это все привело Герзау в ужасное нравственное состояние, так что, уезжая вскоре затем к отцу в деревню, я говорил детям, чтобы они берегли свою мать, ввиду крайне расстроенного ее состояния...»

Протокол допроса свидетельницы. — «Зовут меня Александра Петровна Сидорова, 28 лет, дочь чиновника. Около двух лет жила я у Герзау, нанимая отдельную комнату. Лично я ее почти совсем не знала, но мне было известно, что она находилась в крайне стесненной материальной обстановке, с четырьмя детьми на руках и без всяких средств. 16 октября у меня пропала бриллиантовая серьга. Заподозрив дочь Герзау, я заявила об этом полиции. За два дня до самоотравления Герзау я съехала у нее с квартиры. Разбирая чрез несколько дней на новой квартире свои вещи, я отыскала между ними и серьгу, которую считала пропавшею».

КНЯЗЬ А. И. УРУСОВ И Ф. Н. ПЛЕВАКО

В первые годы по введении судебной реформы в петербургском и московском судебных округах, блестяще опровергая унылые предсказания, что для нового дела у нас не найдется людей, выдвинулись на первый план четыре выдающихся судебных оратора. Это были Спасович и Арсеньев в Петербурге, Плевако и Урусов в Москве. Несмотря на отсутствие предварительной технической подготовки, они проявили на собственном примере всю даровитость славянской натуры и сразу стали в уровень с лучшими представителями западно-европейской адвокатуры. Трое из них уже сошли со сцены, а последний, К. К. Арсеньев, не выступает более в судебных заседаниях, отдавшись всецело общественной деятельности журналиста и публициста. *Федор Никифорович Плевако* замолк позднее других, но, желая помянуть его, невольно хочется попутно сопоставить с ним князя *Александра Ивановича Урусова*.

Они не походили друг на друга ни внешностью, ни душевным складом, ни характерными особенностями и свойствами своих способностей. Крупное лицо *Урусова* с иронической складкою губ и выражением несколько высокомерной уверенности в себе не приковывало к себе особого внимания. Это было одно из «славных

русских лиц», на котором, как и на всей фигуре Урусова, лежал отпечаток унаследованного барства и многолетней культуры. Большее впечатление производил его голос, приятный высокий баритон, которым звучала размеренная, спокойная речь его с тонкими модуляциями. В его движениях и жестах сквозило прежде всего изысканное воспитание европейски образованного человека. Даже ирония его, иногда жестокая и беспощадная, всегда облекалась в форму особенной вежливости. В самом разгаре судебных прений казалось, что он снисходит к своему противнику и с некоторой брезгливостью разворачивает и освещает по-своему скорбные или отталкивающие страницы дела.

Иным представлялся *Плевако*. Скуластое, угловатое лицо калмыцкого типа с широко расставленными глазами, с непослушными прядями длинных темных волос могло бы назваться безобразным, если бы его не освещала внутренняя красота, сквозившая то в общем одушевленном выражении, то в доброй, львиной улыбке, то в огне и блеске *говорящих* глаз. Его движения были неровны и подчас неловки; неладно сидел на нем адвокатский фрак, а пришепетывающий голос шел, казалось, вразрез с его призыванием оратора. Но в этом голосе звучали ноты такой силы и страсти, что он захватывал слушателя и покорял его себе. Противоположность барину Урусову, Плевако во всей своей повадке был демократ-разночинец, познавший родную жизнь во всех слоях русского общества, способный, не теряя своего достоинства, подняться до его верхов и опускаться до его «дна» — и тут и там все понимая и всем понятный, всегда отзывчивый и простой. Он не «удостаивал» дела своим «просвещенным вниманием», подобно Урусову, а вторгался в него, как на арену борьбы, расточая удары направо и налево, волнуясь, увлекаясь и вкладывая в него чаяния своей мятежной души. И если в Урусове чувствовался прежде всего талантливый адвокат, точно определивший и измеривший поле судебной битвы, то в Плевако, сквозь внешнее обличие

защитника, выступал трибун, для которого дело было лишь поводом и которому мешала ограда конкретного случая, стеснявшего взмах его крыльев со всей присущей им силой.

Различно было и проявление особенностей их ораторского труда. Основным свойством судебных речей Урусова была выдающаяся рассудочность. Отсюда чрезвычайная логичность всех его построений, тщательный анализ данного случая с тонкою проверкою удельного веса каждой улики или доказательства, но вместе с тем отсутствие общих начал и отвлеченных положений. В некоторых случаях он дополнял свою речь каким-нибудь афоризмом или цитатой, как выводом из разбора обстоятельств дела, но почти никогда он не отправлялся от каких-либо теоретических положений нравственной или социальной окраски. Его речь даже в области общих выводов можно было уподобить великолепному ballon captif¹, крепко привязанному к фактической почве дела. Но зато на этой почве он был искусный мастер блестящих характеристик действующих лиц и породившей их общественной среды. Достаточно вспомнить чудесную картину гнилой и преступной обстановки, в которой действовали в Петербурге разные темные «проводители дел» в официальных сферах, изображенную им по делу Гулак-Артемовской, или характеристику дружелюбно-взаимного неисполнения долга при ревизии частного акционерного общества в ущерб доверчивым акционерам, данную им в деле Общества взаимного поземельного кредита. Наряду с такими характеристиками блистал его живой и подчас ядовитый юмор, благодаря которому пред слушателями, как на экране волшебного фонаря, трагические и мрачные образы сменялись картинками, заставлявшими невольно улыбнуться над человеческою глупостью и непоследовательностью. Остроумные выходки Урусова иногда кололи очень больно, хотя он всегда знал в этом отношении чувство меры.

¹ Привязной воздушный шар (фр.).

Логика доказательств, их генетическая связь увлекали его и оживляли его речь. Он был поэтому иногда очень горяч в своих возражениях, хотя всегда умел соблюсти вкус и порядочность в приемах. Я помню, как в роли обвинителя, возражая защитнику, усиленно напиравшему на безвыходность денежного положения подсудимого, внушавшую ему мысль зарезать своего спутника, Урусов вдруг, в разгаре речи, остановился, оборвав свои соображения, замолк в каком-то колебании — и перешел к другой стороне дела. Во время перерыва заседания на мой вопрос о том, что значила эта внезапная пауза, не почувствовал ли он себя дурно, — он отвечал: «Нет! не то, но мне вдруг чрезвычайно захотелось сказать, что я совершенно согласен с защитником в том, что подсудимому деньги были *нужны до зарезу*, — и я не сразу справился с собою, чтобы не допустить себя до этой неуместной игры слов...»

Но если речь Урусова пленяла своей выработанной стройностью, то зато ярко художественных образов в ней было мало: он слишком тщательно анатомировал действующих лиц и самое событие, подавшее повод к процессу, и заботился о том, чтобы точно следовать начертанному им заранее фарватеру. Из этого вытекала некоторая схематичность, проглядывавшая почти во всех его речах и почти не оставлявшая места для ярких картин, остающихся в памяти еще долго после того, как красивая логическая постройка выводов и заключений уже позабыта.

И совсем другим дышала речь Плевако. В ней, как и в речах Спасовича, всегда над житейской обстановкой дела, с его уликами и доказательствами, возвышались, как маяк, общие начала, то освещая путь, то помогая его отыскивать. Стремление указать внутренний смысл того или иного явления или житейского положения заставляло Плевако брать краски из существующих поэтических образов или картин или рисовать их самому с тонким художественным чутьем и, одушевляясь ими, доходить до своеобразного лиризма, производившего не только сильное, но иногда неотразимое впечатление. В

его речах не было места юмору или иронии, но часто, в особенности где дело шло об общественном явлении, слышался с трудом сдерживаемый гнев или страстный призыв к негодованию. Вот одно из таких мест в речи по делу игуменьи Митрофании: «Путник, идущий мимо высоких стен Владычного монастыря, вверенного нравственному руководству этой женщины, набожно крестится на золотые кресты храмов и думает, что идет мимо дома Божьего, а в этом доме утренний звон подымает настоятельницу и ее слуг не на молитву, а на темные дела! Вместо храма — биржа, вместо молящегося люда — аферисты и скупщики поддельных документов, вместо молитвы — упражнение в составлении вексельных текстов, вместо подвигов добра — приготовление к лживым показаниям — вот что скрывалось за стенами. Выше, выше стройте стены вверенных вам общин, чтобы миру было не видно дел, которые вы творите под покровом рясы и обители!» Некоторые из его речей блистают не фейерверком остроумия, а трещат и пылают, как разгоревшийся костер. «Подсудимая скажет вам, — кончается та же речь: — да, я о многом не знала, что оно противозаконно. Я женщина. Верим, что многое, что написано в книгах закона, вам неведомо. Но ведь в этом же законе есть и такие правила, которые давным-давно приняты человечеством как основы нравственного и правового порядка. С вершины дымящегося Синая сказано человечеству: «Не укради...» Вы не могли не знать этого, а что вы творите? Вы обираете до нищеты прибегнувших к вашей помощи. С вершины Синая сказано: «Не лжесвидетельствуй», а вы посылаете вверивших вам свое спасение инокинь говорить неправду и губите их совесть и доброе имя. Оттуда же закрещено все призывать имя Господне, а вы, призывая Его благословение на ваши подлоги и обманы, дерзаете хотеть и обмануть правосудие и свалить с себя вину на неповинных. Нет, этого вам не удастся: наше правосудие молодо и сильно, и чутка судебская совесть!»

Из этих свойств двух выдающихся московских ора-

торов вытекало и отношение их к изучению дела. Урусов изучал дело во всех подробностях, систематически разлагая его обстоятельства на отдельные группы по их значению и важности. Он любил составлять для себя особые таблицы, на которых в концентрических кругах бывали изображены улики и доказательства. Тому, кто видел такие таблицы пред заседанием, было ясно, при слушании речи Урусова, как он переходит в своем анализе и опровержениях постепенно от периферии к центру обвинения, как он накладывает на свое полотно сначала фон, потом легкие контуры и затем постепенно усиливает краски. Наоборот, напрасно было бы искать такой систематичности в речах Плевако. В построении их никогда не чувствовалось предварительной подготовки и соразмерности частей. Видно было, что живой материал дела, развертывавшийся перед ним в судебном заседании, влиял на его впечатлительность и заставлял лепить речь дрожащими от волнения руками скульптора, которому хочется сразу передать свою мысль, пренебрегая отделкою частей, и по несколько раз возвращаться к тому, что ему кажется самым важным в его произведении. Не раз приходилось замечать, что и в ознакомление с делами он вносил ту же неравномерность и, отдавшись овладевшей им идее защиты, недостаточно внимательно изучал, а иногда и вовсе не изучал подробностей. Его речи по большей части носили на себе след неподдельного вдохновения. Оно овладевало им, вероятно, иногда совершенно неожиданно и для него самого. В эти минуты он был похож на тех русских сектантов мистических вероучений, которые во время своих радений вдруг приходят в экстаз и объясняют это тем, что на них «дух накитил». Так «накачивало» и на Плевако. Мне вспоминается защита им в Сенате бывшего председателя одного из крупных судов, обвиняемого в преступном попустительстве растраты его непосредственным подчиненным денег, отпущенных на ремонт здания. Несчастный подсудимый, попавший с блестящего судебного пути на скамью подсудимых, убитый и опозоренный, постаревший за два года

на двадцать лет, сидел перед сенаторами и сословными представителями, низко опустив свое исхудалое, пожелтевшее лицо. Во время перекрестного допроса обнаружилось, что защитник почти совсем не изучил дела, а, ограничившись одним обвинительным актом, путал свидетелей и сбивался сам. Но вот начались судебные прения. Обвинитель — товарищ обер-прокурора — сказал сильную, обстоятельную речь и закончил ее приглашением судей вспомнить, как высоко стоял подсудимый на ступенях общественной лестницы и как низко он пал, и, применяя к нему заслуженную кару, не забыть, что «кому много дано, с того много и спросится». Фактическая сторона речи Плевако была, как и следовало ожидать по перекрестному допросу, довольно слаба, но зато картина родной, благодушной распушенности, благодаря которой легкомысленная доверчивость так часто переходит в преступное пособничество, была превосходна. Заклячая свою защиту, Плевако «нашел себя» и, вспомнив слова обвинителя, сказал голосом, идущим из души и в душу: «Вам говорят, что он высоко стоял и низко упал, и во имя этого требуют строгой кары, потому что с него должно «спроситься». Но, господа, вот он пред вами, он, стоявший так высоко! Посмотрите на него, подумайте о его разбившейся жизни — разве с него уже не достаточно спрошено. Припомните, что ему пришлось перестрадать в неизбежном ожидании этой скамьи и во время пребывания на ней. Высоко стоял... низко упал... ведь это только начало и конец, а *что* было пережито *между* ними! Господа, будьте милосердны и справедливы и, вспоминая о высоте положения и о том, как низко он упал, подумайте о *дуге падения!*» В известном стихотворении Пушкина говорится о поэте: «Но лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется — душа поэта встрепенется, как пробудившийся орел». Но «божественный глагол» говорит сердцу чуткого человека не одними словами красоты и любви: он будит в нем и чувство прощения и милости. Такой голос, очевидно, прозвучал для Плевако и заставил его проснуться и встрепенуться.

Надо было слышать его в эти минуты, видеть его жест, описавший дугу, чтобы, по выражению его преобразившегося от внутреннего восторга лица, понять, что на него «накатило»...

Различно было и отношение каждого из них к великим благам судебной реформы. Для Урусова — западноевропейца в душе — Судебные уставы были сколком и проявлением одной из сторон дорогой его мечтам и еще не испытанной нами западной политической жизни, а суд присяжных являлся учреждением, пред которым, за неимением лучшего, можно было проявить свой ораторский талант и блеск своего общего образования. Для Плевако — Судебные уставы были священными вратами, чрез которые в общественную жизнь входила пробужденная русская мысль и народное правосознание. Для него суд присяжных являлся не только чем-то, напоминавшим старину, но и исходом для народного духа, призванного проявить себя в вопросах совести и в защите народного мировоззрения на коренные начала общественного уклада. Поэтому он гораздо больше, чем Урусов, изучал Судебные уставы, вникая в нравственное и историческое содержание их отдельных частей и рассыпая в своих судебных речах и кассационных аргументах глубокие по мысли, прекрасные по форме определения значения и внутреннего смысла наших процессуальных институтов. Его взгляды и теории не всегда можно было разделить: проза буквы закона иногда лишала возможности согласиться с увлекательностью его положений и с его восторженными надстройками над Судебными уставами. Не думаю, однако, чтобы ему можно было когда-либо сделать упрек, обращенный мною однажды в шутливой форме к Урусову и который он впоследствии добродушно вспоминал в своих письмах ко мне. «Поменьше бы таблиц, побольше бы уставов», — сказал я ему, председательствуя в одном большом деле и рассматривая в перерыве заседания его излюбленные таблицы концентрических кругов. Теоретически ставя суд присяжных очень высоко, Урусов не верил ни в их непогрешимость, ни в свойственный им

здравый смысл... Он допускал это лишь постольку, поскольку был согласен с приговором; в противном случае в речах и кассационных жалобах своих он не особенно скупился на ироническую критику не всегда удачных по форме ответов присяжных на поставленные им вопросы. Да и в речах его довольно часто и не без пользы для дела звучало поучение присяжных, конечно, более талантливое, чем то, которое давалось обыкновенно в бесцветных «руководящих напутствиях» председателей. В его речах к присяжным всегда сквозило широкое образование человека, знакомого в главных чертах с правовыми вопросами, который популяризировал свой взгляд на дело в целях влияния на собравшихся перед ним случайных людей, к низшей степени разнообразного развития которых он искусно приноровлял изложение хода своего мышления.

Иным было отношение к присяжным Плевако — отношение, если можно так выразиться, проникновенное и подчас умиленное. Для него они были указанные судьбою носители народной мудрости и правды. Он был далек от поучения их и руководства ими. Не отделяя себя от них, он входил своим могучим словом в их среду и сливался с ними в одном, им возбужденном, чувстве, а иногда и в вековом мирозерцании.

Не похоже было у них и начало их судебной карьеры. Плевако сразу пошел на адвокатскую деятельность и приобретал известность понемногу. Урусов вначале искал службы, готов был стать судебным следователем, и лишь счастливая судьба, в лице прокурора судебной палаты, убоявшегося его молодости и неопытности, не дала заглухнуть его силам в провинциальной глуши и толкнула его в адвокатуру. Но зато здесь его с первых же шагов ждал огромный, неслыханный дотоле, успех. Войдя в залу судебного заседания Московского окружного суда по делу Мавры Волоховой, обвиняемой в убийстве мужа, как скромный кандидат на судебные должности, назначенный защищать, он вышел из нее сопровождаемый слезами и восторгом слушателей и сразу повитый славой, которая затем, в течение многих

лет, ему ни разу не изменила. Я был в заседании по этому делу и видел, как лямка кандидатской службы, которую был обречен тянуть Урусов, сразу преобразилась в победный лавровый венок. Несмотря на сильное обвинение, на искусно сопоставленные улики и на трудность иного объяснения убийства, чем то, которое давалось в обвинительном акте, Урусов восторжествовал на всех пунктах. Нет сомнения, что ему приходилось во время его долгой адвокатской карьеры говорить речи, не менее удачные и, быть может, гораздо более обработанные. Но, конечно, никогда не производил он своим чарующим голосом, изящной простотой речи, искренностью тона и силою критического анализа улик более сильного впечатления. Им овладевало вдохновение судебной борьбы, развитое и обостренное глубоким убеждением в правоте дела. Это слышалось, это чувствовалось. Умное, но некрасивое лицо его, с широким носом, засветилось внутреннею красотою, а сознание своей силы и влияния на слушателей окрылило Урусова, и речь его летела, ширясь, развиваясь и блистая яркими вспышками находчивости и остроумия. Когда он кончил и суд объявил перерыв, публика довольно долго сидела тихо и молчаливо, как будто зачарованная. Прокурор не возражал, председательское слово было кратко, и присяжные недолго совещались, чтобы произнести оправдательный приговор. Когда подсудимая была объявлена свободной, публика дала волю своему восторгу. Волохову окружили, давали ей деньги, поздравляли. На Урусова сыпались ласковые слова, приветы, к нему протягивались руки, искавшие его рукопожатия, и я сам видел простых людей, целовавших его руку. Вчерашний скромный аспирант на должность следователя где-нибудь в медвежьем уголке с ее разъездами, ночевками в волостных правлениях или у станового, с ее невидимой кропотливой работой и однообразием, со вскрытиями и осмотрами, не глядя ни на какую погоду, — сразу занял выдающееся — и надолго первое в Москве — место в передовых рядах русской адвокатуры, которая праздновала тогда свой медовый месяц. Речь

Урусова по делу Волоховой уподобилась звукам индийского гонга, которые растут и усиливаются по мере того, как расширяется объем их волнообразного движения. Впечатление от нее, вызываемые ею мысли о невинности подсудимой и страстное желание ее оправдания нарастали все более и более во время судебной процедуры, следовавшей за речью, и накапливались, как электрический заряд в огромной лейденской банке. Слова: «Нет, не виновата!» — разрядили эту банку в одном общем взрыве восторга и умиления. На другой день весь город говорил об успехе Урусова, дела, одно другого интереснее, посыпались как из рога изобилия — и он стал часто выезжать в провинцию для уголовных защит. Из московских его дел в первые месяцы его деятельности многим осталось памятным дело о сопротивлении и противодействии властям, по которому обвинялся кондитер Морозкин, не хотевший допустить полицейских чиновников к осмотру торгового помещения, который он считал несогласным с законом. Дело, в сущности, сводилось к оскорблению на словах, но ему почему-то была придана суровая окраска и значение «признака времени», будто бы состоявшего в колебании авторитета власти. Урусов необыкновенно искусно воспользовался присущим ему юмором, — под мягким по форме прикосновением которого иногда чувствовалось острое жало, — чтобы обратить в шутку грозные очертания обвинения против Морозкина. Сказав в своем приступе к своей речи: «Господа присяжные! Такого-то числа в Москве случилось необыкновенное происшествие: кондитер Морозкин арестовал почти всю московскую полицию!» и т. д., он продолжал все в том же строго выдержанном тоне, и «l'accusation croula malgré l'appoint du president»¹, как было сказано в французских судебных отчетах. «L'appoint du president» встречался в это время, впрочем, очень редко. В большинстве случаев судьи относились с особым вниманием к речам Урусова и при-

¹ Обвинение рухнуло, несмотря на поддержку председателя суда (фр.).

знавали, что талант имеет право иногда расправить свои крылья за пределы условных и формальных рамок.

Люди разного склада, Урусов и Плевако встретились через несколько лет в Рязани на громком процессе, где перед присяжными предстали принадлежавшие к высшему местному обществу полковник и его возлюбленная, употребившие средство, чтобы погасить молодую жизнь, ими данную и обличавшую их близость. Это был бой гигантов слова: защита одной противоречила защите другого, так как обвиняемые складывали не только тяжесть своего поступка, но и побуждения к нему друг на друга. Трудно отдать преимущество в этом состязании кому-либо из двух бойцов. Все, что могли дать красота, блеск и архитектурная гармония изложения и даже мало свойственный Урусову пафос для того, чтобы «склонить непокорную выю обвиняемого под железное ярмо уголовного закона», — все это было дано Урусовым. Все, что можно было взять из книги жизненной правды, из глубокой вдумчивости в сложную игру любви и ненависти, страха и мщения для того, чтобы повернуть с удивительным искусством и заразительной искренностью возмущенное чувство в другую сторону, было взято Плевако. Знакомство с этим процессом следовало бы рекомендовать всем начинающим судебным ораторам: из речей обоих противников они могут увидеть, как в стремлении к тому, что кажется правдой, глубочайшая мысль должна сливаться с простейшим словом, как на суде надо говорить *все*, что нужно, и только то, *что* нужно, и научиться, что лучше *ничего* не сказать, чем сказать *ничего*.

Две точки зрения существуют на уголовную защиту. Она есть *общественное служение*, говорят одни. Уголовный защитник должен быть, по словам Квинтилиана, «муж добрый, опытный в слове», вооруженный знанием и глубокой честностью, бескорыстный и независимый в убеждениях, стойкий и солидарный с товарищами; он правозаступник, но не слуга своего клиента и не пособник ему в стремлении уйти от заслуженной кары правосудия; он друг, он советчик человека, который, по его

мнению, не виновен *вовсе* или *вовсе* не так и не в том виновен, *как* и в *чем* его обвиняют. Не будучи слугою клиента, он, однако, в своем общественном служении — слуга государства, и эта роль почтенна, так как нет такого преступника и падшего человека, в котором безвозвратно был бы затемнен человеческий образ и по отношению к которому было бы совершенно бесполезно выслушать слово снисхождения. Уголовный защитник, говорят другие, есть производительность труда, представляющего известную ценность, оплачиваемого в зависимости от тяжести работы и способности работника. Как для врача в его практической деятельности не может быть дурных и хороших людей, заслуженных и незаслуженных болезней, а есть больные, страдания которых надо облегчить, так и для защитника нет чистых и грязных, правых и неправых дел, а есть лишь даваемый обвинением повод противопоставить доводам прокурора всю силу и тонкость своей диалектики, служа ближайшим интересам клиента и не заглядывая на далекий горизонт общественного блага.

Каждая из этих точек зрения имеет свои достоинства и спорные стороны, и преобладание в деятельности защитника той или другой оправдывается не только темпераментом и личными вкусами, но в значительной степени задачами судебного состязания. Элемент общественного служения преобладал в деятельности Плевако. Он отдавал нередко оружие своего сильного слова на защиту «униженных и оскорбленных», на предстательство за бедных, слабых и темных людей, нарушивших закон по заблуждению или потому, что с ними поступили хотя и легально, но «не по Божью». Достаточно вспомнить дело о расхищении капитала киевских старообрядцев или знаменитое дело люторических крестьян, выступления по которому Плевако было, по условиям и настроениям того времени, своего рода гражданским подвигом. Он являлся и в роли обвинителя, когда за спиною отдельных личностей виднелся такой порядок вещей, которому в интересах общественного добра надо было наносить, выражаясь словами Петра

Великого, «немилостивые побои». Таковы две его речи по делу игуменьи Митрофании, и в особенности вторая, напоминающая широкую и быструю реку, уносящую возражения противника, как брошенные в нее ветви. Урусов был скорее врач у постели больного, тот врач, который иногда, приложив все свое искусство к лечению и достигнув блестящего исцеления, едва ли особенно желает продолжения отношений личного знакомства с вырванным им из когтей болезни. Но ни один из них не подавал повода к справедливой тревоге, которая возникает в тех, к счастью, довольно редких случаях, когда *защита преступника* обращается в *оправдание преступления*, причем потерпевшего и виновного, искусно извращая перспективу дела, заставляют помечаться ролями. Оба оратора так же совершенно свободны были в своей деятельности от упрека в том, что они приносят действительно интересы обвиняемого в жертву эгоистическому желанию возбудить шумное внимание к своему имени и человека, а иногда и самый суд присяжных обращают в средство для своих личных рекламных целей. Не они искали громких и сенсационных дел: их искали эти дела...

Свойства дарования и приемы работы Урусова были слишком индивидуальны, чтобы создать ему учеников. Могли быть только подражатели, да и то, если бы судьба их одарила и физически так же, как их образец. Но подражать Плевако было, по моему мнению, невозможно, как нельзя подражать вдохновению. Такое подражание всегда звучало бы фальшиво и резало бы ухо, не достигая сердца. Но учеников он создал в смысле умения подниматься от частного к общему и идти не только по прямой линии логических размышлений, но и к окружности по всем радиусам бытового и общественного явления во всей его цельности.

Так шли они — Урусов и Плевако, — разделяемые взглядами и симпатиями, сходясь и расходясь, в течение долгих лет с достоинством неся службу слову, которая привлекла их к себе на яркой заре Судебных уставов и которой они остались верны, когда для этих уставов

наступили сумерки, предвещавшие недалекую тьму. Урусов не дожид до начала перерождения законодательного строя России и был лишен возможности воскликнуть вместе с Пушкиным, которого он — тонкий критик — сознательно любил и изучал: «Да здравствует разум, да скроется тьма!» Да и вообще, несмотря на блестящий успех первых шагов его деятельности, судьба не была милостива к Урусову, и он много выстрадал в жизни. Вынужденное бездействие, вследствие административной ссылки в Венден в самом разгаре блестящей деятельности, не могло не отразиться на его душевных силах. Медленное завоевание прежнего положения, причем он должен был пройти искуc пребывания в прокурорском надзоре и сопряженную с этим иерархическую подчиненность, стоило ему много. Когда он снова сделался адвокатом, у него уже не было бодрых молодых сил и подкупающей молодой отваги. Житейский опыт принес много разочарований и ничего не дал для дальнейшего развития таланта. Наставшая затем жизнь в Москве в среде друзей и любимых занятий литературой, искусством, коллекционерством, устройством своего home¹ могла бы дать позабыть грустные года насильственного молчания и искания исхода в мелкой журнальной работе. Но медленно, беспощадно и неотвратимо подкрался недуг и подточил его силы. Отняв устойчивость в ногах и слух, он сжал его в объятиях жестоких мучений, заставлявших этого человека, так любившего жизнь, жадно ждать смерти как «небытия». Нет сомнения, что, доживи он до наших представительных учреждений, он занял бы в них видное место в ряду прогрессивных деятелей. В его речах блистали бы уместные и умные цитаты, хорошо продуманные исторические примеры, тонкие и остроумные сравнения, стрелы его иронии больно задевали бы тех, на кого они направлялись, и веселили бы единомышленников, а по национальным и религиозным вопросам он, конечно, подымался бы на высоту общечеловеческих начал и гуман-

¹ Домашний очаг (англ.).

ности. В его словах звучали бы подчас протест и сарказм Вольтера. Но едва ли ему довелось бы проявить большое влияние: политическое красноречие совсем не то, что красноречие судебное. В основании последнего лежит необходимость доказывать и убеждать, то есть, иными словами, необходимость склонять слушателей присоединиться к своему мнению. Но политический оратор немногого достигнет, убеждая и доказывая. У него та же задача, хотя и в других формах, как и у служителя искусства: он должен, по выражению Жорж Занд, «montrer et émouvoir»¹, то есть освещать известное явление всею силою своего слова и, умея уловить создающееся у большинства отношение к этому явлению, придать ему действующее на чувство выражение. Ему следует связать воедино чувства, возбуждаемые ярким образом, и дать им воплощение в легком по усвоению, полновесном по содержанию слове.

Для этой роли был создан Плевако. Уже больной и слабый, он успел произвести впечатление своею речью и уловить единодушное настроение нижней палаты своим предложением «выйти из рубашки ребенка и облечься в тогу мужа». Политическая речь должна представлять не мозаику, не поражающую тщательным изображением картину, не изящную акварель, а резкие общие контуры и рембрандтовскую «светотень». Легкий, но неотлучный скептицизм мешал бы в этом Урусову, и, наоборот, мне думается, что когда нужно было бы передать слушателям свою горячую веру и зажечь пламя в их душах, — одним словом, когда нужно было бы явиться не вождем единомышленных взглядов, но вождем сердец, Плевако был бы трудно заменим. Судьба замкнула его уста при первом шаге в обетованную землю, открывшуюся перед ним. Но уже и в том, что она открылась его взору, для человека его поколения было счастье. Русский человек до мозга костей, неуравновешенный и размашистый по натуре, мало читавший, но много думавший, глубоко религиозный, знаток и

¹ «Показывать и волновать» (фр.).

любитель Писания, он был типическим выразителем своей родины и москвичом «с ног до головы». И в то время, когда в мечтах об отдыхе у европейца Урусова, толкователя и поклонника Флобера, мастерски говорившего по-французски и с успехом выступавшего пред Парижским судом в шапке и тоге адвоката, вероятно, носились весело озаренные солнцем Елисейские поля Парижа, оживленные движением пестрой, изящной толпы, мысли Плевако неслись на Воробьевы горы, витали вокруг старых стен и башен Девичьего монастыря и упивались воспоминанием о вечернем звоне «сорока сороков».

Их обоих уже нет. Они ушли, оставив по себе яркую и живую память истории русской адвокатуры и в тех, кто мог лично в них взглядеться и к ним прислушаться. Мы живем в серое время; серые, лишенные оригинальности люди действуют вокруг нас и своею массой затирают немногих выдающихся людей. Но эта полоса должна пройти! Урусов и Плевако были для своих современников людьми, показавшими, какие способности и силы может заключать в себе природа русского человека, когда для них открыт подходящий путь. Провидение ведет нашу родину дорогою тяжелых испытаний, но пути к проявлению сил и способностей понемногу все-таки расширяются. Поэтому должны, не могут не явиться новые их носители! Они *были*, и хочется думать, что тургеневский Увар Иванович, поиграв перстами и задумчиво поглядев вдаль, скажет еще раз: «*Будут!*»

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ¹

В ясное теплое утро 6 июня 1887 года я сел на станции Ясенки, Московско-Курской железной дороги, в присланную за мною рессорную тележку и направился в Ясную Поляну. Я ехал туда по любезному и настойчивому приглашению Александра Михайловича Куз-

¹ Печатается в сокращении.

минского, который, будучи женат на сестре графини Толстой, Татьяне Андреевне Берс (авторше нескольких прекрасных рассказов из народного быта), жил в те годы каждое лето в Ясной Поляне. Он был моим преемником по званию председателя Петербургского окружного суда, и у него в доме я слышал удивительное чтение А. А. Стаховичем «Власти тьмы» — чтение, всецело захватившее присутствовавших и взволновавшее собравшееся светское общество изображением глубокой драмы в среде, где предполагалось, на взгляд поверхностного наблюдателя, все простым и грубо-обыденным. Там же пришлось уже мне самому читать по рукописи «Крейцерову сонату» — и иногда останавливаться от внутреннего волнения, сообщавшегося и слушателям этого удивительного произведения, с которым следовало настоятельно знакомить всех молодых людей, вступающих в жизнь.

Есть произведения, оказывающие властное влияние на все мирозерцание, когда они своевременно воспринимаются молодою душой. Если верно замечание, что в смысле характера «дитя есть отец взрослого», то в смысле политических и общественных идеалов очень часто юноша — отец будущего деятеля. Недаром великий немецкий поэт напоминает юноше о необходимости, став взрослым мужем, относиться с уважением к «снам своей молодости», а Гоголь восклицает: «Забирайте с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое ожесточающее мужество, забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге: не подымете потом!»

Такою книгою в годы моей ранней молодости было превосходное произведение Лабулэ «Париж в Америке», содержащее в себе, в увлекательном изложении и отчасти в фантастической форме, целый катехизис политической, общественной и даже, во многих отношениях, частной жизни. Таким может и должен являться рассказ Позднышева, способный установить чистый и облагородить уже установившийся взгляд на отношение к женщине и в то же время заставить молодого человека

очень и очень призадуматься пред браком, заключаемым у нас столь часто с легкомысленною поспешностью при полном, под влиянием плохо прикрытой чувственности, забвении о налагаемых им нравственных обязанностях по отношению к создаваемой «на скорую руку» семье.

Чувство смущения и некоторой досады на себя владело мною, покуда я ехал среди милых картин среднерусской природы. Я знал, что увижу Льва Толстого, — и не мельком только, как было в 1863 году в Москве, в гимнастическом заведении [Бильо] на Большой Дмитровке, — проживу под одной с ним кровлей два или три дня и узнаю его ближе; и эта-то именно неизбежность короткого знакомства и вызывала во мне некоторое недовольство на свою поспешную готовность откликнуться на приглашение в Ясную Поляну. Я по опыту знал, что знаменитых или вообще пользующихся известностью людей лучше знать издали и рисовать себе их такими, какими они кажутся по всем деяниям и писаниям. В этом отношении мне не раз приходилось убеждаться, что и «тьмы низких истин мне дороже нас возвышающий обман». Конечно, каждый раз в таком случае приходилось легко находить широкие «смягчающие обстоятельства», но я предпочел бы не видеть таких сторон в жизни и личных свойствах некоторых из этих людей, которые шли вразрез с составившимся о них отвлеченным, восторженным или умиленным представлением. Вот и теперь, думалось мне, я увижу человека, пред глубиной таланта, пред искренностью и глубокой наблюдательностью которого я издавна привык преклоняться, и, быть может, и даже весьма вероятно, увезу с собою другой образ со столь часто встреченными мною в других отталкивающими чертами самолюбования, недоброжелательного отношения к товарищам по оружию и фантастической нетерпимости к чужим убеждениям. Особенно в последнем отношении тревожила меня встреча с Толстым. Его мне часто рисовали ярким спорщиком и человеком, не допускавшим несогласия со своими этическими или религиозными взглядами, а я

не люблю спорить, давно уже разделив убеждение, что мнения людей, создавшиеся самостоятельно, похожи на гвозди: чем сильнее по ним бить, тем глубже они входят. Соглашаться же безусловно и быть лишь почтительным слушателем мне не хотелось.

Проехав сквозь обветшалую каменную ограду въезда в Ясную Поляну, я остановился у флигеля, в котором жил А. М. Кузминский. Было еще очень рано. Лишь через час пришел мой гостеприимный хозяин и увел меня на длинную прогулку, а затем, уже в десятом часу, все обитатели Ясной сошлись за чайным столом на воздухе под развесистыми липами, и тут я познакомился со всеми членами многочисленных семейств Толстого и Кузминского. Во время разговора кто-то сказал: «А вот и Лев Николаевич!» Я быстро обернулся. В двух шагах стоял одетый в серую холщовую блузу, подпоясанную широким ремнем, заложив одну руку за пояс и держа в другой жестяной чайник, Гомер русской «Илиады», творец «Войны и мира». Две вещи бросились мне прежде всего в глаза: пронизательный и как бы колющий взгляд строгих серых глаз, в которых светилось больше пытливой справедливости, чем ласкающей доброты, — и необыкновенная опрятность и чистота его скромного и даже бедного наряда, начиная с какой-то светло-коричневой «шапоники» и кончая самодельными башмаками, облекавшими белые носки. Толстой чрезвычайно просто приветствовал меня и, наливая себе в чайник кипяток из самовара, тотчас же заговорил об одном из дел, по которому я в конце семидесятых годов председательствовал и которое вызвало в свое время много горячих споров и ожесточенных толков. Его манера держать себя, лишенная всякой аффектации, и содержательность всего, что он говорил, в связи с искренностью тона, как-то сразу сняли между нами все условные и невольные преграды, почти всегда сопровождающие первое знакомство. Мне почувствовалось, как будто мы давно уже знакомы и лишь встретились после продолжительной разлуки. После чая мы пошли гулять втроем, но Толстого постоянно останавливали различные лица из домашних и из окрестных

жителей, так что в первый день я мог более ознакомиться с его обстановкой, чем с ним самим.

Жизнь в Ясной Поляне в это время отличалась большой регулярностью и, если можно так выразиться, разумным однообразием. Все, и в том числе Лев Николаевич, вставали для деревни довольно поздно, около девяти часов утра. До одиннадцати продолжалось питье чая, иногда в несколько приемов, ввиду того что в Ясной Поляне одновременно жили дети, молодежь, взрослые и старики. В одиннадцать часов Лев Николаевич шел к себе, читал почту и газеты и принимал посетителей, которые наезжали в Ясную ежедневно. Одни приносили действительно измученное сердце, терзаемое каким-нибудь роковым вопросом, ответа на который они жадно ждали от Толстого; другие, преимущественно иностранцы, — бескорыстное, но подчас назойливое любопытство; третьи — тщеславное намерение иметь основание похвастаться разговором с «великим писателем земли русской»; четвертые являлись просто просителями денежной помощи, представлявшими из себя целую гамму отношений к хозяину Ясной, начиная от застенчивой скромности и кончая напускною развязностью, иногда граничившею с вымогательством; пятые — корыстную любознательность репортеров и интервьюеров, которая сквозила в «беспокойной ласковости» их взгляда, как будто перелавшего, в быстром соображении, каждую слышанную фразу или предмет обстановки в то или другое количество печатных строчек. Толстой сносил их всех без благодушной и услужливой чувствительности или безразличного сочувствия, но терпеливо и, где нужно, с серьезным участием, а жена его, Софья Андреевна, нередко простирала на приезжих свое хлебосольное гостеприимство. К часу все собирались завтракать, и вслед за тем Лев Николаевич уходил к себе, запирался и становился невидимым для всех до пяти часов, когда он выходил пройтись по деревне и по парку после усиленного труда за письменным столом. В шесть часов все обедали сытно и вкусно, причем хозяину подавали блюда растительной пищи. Полчаса после обеда проводили на террасе, выходящей

в сад, за питьем кофе и куреньем. Приезжали знакомые из Тулы, приходили деревенские дети, чтобы играть под руководством детей Льва Николаевича или бегать с криками нескрываемого восторга на гигантских шагах. Лев Николаевич слушал детский шум и хохот, обменивался короткими фразами с окружающими и... курил папиросу самодельной работы! Тогда он еще позволял себе эту «слабость». После семи часов все общество поднималось и под его предводительством совершало обширную, более чем двухчасовую прогулку. В это время, то отставая от всех, то их опережая, Лев Николаевич вел оживленную беседу с кем-либо из гостей или рассказывал что-либо той манерой, о которой я скажу ниже. Около половины десятого все возвращались к самовару, простокваше и легким закускам, и начиналась непринужденная общая беседа, иногда прерываемая желанием послушать пение молодежи, которая исполняла хором цыганские песни или знакомила нас с местными «частушками», вытесняяющими, к несчастью, старую русскую песню. Лев Николаевич весело улыбался, прислушиваясь к тому, как молодые голоса выводили: «Били-били в барабан по всем городам», «Конфета моя леденистая, полюбила меня — молодца раменистого», «Наше сердце не картошка — его не выбросишь в окошко», «Дайте ножик, дайте вилку — я зарезу свою милку», «Стоит миленький дружок — с выражением лица» и т. д. Около полуночи все расходились.

Все происходило в обширном флигеле, уцелевшем от сгоревшего когда-то большого дома. На всем виднелись следы бывшего прочного довольства и зажиточности. Но все — и обстановка, и стены, и двери, и лестницы — было сильно тронута временем и, очевидно, давно не знало эстетического ремонта. Мебель была старая, хотя и довольно удобная, но в небольшом количестве. Нигде не было никаких признаков роскоши и чего-либо похожего на разные *bibelots* и *petits-riens*¹, которыми полны наши гостиные, а развешанные без

¹ Бездельюшки (фр.).

всякой симметрии по стенам портреты предков довольно угрюмо выглядывали из старых и местами облезлых рам.

Когда в первый вечер, простившись, я просил показать мне дорогу во флигель, занимаемый Кузминским, Лев Николаевич сказал мне, что я помещен на жительство в его рабочей комнате внизу, и пошел меня туда проводить. Это была обширная комната под сводами, разделенная невысокой перегородкой на две неравные части. В первой, большей, с выходом на маленькую террасу и в сад, стояли шкафы с книгами и висел, сколько мне помнится, портрет Шопенгауэра. Тут же, у стены, в ящике лежали материалы и орудия сапожного мастерства. В меньшей части комнаты находился большой письменный стол, за которым были написаны в свое время «Анна Каренина» и «Война и мир». У полка с книгами в этой части комнаты для меня была поставлена кровать. Здесь в течение дня работал Лев Николаевич. Приведя меня в эту комнату, он над чем-то копшился в большей ее части, покуда я разделся и лег, а затем вошел ко мне проститься. Но тут между нами началась одна из тех типических русских бесед, которые с особенной любовью ведутся в передней при уходе или на краешке постели. Так поступил и Толстой. Сел на краешек, начал задушевный разговор — и обдал меня сиянием своей душевной силы.

С тех пор все дни моего пребывания в Ясной проводились и оканчивались описанным образом. Иногда, простившись со мною, Толстой уходил за перегородку и там что-нибудь разбирал, вновь начинал разговор, но, затронутый или заинтересованный каким-либо моим ответом, снова входил в мое отделение, и прерванная беседа возобновлялась. Один из таких случаев остался у меня в памяти. «А какого вы мнения о Некрасове?» — спросил он у меня из-за перегородки, что-то передвигая. Я отвечал, что ставлю высоко лирические произведения Некрасова и считаю, что он принес огромную пользу русскому молодому поколению, родившемуся и воспитанному в городах, тем, что, вместе с Тургеневым, научил его знать, ценить и любить русскую сельскую

природу и простого русского человека, воспев их в берущих за душу стихах; что же касается до его личных свойств, то я не верю яростным наветам на него и во всяком случае считаю, что то, что он был игрок, еще не дает права ставить на его личность крест и называть его дурным человеком. «Он был, — продолжал я, — одержим страстью к игре, обратившейся, если угодно, в порок, но *порочный* человек не всегда *дурной* человек. Нередко, вне узких рамок своей пагубной страсти, порочные люди являют такие стороны души, которые многое искупают. Наоборот, так называемые *хорошие люди* подчас, при внешней безупречности, проявляют грубый эгоизм и бессердечие. Жизненный опыт дает частые подтверждения этому. Игроки нередко бывают смелыми и великодушными людьми, чуждыми низменной скупости и черствой расчетливости; пьяницы часто отличаются, в трезвом состоянии, истинною добротой. Недаром Достоевский сказал, что в России добрые люди — почти всегда пьяные люди. Наконец, история нам оставила примеры «явных прелюбодеев», проникнутых глубоким человеколюбием и вне служения своим страстям явивших образцы гражданской доблести и глубины мысли». Выслушав это мнение, Толстой вышел из-за перегородки со светлым выражением лица и, сев на краешек, сказал мне радостно: «Ну вот, вот, и я это именно всегда думал и говорил, — это различие необходимо делать!» — и между нами снова началась длинная беседа на эту тему с приведением фактических ссылок и доказательств в подтверждение нашей общей мысли.

Меня, конечно, очень интересовало отношение Толстого к крестьянам, про которое ходило столько разнообразных и оригинальных слухов. Как нарочно, перед тем я совершил поездку по России и видел несколько типических отношений господ к мужику. Мне пришлось быть в имении в Малороссии и наблюдать шутиливо-иронические разговоры между теми и другими в их взаимных сношениях, за которыми, однако, не чувствовалось не только никакой теплоты и искренности, но, напротив, виднелось большое взаимное недоверие

и отчуждение, близкое к ненависти. Я провел неделю в поместье средней руки в середине России, где наблюдал фамилярно-заискивающее отношение помещика к зажиточным крестьянам-арендаторам и окружающим имение однодворцам, причем невольно бросилось в глаза вынужденное установление и соблюдение некоторого равенства не во имя какого-либо общего начала, а исключительно в целях выгод и удобства неотвратимого сожительства. Я прожил несколько дней в великолепном громадном поместье моего старого сослуживца, в черноземной полосе, и наблюдал то снисходительное и холодно-милостивое отношение к крестьянам, в котором виднелась полная обособленность двух миров — барского и мужицкого, — напоминавшая те отношения, которые, вероятно, существовали у медиатизированных немецких принцев к их бывшим подданным.

Ничего подобного я не нашел в Ясной Поляне. Отношения между семьей графа и соседями были просты и естественны. Обитатели яснополянского дома были старыми и добрыми знакомыми, готовыми во всякое время прийти на помощь в болезни, несчастии и недостатке, — лечить и советовать, похлопотать и понять чужую скорбь. Все это, однако, совершалось без заигрыванья и заискиванья и без холодного, брезгливого исполнения долга по отношению к «меньшему брату». Таким же характером отличалось и обращение крестьян со Львом Николаевичем. Преувеличенные рассказы о кладке печей, пахании и т. п., дававшие повод к дешевому иронизированию со стороны высокомерных составителей фельетонных очерков и статей, сводились, в сущности, к тому, что в лице Толстого крестьяне могли видеть не городского верхогляда и не деревенского лежебоку, а человека, которому знакомы по опыту тяжелый труд и условия их жизни. В их глазах Толстой был не только участливый, но и сведущий человек. Недаром мне рассказывали, как крестьяне в своих отзывах про него говорили: «Это мужик умственный, хотя и барин». В одну из наших прогулок Толстой, описывая свое путешествие с богомольцами к русским обителям,

кажется, в Киев или в Оптину пустынь, — причем спутники считали его за *своего* и поэтому не стеснялись его присутствием, — с тонким юмором рассказывал мне про презрительные отзывы о «господишках», которые ему приходилось слышать в пути и на постоянных дворах. Было несомненно, что яснополянские крестьяне ни в каком случае не считали его одним из этих «господишек», а в их глазах он был, по праву наследования и по личным своим свойствам, старший, самый знающий и заслуживающий наибольшего уважения человек, называвшийся барином лишь потому, что жил в своем доме среди обширного поместья, а не в избе и что к нему с почтением относилось начальство и всякого рода «господишки». Такой взгляд на него был очевиден и сказывался в ряде внешних проявлений, когда он, гуляя со мною, вступал в беседу с крестьянами или заходил в их дома. Всюду встречали его уважение и доверие и ни малейшего следа угодливой почительности и льстивой суетливости. Иногда в беседе крестьян с ним звучали и задушевные нотки.

Эти беседы припомнились мне с особенной яркостью несколько лет спустя в Москве, когда мне пришлось присутствовать при небольшом споре Толстого по поводу смысла брака как начала семейной жизни. Нахмутив брови, слушал он, как при нем один из присутствующих говорил о *рискованном* браке знакомой девушки, вышедшей замуж за человека «без положения и средств». «Да разве *это* нужно для семейного счастья?» — спросил Толстой. «Конечно, — отвечал стоявший на своем собеседник, — вы-то, Лев Николаевич, считаете это вздором, а жизнь показывает другое. С вашей стороны оно и понятно. Вы ведь и семейную жизнь готовы отрицать. Стоит припомнить вашу «Сонатку Крейцера». Толстой пожал плечами и, обращаясь ко мне, сказал: «Я понимаю семейное счастье иначе и часто вспоминаю мой разговор в Ясной Поляне, много лет назад, с крестьянином Гордеем Деевым: «Что ты невесел, Гордей, о чем закручинился?» — «Горе у меня большое, Лев Николаевич: жена моя померла». — «Что

ж, молодая она у тебя была?» — «Нет, какой молодая! На много лет старше: не по своей воле женился». — «Что ж, работница была хорошая?» — «Какое! Хворая была. Лет десять с печи не слезала. Ничего работать не могла». — «Ну так что ж? Тебе, пожалуй, теперь легче станет». — «Эх, батюшка Лев Николаевич, как можно легче! Прежде, бывало, приду в какое ни на есть время в избу с работы или так просто — она с печи на меня, бывало, посмотрит да и спрашивает: «Гордей, а Гордей! Да ты нынче ел ли?» А теперь уже этого никто не спросит...» Так вот какое чувство дает смысл и счастье семье, а не «положение», — заключил Толстой.

Несколько дней, проведенных мною в Ясной Поляне, прошли очень быстро, но до сих пор, через двадцать лет, составляют одно из самых светлых воспоминаний моей жизни. Конечно, все это время для меня было наполненно Толстым, общением с ним, разговорами и радостью сознания, что Бог привел мне не только узнать вблизи возвышенного мыслителя и великого писателя, но и ни на одну минуту не почувствовать, по отношению к нему, ни малейшего житейского диссонанса, не уловить в своей душе и тени какого-либо разочарования или недоумения. Все в нем было ясно, просто и вместе с тем величаво тем внутренним величием, которое называется не в отдельных словах или поступках, а во всей повадке человека. По мере знакомства с ним чувствовалось, что и про него можно сказать то же, что было сказано о Пушкине: «Это — великое явление русской жизни», отразившее в себе все лучшие стороны исторически сложившегося русского быта и русской духовной природы. Даже в отрицании им начал национальности и современного экономического строя сказалась ширина и смелость русской натуры и свойственная ей, по выражению Чичерина, безграничность в смысле отсутствия пределов, полагаемых опытом прошлого и осторожностью перед грядущим. Даже и пугавшая меня нетерпимость его к чужим мнениям, о которой так много писали, оказалась на деле лишь твердым высказыванием своего взгляда, обличенным, по большей части, даже

в случае серьезного разногласия, в весьма деликатную форму.

Несколько раз во время наших прогулок нам приходилось говорить «о непротивлении злу», которое его в то время сильно занимало. Со свойственной ему красивой простотой он развивал свою великодушную и нравственно заманчивую теорию и приводил известный евангельский текст. Я шутиливо напоминал ему ответ графа Фалькенштейна (Иосифа II) на вопрос герцогини Роган о том, как нравится ему надвигающаяся в конце восемнадцатого столетия во Франции революция: «*Madame, mon metier est d'être royaliste*»¹, — и говорил, что *mon metier d'être juge*² лишает меня возможности согласиться на непротивление тому, чему я противился и противлюсь двадцать пять лет моей жизни. В ответ на его ссылку на текст я приводил изгнание каторжников из храма и проклятие смоковницы, а также слова Христа: «Больше сия любви несть, аще кто душу свою положит за други своя», причем на церковно-славянском языке «положить душу» — значит пожертвовать жизнью, что невозможно без наличности борьбы, то есть противления. Толстой мягко возражал, что в связи с призывом «не противиться» подразумевается слово «насилием». Я приводил резкие примеры из жизни, где насилие неизбежно и необходимо и где отсутствие его угрожает последователю непротивления возможностью сделаться попустителем и даже пособником злого дела. Толстой не уступал и утверждал, что в переводном (в XVI веке) еврейском тексте не говорится о вервии, взятом Христом для изгнания торжников, а лишь о длинной тонкой ветви или хворостине, которая была необходима для удаления скота из храма, и что сказание о смоковнице, лишенное ясного смысла, попало в Евангелие по недоразумению, вследствие какой-либо ошибки переписчика. На мои доводы из жизни он сказал мне, что в одном из вопиющих случаев, мною приво-

1 «Мадам, мое ремесло быть роялистом» (фр.).

2 Мое ремесло быть судьей (фр.).

димых, быть может, и он прибег бы к насилию, по инстинктивному порыву на защиту своих ближних, но что это было бы слабостью, которую с нравственной точки зрения нельзя оправдать. Каждый из нас остался при своем, но во все время спора он не проявил никакого стремления насиловать мои взгляды и навязывать мне свое убеждение. То же было и в спорах о значении Пушкина, к которому тогда он относился недружелюбно, хотя и признавал его великий талант. Он находил, что последний был направлен против народных идеалов и что Тютчев и Хомяков глубже и содержательнее Пушкина. И в этом длинном споре Лев Николаевич был чрезвычайно объективен и, встречая во мне восторженного поклонника Пушкина, видимо, старался не огорчить меня каким-либо резким отзывом или суровым приговором.

Вообще я не раз имел случай убедиться и почувствовать, что Лев Николаевич имеет редкий дар *«de faire connaître l'hospitalité de la pensée»*¹ — так выразился Альбер Сорель в своей академической речи в Тэне. Только раз при мне он отступил от своего спокойного и примирительного тона. Однажды в саду, за послеобеденной беседой, зашел разговор о том, что самое тяжелое в жизни. Указывали на роль слепого случая, который разбивает все планы и так часто в корне подрывает целое существование. Один из приезжих случайных гостей, из тех «добрых малых», у которых слово иногда бежит впереди мысли, а не сопутствует ей, стал утверждать, что всего больше ему было бы тяжело материальное изменение его личного положения вроде внезапного разорения или потери службы, сопряженных с непривычными для него лишениями. В это время подошел Толстой и спросил, в чем дело. «Случайность не должна иметь значения в жизни, — сказал он, — надо жить самому, воспитывать детей и готовить окружающую среду так, чтобы для случайности оставалось как можно менее места. Для этого надо направлять всю

¹ «Дать почувствовать гостеприимство мысли» (фр.).

жизнь к уничтожению в ней понятия о несчастье. Человек *обязан* быть счастливым, как обязан быть чистоплотным. Несчастье же состоит прежде всего в невозможности удовлетворять своим потребностям. Поэтому чем меньше потребностей у человека, тем меньше поводов быть несчастным. Только когда человек сведет свои потребности к минимуму необходимого, он вырвет жало у несчастья и обезвредит последнее, и тогда в самом сознании, что им устранены условия несчастья, он почерпнет сознание счастья». Один из собеседников пробовал возражать, что эта теория применима лишь к материальным, а не к духовным потребностям и что нельзя, например, свести к минимуму потребность любви матери к своему ребенку, отнимаемому у нее беспощадною смертью. На это, вероятно, Толстой ответил бы мыслями, высказанными им в его чудном, вызывающем слезы умиления, рассказе «Молитва». Но приезжий, которому очень хотелось высказаться, снова овладел своей темой, наставительно сказав Толстому: «Вам хорошо это проповедовать, когда вы не имеете никаких потребностей, а каково привыкшему к удобствам жизни? Поверьте, что спать на рогоже, привыкнув к тонкому белью, вовсе не составляет счастья». — «Не надо приучать себя к тонкому белью», — строго посмотрев, сказал Толстой, но собеседник не слушал его и продолжал: «Вам хорошо, вы себя до того довели, что вам теперь непонятно, что значит, когда человеку чего-нибудь недостает. Вы себе устроили всякие лишения, и больше вам для себя нечего придумать, вот вы и на других хотите их распространить». — «Мне еще многого недостает», — сказал сурово Толстой. — «Вот отлично! Еще чего-то недостает? Ну чего же вам недостает?» Толстой молчал. «Ну, чего, чего?» — продолжал приставать «добрый малый». Толстой вдруг покраснел, в глазах его вдруг вспыхнул огонек, и он с резкою откровенностью объяснил, *чего* ему недостает, чтобы достигнуть буддистского презрения к телесным удобствам и сострадания даже к паразитным насекомым... Наступило молчание; он овладел собою и смягченным голосом, как бы

извиняясь за внезапную вспышку, заметил: «Мы слишком заботимся о своей внешней чистоте и холим нашу плоть, а я давно заметил, что тот, кто заботится о *своей* чистоте, обыкновенно небрежет о *чужой*...» И он стал приводить примеры из своих воспоминаний о том, как распускают себя у нас люди высшего общества и их подражатели из разных выскочек, доводя себя до претензий крайней роскоши, граничащей с развратом.

Мне трудно припомнить все наши разговоры и все узоры той роскошной ткани мыслей, образов и чувств, которыми было полно все, что говорил Толстой. Во время долгих послеобеденных прогулок он обращался часто к своим воспоминаниям, и тут мне приходилось сравнивать технику его речи с техникой других мастеров литературного слова, которых мне приходилось слышать в жизни. Я помню Писемского. Он не говорил, а играл, изображая людей в лицах, — жестом и голосом. Его рассказ не был тонким рисунком искусного мастера, а был декорацией, намалеванною твердою рукой и яркими красками. Совсем другою была речь Тургенева с его мягким и каким-то бабьим голосом, высокие ноты которого так мало шли к его крупной фигуре. Это был искусно распланированный сад, в котором широкие перспективы и сочные поляны английского парка перемежались с французскими замысловатыми стриженными аллеями, в которых каждый поворот дороги и даже каждая тропинка являлись результатом целесообразно направленной мысли. И опять иное впечатление производила речь Гончарова, напоминавшая картины Рубенса, написанные опытною в своей работе рукою, сочными и густыми красками, с одинаковою тщательностью изображающею и широкие очертания целого, и мелкие подробности частных. Я не стану говорить ни про отрывистую бранчивость Салтыкова, ни про сдержанную страстность Достоевского, ни про изысканную, поддельную простоту Лескова, потому что ни один из них не оставлял цельного впечатления и в качестве рассказчика стоял далеко ниже автора написанных им страниц. Совсем иным характером отличалось слово

Толстого. За ним как бы чувствовалось биение сердца. Оно всегда было просто и поразительно просто по отношению к создаваемому им изображению, чуждо всяких эффектов в конструкции и в распределении отдельных частей рассказа. Оно было хронологично и в то же время сразу ставило слушателя на прямую и неуклонную дорогу к развязке рассказа, в которой обыкновенно заключались его цель и его внутренний смысл. Рассказы Толстого почти всегда начинались с какого-нибудь общего положения или афоризма и, отправляясь от него, как от истока, текли спокойною рекою, постепенно расширяясь и отражая в своих прозрачных струях и высокое небо, и глубокое дно...

Вспоминая общее впечатление от того, что говорил в 1887 году Лев Николаевич, я могу восстановить в памяти некоторые его мысли по тем заметкам, которые сохранились в моем дневнике и подтверждаются во многом последующими его письмами. Многое из этого, в переработанном виде, вошло, конечно, в его позднейшие произведения, но мне хочется привести кое-что из этого в том именно виде, в котором оно первоначально выливалось из уст Льва Николаевича. «В каждом литературном произведении, — говорил он, — надо отличать три элемента. Самый главный — это содержание, затем любовь автора к своему предмету и, наконец, техника. Только гармония содержания и любви дает полноту произведению, и тогда обыкновенно третий элемент — техника — достигает известного совершенства сам собою». У Тургенева, в сущности, немного содержания в произведениях, но большая любовь к своему предмету и великолепная техника. Наоборот, у Достоевского огромное содержание, но никакой техники, а у Некрасова есть содержание и техника, но нет элемента действительной любви.

У современной критики (конец восьмидесятых годов) писателю нечему научиться, так как она почти вовсе не касается содержания, а оценивает технику, тогда как задача критики — найти и показать в произведении луч света, без которого оно ничто. Надо писать

pour le gros du public¹. Суд таких читателей и любовь их есть настоящая награда писателю, и вкус большой публики никогда не ошибается, несмотря на замалчивание того или другого произведения критикой. Такая публика ищет нравственного поучения в произведении, как бы рискованно ни было его содержание, то есть как бы откровенно ни говорилось в нем о том, о чем вообще принято лицемерно умалчивать. Наоборот, сатира и ирония не найдут себе отклика в массе. Для того чтобы вполне оценить и понять Салтыкова-Щедрина, нужно принадлежать к особому кругу читателей, печень которых увеличена от постоянного раздражения, как у страсбургского гуся.

Язык большей части русских писателей страдает массою лишних слов или деланностью. Встречаются, например, такие выражения, как «взошел месяц бледный и огромный» — что противоречит действительности, или — «сжатые зубы виднелись сквозь открытые губы». Это свойство особенно заметно у женщин-писательниц. Чем они бездарней, тем они болтливей. Прочитав иногда несколько страниц такой болтовни, хочется сказать: молчала бы ты лучше, а то вот теперь все узнают, какая ты умница! Настоящий учитель литературного языка — Диккенс. Он умел всегда ставить себя на место изображаемых лиц и ясно представить себе, каким языком каждое из них должно говорить.

Природа лучше человека. В ней нет раздвоения, она всегда последовательна. Ее следует везде любить, ибо она везде прекрасна и везде и всегда трудится. Тургенев рассказывал, что, охотясь, он проводил иногда на опушке леса целую ночь без сна, прислушиваясь к тому, как природа работает ночью. И ему казалось, что она тяжело дышит и по временам в своем творческом труде говорит:

¹ Для широкой публики (фр.).

«Уф! уф!» Самарские степи, например, днем, под палящим солнцем, однообразны и могут наскучить. Но какая прелесть ночью, когда земля дышит полною грудью, а над нею раскинут необъятный купол неба, и к нему несутся с земли нежные звуки, издаваемые жабами... Человек, однако, все умеет испортить, и Руссо вполне прав, когда говорит, что все, что вышло из рук Творца, — прекрасно, а все, что из рук человека, — негодно. В человеке вообще нет цельности. Он роковым образом осужден на раздвоение: если в нем побеждает скот, то это нравственная смерть; если побеждает человеческое, в лучшем смысле слова, то эта победа часто сопровождается таким презрением к самому себе и отчаянием за других, что почти неизбежна смерть, и притом очень часто от собственной руки. Но бояться смерти не надо. Надо о ней думать как можно чаще: это облагораживает человека и часто удерживает его от падения. Но большинство смотрит не так. Обыкновенно, когда человек подымается над плоскостью обыденной жизни, он ясно видит с этой высоты вдали бездну смерти. Напуганный этим, он тотчас опускается в житейскую пошлость — старается занять такое положение, чтобы не видеть этой бездны, и готов сидеть все время на корточках, только бы забыть о ней. А ведь, в сущности, труднее понять, как *можно жить*, чем как *можно умереть*. То, что дается опытом жизни, чувствуется, но редко может быть доказано. Поэтому старые люди часто замыкаются в себе и уединяются. Но это не потому, что им нечего сказать, а потому, что молодость, которая не имеет чувства опыта, их не понимает.

У нас легко раздают титул добрых людей и любят замалчивать ужасные общественные явления, после того как они перестали существовать, как будто они не могут повториться, только в другой форме. Так у нас началось замалчиванье крепостного права и его ужасов, как только крестьяне были освобождены. И люди и отношения были покрыты забвением. Я знал, например, одного вице-губернатора, пользовавшегося всеоб-

шею любовью и считаемого очень добрым. Он прекрасно вышивал шелками по канве и был «душою общества», а между тем за ним считалось несколько засеченных насмерть крестьян. Вообще человеческая жестокость часто только лишь меняет формы или внезапно проявляется там, где ее никак нельзя было ожидать. В конце семидесятых годов один очень крупный сановник, слышавший когда-то либералом и затем, очевидно, в этом раскаявшийся, приехав в Ясную Поляну, стал доказывать желательность восстановления телесных наказаний потому, что содержание под стражей слишком дорого стоит государству, а так как некоторые весьма искусно устраивают побег, то для предупреждения последних можно было бы арестантов, обвиненных в наиболее тяжких преступлениях, лишать каким-либо искусственным и безболезненным образом зрения, что сделало бы их навсегда безвредными. «Я его, — прибавил, окончив этот рассказ, Толстой, — попросил больше меня не поощать».

[У нас носят с народной любовью к самодержавию, но никакой действительной любви народ не имеет. И человек, проезжающий в трех поездах чрезвычайной скорости, причем крестьян гонят в шею при малейшем приближении к линии охраны, — для них совершенно чужой. Самодержавие рухнет в один прекрасный день, как глиняная статуя, и все, что говорится и пишется об отношении к нему народа, как к чему-то священному, не что иное, как сказки Laboule, названные им «Contes pour entendre debout»...¹

Среди наших бесед о религиозных и нравственных вопросах мне приходилось не раз обращаться к моим судебным воспоминаниям и рассказывать Толстому, как нередко я видел на практике осуществление справедливости мнения о том, что почти всякое преступление против нравственного закона наказывается еще в

¹ «Сказки, которые следует слушать стоя» (фр.).

этой жизни на земле. Между этими воспоминаниями находилось одно, которому суждено было оставить некоторый след в творческой деятельности Льва Николаевича.]

Когда я был прокурором Петербургского окружного суда, в первой половине семидесятых годов, ко мне в кабинет пришел однажды молодой человек с бледным, выразительным лицом, горящими глазами, обличавшими внутреннюю тревогу. Его одежда и манеры изобличали человека, привыкшего вращаться в высших слоях общества. Он, однако, с трудом владел собою и горячо высказал мне жалобу на товарища прокурора, заведовавшего тюремными помещениями и отказавшего ему в передаче письма арестантке по имени Розалия Онни, без предварительного его прочтения. Я объяснил ему, что таково требование тюремного устава и отступление от него не представляется возможным, ибо составило бы привилегию одним в ущерб другим. «Тогда прочтите вы, — сказал он мне, волнуясь, — и прикажите передать письмо Розалии Онни». Это была чухонка-проститутка, судившаяся с присяжными за кражу у пьяного «гостя» ста рублей, спрятанных затем ее хозяйкой — вдовой майора, содержавшей дом терпимости самого низшего разбора в переулке возле Сенной, где сеанс животной любви оценивался чуть ли не в пятьдесят копеек. На суд предстала молодая еще девушка с сиплым от пьянства и других последствий своей жизни голосом, с едва заметными следами былой миловидности и с циническою откровенностью на всем доступных устах. Защитник сказал банальную речь, называя подсудимую «мотыльком, опалившим свои крылья на огне порока», но присяжные не вняли ему, и суд приговорил ее на четыре месяца тюремного заключения. «Хорошо, — сказал я пришедшему, — я даже не буду читать вашего письма. Скажите мне лишь в самых общих чертах, о чем вы пишете?» — «Я прошу ее руки и надеюсь, что она примет мое предложение, так что мы можем скоро и перевенчаться». — «Нет, этого не может быть так скоро, ибо ей придется высидеть весь свой срок, и браки с содер-

жащимися в тюрьме разрешаются тюремным начальством лишь в исключительных случаях, когда один из брачующихся должен оставить Петербург и быть сослан или выслан на родину. Вы ведь дворянин?» — «Да», — ответил он и на дальнейшие мои расспросы назвал мне старую дворянскую фамилию из одной из внутренних губерний России, объяснив, что кончил курс в высшем привилегированном заведении и состоит при одном из министерств, занимаясь в то же время частными работами. «Вот видите, — сказал я, — после вашего бракосочетания Розалию пришлось бы перевести в отделение привилегированных по правам состояния женщин, а что они такое — вы сами можете себе представить. Между тем там, где она находится ныне, среди непривилегированных арестанток, устроены превосходно организованные работы и к окончанию срока она будет знать какое-либо ремесло, что при превратностях судьбы ей может пригодиться. Притом же перевод ее в *господское* отделение неминуемо произвел бы дурное нравственное впечатление на содержащихся с нею вместе. Поэтому лучше было бы не настаивать на отступлении в данном случае от общего правила. Если она примет ваше предложение, я прикажу допустить вас до свиданий с нею без свидетелей и когда хотите». Он передал мне письмо и собирался уходить, когда я снова пригласил его присесть и, испросив его разрешения говорить с ним как частный человек и откровенно, вступил с ним в следующий разговор: «Где вы познакомились с Розалией Онни?» — «Я видел ее в суде». — «Чем же она вас поразила? Наружностью?» — «Нет, я близорук и дурно ее рассмотрел». — «Что же вас побуждает на ней жениться? Знаете ли вы ее прошлое? Не хотите ли прочесть дело о ней?» — «Я дело знаю: я был присяжным заседателем по нему». — «Думаете ли вы, выражаясь словами Некрасова, «извлеки ее падшую душу из мрака заблуждения», переродить ее и заставить ее забыть свое прошлое и его тяжелые нравственные условия?» — «Нет, я буду очень занят и, может быть, буду приходить домой только обедать и ночевать». — «Считаете ли вы

возможным познакомить ее с вашими ближайшими родными и ввести ее в их круг?» Мой собеседник покачал отрицательно головой. «Но в таком случае она будет в полной праздности. Не боитесь ли вы, что прошлое возьмет над нею силу, на этот раз уже без некоторого оправдания в бедности и бесприютности? Что может между вами быть общего, раз у вас нет даже общих воспоминаний? Ваша семейная жизнь может представить для вас, при различии вашего развития и положения, настоящий ад, да и для нее не станет раем! Наконец, подумайте, какую мать вы дадите вашим детям!» Он встал и начал ходить в большом волнении по моему служебному кабинету, дрожащими руками налил себе стакан воды и, немного успокоившись, сказал отрывисто: «Вы совершенно правы, но я все-таки женюсь». — «Не лучше ли вам, — продолжал я, — ближе узнать ее, устроить ей по выходе из тюрьмы благоприятные условия жизни и возможность честного заработка, а затем уже, увидев, что она сознала всю грязь своей прежней жизни и искренне вступила на другой путь, связать свою жизнь с нею навсегда?

Как бы не пришлось вам раскаиваться в своем поспешном великодушии и начать жалеть о сделанном шаге! Ведь такое запоздалое сожаление, без возможности исправить сделанное, составляет очень часто корень взаимного несчастья и озлобления. Спасти погибающую в рядах проституции девушку — дело высокое, но мне не думается, чтобы женитьба была в данном случае единственным средством, и я боюсь, что приносимая вами жертва окажется бесплодной или далеко превзойдет достигнутые ею результаты. Не лучшие ли сначала приглядеться к той, о ком мы говорим... Мне в качестве прокурора приходилось слышать в этом самом кабинете признания и заявления о совершающемся или имеющем совершиться преступлении, движущие побуждения к которому иногда были вызваны именно жертвами, напрасными с одной стороны и непонятными с другой...» Мой собеседник очень задумался, молча и крепко пожал мне руку и ушел. На другой день я получил от него письмо, в котором он благодарил меня за

мой с ним разговор, говоря, что, несмотря на то что я, по-видимому, немногим старше его, ему в моих словах слышался голос любящего отца, который совершенно прав в своих опасениях. Подтверждая, однако, свою твердую решимость жениться, он просил меня, в виде исключения, все-таки оказать своим влиянием содействие к тому, чтобы тюремное начальство не препятствовало ему немедленно венчаться с Розалией. Я не успел еще ответить на это письмо, как поступил ответ Розалии Онни, переданный смотрителем тюрьмы, в котором она безграмотными каракулями заявляла о своем согласии вступить в брак. А через день после этого я получил от моего собеседника крайне резкое и почти ругательное письмо, в котором он критиковал мое, как он выражается, «вмешательство в его личные планы». Не желая содействовать несчастью, к которому стремился этот нервно возбужденный человек, я, несмотря на это письмо, все-таки уклонился от участия в осуществлении его желания и твердо отклонил оказанное на меня в этом отношении давление со стороны дамского тюремного комитета и одной из великих княгинь, которую, по-видимому, разжалобил мой собеседник романическою стороною своего намерения. Между тем наступил пост, и вопрос о немедленном браке упал сам собою. Мой собеседник стал видаться довольно часто с Розалией, причем в первое же свидание она должна была ему объяснить, что вызвана из карцера, где содержалась за неистовую брань площадными словами, которою она осыпала заключенных вместе с нею. Он возил ей разные предметы для приданого: белье, браслеты и материи. Она рассматривала это с восторгом, и затем все принималось на хранение в цейхгауз на ее имя. В конце поста Розалия заболела сыпным тифом и умерла. Ее жених был, видимо, поражен известием об этой смерти, когда явился на свидание, — и в память Розалии пожертвовал подготовленное для нее приданое в пользу приюта арестантских детей женского пола. Затем он сошел с моего горизонта, и лишь через много лет его фамилия промелькнула передо мною в приказе о назначении вице-губернатора одной из внутренних губерний России. Но,

быть может, это был и не он. Месяца через три после этого почтенная старушка, смотрительница женского отделения тюрьмы, рассказала мне, что Розалия, будучи очень доброй девушкой, ее полюбила и объяснила ей, почему этот господин хочет на ней жениться. Оказалось, что она была дочерью вдовца, арендатора в одной из финляндских губерний мызы, принадлежавшей богатой даме в Петербурге. Почувствовав себя больным, отец ее отправился в Петербург и, узнав на амбулаторном приеме, что у него рак желудка и что жить остается недолго, пошел просить собственницу мызы не оставить его будущую круглую сироту — дочь. Это было обещано, и девочка после его смерти была взята в дом. Ее сначала наряжали, баловали, портили ей желудок конфетами, но потом настали другие злобы дня или она попросту надоела и ее сдали в девичью, где она среди всякой челяди и воспитывалась до 16-летнего возраста, покуда на нее не обратил внимание только что окончивший курс в одном из высших привилегированных заведений молодой человек — родственник хозяйки, впоследствии жених тюремной сиделицы. Гостя у нее на даче, он соблазнил несчастную девочку, а когда сказались последствия соблазна, возмущенная дама выгнала с негодованием вон... не родственника, как бы следовало, а Розалию. Брошенная своим соблазнителем, она родила, сунула ребенка в воспитательный дом и стала опускаться со ступеньки на ступеньку, покуда, наконец, не очутилась в притоне около Сенной. А молодой человек между тем, побывав на родине, в провинции, переселился в Петербург и тут вступил в общую колею деловой и умственной жизни. И вот в один прекрасный день судьба послала ему быть присяжным в окружном суде, и в несчастной проститутке, обвиняемой в краже, он узнал жертву своей молодой и эгоистической страсти. Можно себе представить, что пережил он, прежде чем решиться пожертвовать ей во искупление своего греха всем: свободой, именем и, быть может, каким-либо другим глубоким чувством. Вот почему так настойчиво требовал он осуществления того своего

права, которое великий германский философ называет *правом на наказание*.

Глубокий и сокровенный смысл этого происшествия оставил во мне сильное впечатление. На мой взгляд, это было не простым случаем, а было откровением нравственного закона, было тем проявлением высшей справедливости, которая выражается в пословице: «Бог правду видит, да не скоро скажет»... Посмотри! Это дело твоих рук. Это ты сделал! В этом *ты* виновен и суди *ее*, и скажи, что *она* виновата, когда ты знаешь, что это не она, а ты! Но вместе с тем, наряду с тяжким испытанием ему, провидение послало ей великую радость без всякой примеси горечи. Она снова обрела человека, которого впервые полюбила: он тут, он возле, он будет ее мужем! Будут наряды, украшения... Начинается жизнь *по-господски!*.. И накануне начала взаимных разочарований и чувства раскаяния, так легко могущего перейти с его стороны в ненависть, Господь опустил занавес над ее житейской драмой и прекратил биение бедного сердца, только что пережившего высокое и последнее в жизни блаженство. И к нему он был милосерден, не простерев до конца свою карающую десницу. Возродив его духовно, дав испытать заснувшей, быть может, душе нравственный толчок и подъем, он не допустил ее вновь опустить крылья под влиянием житейской прозы и семейных сцен самого грубого характера. Он возродил. Он дал урок, но не покарал и не уничтожил своим отмщением.

Рассказ о деле Розалии Онни был выслушан Толстым с большим вниманием, а на другой день утром он сказал мне, что ночью много думал по поводу его и находит только, что его перипетии надо бы изложить в хронологическом порядке. Он мне советовал написать этот рассказ для «Посредника» и писал вскоре после моего отъезда П. И. Бирюкову: «Сообщите А[натолию] Ф[едоровичу] К[они] статью Хилкова о духоборцах... Он обещал написать рассказ в «Посредник», от которого я жду многого, потому что сюжет прекрасный...» А месяца через два после моего возвращения из Ясной Поляны я получил от него письмо, в котором он спрашивал меня, пишу ли я на этот сюжет рассказ? Я отвечал обращенной к нему горячею просьбою написать на этот

сюжет произведение, которое, конечно, будет иметь глубокое моральное влияние. Толстой, как я слышал, принимался писать несколько раз, оставлял и снова приступал. В августе 1895 года, на мой вопрос, он писал мне: «Пишу я, правда, тот сюжет, который вы рассказывали мне, но я так никогда не знаю, что выйдет из того, что я пишу, и куда оно меня заведет, что я сам не знаю, что пишу теперь». Наконец, через одиннадцать лет у него вылилось его удивительное «Воскресение», произведшее, как мне известно из многих источников, сильнейшее впечатление на души многих молодых людей и заставившее их произвести по отношению к самим себе и к житейским отношениям нравственную переоценку ценностей.

Из первого пребывания моего в Ясной мне с особенною яркостью вспоминается вечер, проведенный с Толстым в путешествии к родственнице его супруги, жившей верстах в семи от Ясной Поляны и праздновавшей какое-то семейное торжество. Лев Николаевич предложил идти пешком и всю дорогу был очаровательно весел и увлекательно разговорчив. Но когда мы пришли в богатый барский дом с роскошно обставленным чайным столом, он заскучал, нахмурился и внезапно, через полчаса по приходе, подсев ко мне, вполголоса сказал: «Уйдем!» Мы так и сделали, удалившись по английскому обычаю, не прощаясь. Но когда мы вышли на дорогу, уже освещенную луною, я взмолился о невозможности идти назад пешком, ибо в этот день мы уже утром сделали большую полуторачасовую прогулку, причем Толстой, с удивительной для его лет гибкостью и легкостью, взбегал на пригорки и перепрыгивал через канавки быстрыми и решительными движениями упругих ног. Мы сели в лесу на полянке в ожидании «катков» (так называется в этой местности экипаж вроде длинных дрог или линейки). Опять потекла беседа, и так прошло более получаса. Наконец мы слышали вдалеке шум приближающихся «катков». Я сделал движение, чтобы выйти на дорогу им навстречу, но Толстой настойчиво сказал мне: «Пойдемте, пожалуйста, пешком!» Когда мы были в полуверсте от Ясной Поляны и пере-

шли шоссе, в кустах вокруг нас замелькали светляки. Совершенно с детской радостью Толстой стал их собирать в свою «шапоньку» и торжествующе понес ее домой в руках, причем исходивший из нее сильный зеленоватый, фосфорический свет озарял его оживленное лицо. Он и теперь точно стоит передо мною под теплым покровом июньской ночи, как бы в отблеске внутреннего сияния своей возвышенной и чистой души.

Я пробыл в Ясной Поляне пять или шесть дней. В день отъезда рано утром мы вышли со Львом Николаевичем пешком на станцию Козловка-Засаека и там сердечно простились. Я долго смотрел из окна удалявшегося поезда на его милую типическую фигуру с незабываемым русским мужицким лицом, стоявшую на платформе. Сердце мое было исполнено благодарностью судьбе, пославшей мне не одно близкое духовное общение с ним, но и сознание, что я увожу в моей душе его образ не только не потускневшим, но даже выше и краше, чем тот, который рисовался мне, когда между строк его великих произведений я старался разглядеть душу автора. Поезд без пересадки примчал меня в Петербург, и я вступил в обычную колею своей трудовой жизни, в которой не было недостатка ни в серьезных интересах, ни в интересных людях. Тем не менее мне было душно в этой жизни первые дни. Все казалось так мелко, так условно и, главное, так... так ненужно... Я чувствовал себя в этой обычной нравственной атмосфере так, как должен себя чувствовать человек, быстро спустившийся с чистых альпийских высот в шумный и пыльный город и вошедший в душную комнату, где сильно накурено табаком, пахнет неконченной трапезой и слышатся раздраженные голоса спорящих. Это чувство прошло не скоро, оставив во мне после себя ясное сознание, что, даже не во всем соглашаясь с Толстым, надо считать особым даром судьбы возможность видаться с ним и совершить то, что я впоследствии не раз называл дезинфекцией души.

ДЕЛО ОБ УБИЙСТВЕ КЛАВЫ Г.

В первые же дни февральской революции сгорело здание Петербургского окружного суда и Петербургской судебной палаты. Сгорели и архивы.

Сгорели и дела, в которых во всей неприглядной наготе выступали в роли преступников представители средней и мелкой буржуазии, типичные «элементы разложения старого общества», — по выражению В. И. Ленина.

В числе сгоревших было и дело об убийстве Клавы Г. — таинственное, как многие его называли, уголовное дело, интересное не только по своему необычному криминальному характеру, по сложности и тонкости уликового материала, но и с точки зрения нравов старого общества.

Дело началось так. В Петербурге, в камере хранения Николаевского вокзала, в помещении для невоastreбованных вещей появился тяжелый, дурной, все усиливавшийся запах. Работники вокзала одну за другой перебирали чемоданы, корзины, баулы, мешки и другие вещи. Вскоре обнаружили, что запах, который сразу же определили как трупный, исходит из плетеной корзины, завязанной веревкой и запертой на висячий замок. Как выяснили, корзина была сдана на хранение три недели тому назад — 21 июня 1913 года. Сразу дали знать сыскной полиции (так назывался уголовный розыск), и через полчаса три ее агента были на вокзале. Корзину

перенесли в отдельную комнату, сфотографировали и стали развязывать веревку. Но не тут-то было. Никто из крепких, бывалых агентов не в состоянии был развязать узел на крышке корзины. Позвали еще более физически крепких и опытных носильщиков вокзала. Они пренебрежительно сказали:

— Узел развязать не могут!

Но через несколько минут они вынуждены были признать, что они никогда такого узла не видели и что развязать его не могут.

Уведомленные об этом руководители сыскной полиции хотели определить профессию лица, завязавшего корзину. Решили, что это — артельщики из имевшихся в то время «упаковочных артелей» или матросы парусного флота. Вызвали и тех и других, но все отступили перед небольшим, обычным на вид узлом. Тогда было принято решение: таинственный узел вырезать с тем, чтобы продолжить поиски лица, которое сумело бы развязать узел.

Это была первая тайна в деле.

Когда взломали замок и открыли корзину, там оказался скрюченный, с ногами, пригнутыми к голове, труп женщины. Эксперты-медики установили, что покойнице 18—20 лет, что перед смертью ей был сделан аборт, вызвавший прободение некоторых женских органов и сильное кровотечение.

На вопрос, отчего последовала смерть, эксперты дали неопределенный ответ:

— Возможно, что в результате аборта, но скорее всего от удушения, хотя никаких внешних следов удушения на трупе нет.

Впоследствии крупные специалисты-медики пришли все же к единодушному мнению, что покойница была задушена. Как? Может быть, при помощи подушки, одеяла или другой мягкой вещи, которая была брошена на лицо. Возможно, что в результате аборта, сделанного, несомненно, какой-нибудь подпольной аборт-махершей, покойная потеряла сознание от большой потери крови и в таком состоянии была задушена.

Вторая тайна была — кто же убитая?

Эту тайну раскрыли сравнительно легко. Труп был заморожен, в газетах даны объявления, а в ряд сыскных управлений посланы запросы: не поступало ли заявления о пропаже молодой женщины 18—20 лет.

Через две недели в Петербург приехали пожилые супруги, жители города Пскова, заявившие, что их дочь Клава Г., уехавшая из Пскова более шести месяцев назад на курсы кройки и шитья и сообщавшая, что она 1 июня приедет домой, не приехала до сих пор и что их поиски не увенчались успехом. По некоторым сохранившимся на трупе приметам и по платью и белью родители опознали свою дочь.

Дальнейшее расследование установило обстоятельства поездки Клавы в Петербург и предшествовавшие этому события.

В Пскове некий Равич был владельцем магазина и мастерской женского платья и пальто. Сам Равич управлял магазином, а его жена Рая ведала мастерской, в которой работали 15 молодых девушек.

Равич был не только хорошим коммерсантом, но и опытным соблазнителем молодых мастериц. Рая знала об этом, страдала, но, по ее словам, терпеливо ждала, когда муж наконец перебесится.

Последним увлечением Равича была швея — молоденькая Клава Г. Увлечение это было более серьезным, чем все другие, и болес, чем другие, беспокоило Раю. Она вдруг решает оставить детей и поехать в Петербург на шестимесячные курсы по усовершенствованию кройки и шитья. Муж одобряет ее желание. Это было понятно — он получил свободу на полгода. Но тут происходит нечто странное — вместе с Раем в Петербург на те же курсы едет и Клава Г. Едут они мирно, не как соперницы, а как подруги. Так, по крайней мере, показывают свидетели. Но в Петербурге — опять странность — Рая и Клава нанимают себе комнаты отдельно: Рая в центре города, Клава — на одной из линий Васильевского острова.

Рая на вопрос следователя, почему она взяла с собою

в Петербург Клаву, ответила, что хотела разлучить мужа и Клаву. Но на вопрос, почему согласилась на поездку Клава и влюбленный в нее Равич, ни Рая, ни ее муж сколько-нибудь вразумительного ответа дать не могли. Видимо, что-то связывало в этой поездке Раю и ее мужа. Но что? На этот вопрос следователю не удалось найти ответа.

Далее было установлено, что за два месяца до окончания Раей и Клавой курсов в Петербург приехал Равич. Он остановился у жены и первую ночь провел с ней. Назавтра он ушел от Раи и вернулся только на следующий день. Он признался, что вторую ночь провел с Клавой. Квартирная хозяйка Раи показала, что, когда ловелас-муж вернулся к Рае, она приняла его спокойно, хотя знала, с кем Равич провел ночь.

Прошло еще два месяца. Рая и Клава окончили курсы и получили дипломы. Раиса решила назавтра, т. е. 18 июня, утром уехать в Псков. Клава же осталась в Петербурге еще на несколько дней. На вопрос, почему Клава осталась, Рая отвечала незнанием. Это было странно. На вопрос, знала ли Рая, что Клава собирается делать аборт, Рая ответила, что не знала. Это также было странно, тем более что ночь перед отъездом Рая почему-то провела у Клавы. Это случилось впервые. Следователю показалось странным и то, что, по словам Клавиной хозяйки, Рая ночью несколько раз выходила на кухню. На вопрос хозяйки, почему Рая не дает ей спать, та отвечала, что ей почему-то страшно и кажется, что кто-то стучит в окно (комната Клавы была на первом этаже).

Далее следуют показания хозяйки, относящиеся к последнему дню жизни Клавы, т. е. 21 июня. Хозяйка, как обыкновенно, уходила рано утром на рынок. Клава еще спала. Возвращаясь около 11 часов утра, она увидела, что Клава на другой стороне улицы идет с каким-то мужчиной. Домой она не возвратилась.

У следователя возник важнейший для дела вопрос: кто был спутник Клавы? Хозяйка не знала. Когда следователь показал ей фотокарточку Равича и спросил, не

он ли это был, хозяйка долго всматривалась, а потом сказала:

— Не то он, не то и кто другой. Греха на душу не возьму. Точно, что он, не скажу.

Следователь, размышляя о том, кто же убил Клаву, пошел по старому, часто оправдывающему себя пути и поставил себе вопрос: «Кто», т. е. кому это (преступление) было выгодно, в чьих интересах это было? Следователь отвечал сам себе так: Равич за два месяца до убийства провел ночь с Клавой. Она, по-видимому, забеременела от него и об этом его уведомила. Если бы она родила, то разразился скандал. Рая бросила бы его. Дети остались без матери, а детей он очень любил. Это плохо отразилось бы на его деловой репутации. Да и больше ухаживать за молоденькими мастерицами было бы после такого скандала рискованно. Значит, надо заставить Клаву сделать аборт или убить ее. Есть все основания полагать, что мужчина, который пришел за Клавой и которого видела хозяйка, был Равич!

Следователь допросил Равича. Равич вначале отрицал, что в свой приезд в Петербург ночевал у Клавы. Но хозяйка Клавы его узнала и показала, что он провел с Клавой не только ночь, но и часть дня. Она его видела и хорошо запомнила. Ей дали 10 фотокарточек мужчин одного с Равичем возраста. На вопрос, кто из них мужчина, ночевавший у Клавы, она без колебания показала на фотокарточку Равича.

Равич вынужден был сознаться, что он провел ночь с Клавой. Тогда следователь задал ему вопрос:

— Были ли вы в Петербурге 20 или 21 июня?

Равич ответил отрицательно и доказал свое алиби. Он представил железнодорожные билеты, из которых было очевидно, что 18 июня он выехал из Пскова в город Порхов, пробыл в Порхове до 23 июня, 23-го вечером выехал из Порхова и только 24-го приехал домой. Он указал гостиницу в Порхове, в которой жил с 19 до 23 июня.

Следователь запросил полицию г. Порхова, и та под-

твердила, что действительно 19 июня был прописан, а 23 июня выписан проживавший в гостинице Равич.

На вопрос, что Равич делал в Порхове, он показал, что вел переговоры с владельцами двух магазинов женского платья. Последние подтвердили, что в указанные Равичем дни — точно, в какой из них, не помнят, — он был у них.

Алиби Равича было доказано, и следовательно снова стал перед вопросом: кому еще в таком случае выгодно было убийство Клавы? На этот раз он дал себе ответ, который привел Раису Равич на скамью подсудимых как подстрекателя к незаконному аборту и к убийству Клавы Г., совершенному не обнаруженным следствием лицом (мужчиной).

Аргументация следователя была слишком проста. Рая ревновала мужа к Клаве и видела в ней опасную конкурентку, так как знала, что муж никогда еще так сильно никем не увлекался. Чтобы разлучить их, она затеяла поездку в Петербург на курсы и уговорила Клаву поехать вместе с ней. Она специально поселилась отдельно от Клавы, чтобы в квартире, где она сняла комнату, не было свидетелей событий, которые могли произойти. Когда Равич приехал в Петербург, якобы с целью навестить Раю, но провел следующую ночь с Клавой, она еще более убедилась в опасности. Узнав, что Клава беременна, она поняла, что если Клава родит ребенка, то в лучшем случае в маленьком Пскове произойдет грандиозный скандал, а в худшем — Клава заставит Равича жениться на ней. Она решила избавиться от ребенка, а заодно и от нее самой. Она организовала аборт и убийство Клавы. Она, по-видимому, ночевала у Клавы, чтобы убедить ее сделать аборт.

Рая на допросе показала, что у нее в Петербурге были родственники. Она у них бывала и познакомилась с несколькими мужчинами. На вопрос, с кем именно, она ответила, что фамилий не помнит. Кто-то из них и был организатором аборта и убийцей. Следовательно принял решение арестовать Раю, несмотря на то что она все категорически отрицала...

Прошло уже более года после ареста Раи. Она находилась в Петербургской женской тюрьме и продолжала не сознаваться.

Однажды Карабчевский сказал мне:

— Был у меня сегодня на приеме один человек, по фамилии Равич. Жена его обвиняется в убийстве. Просил, чтобы я ее защищал. Дело, видимо, сложное, так как следствие тянется уже год. Вы знаете мое пристрастие к делам об убийстве. Вы согласитесь помогать мне в этом деле? Поговорите обстоятельно с Равичем и следите за делом. Будем вместе защищать.

Я познакомился и долго говорил с Равичем. Он был сильно удручен арестом жены и обвинением ее в убийстве. Говорил, что после последней проведенной с Клавой ночи он к ней охладел и убедил в этом Раю. Если бы он знал, что Клава забеременела, он дал бы ей деньги, чтобы она сделала аборт у хорошего врача. У Раи не было никакого основания убивать Клаву.

Этот разговор происходил в июне. В конце июля, рано утром, ко мне пришел Равич, бледный и взволнованный. Он находился в Кеммерне (теперь — Кеммери), возле Риги, где лечился. Два дня тому назад он получил от следователя, который вел дело Раи, телеграмму с предложением немедленно выехать в Петербург и явиться к нему. Он пришел предупредить меня об этом. Мы условились, что, если следователь его не арестует — чего он почему-то боялся, несмотря на бесспорное алиби, — он вечером придет ко мне и расскажет, в чем дело.

Вечером он явился и рассказал о совершенно не понятных ни для меня, ни, по его уверениям, для него действиях следователя. Когда он пришел к следователю, тот усадил его за стол, дал ему чистый лист бумаги и сказал: «Пишите, что я вам буду диктовать». Диктовал он следующую фразу:

«Я, нижеподписавшийся крестьянин такой-то деревни, волости, уезда, отправляясь на суд царя небесного, решил рассказать всю правду...»

Эту фразу он заставил Равича написать разными пе-

рьями, а потом карандашом. После этого он позвонил и попросил позвать к нему какого-то человека, фамилию которого Равич не расслышал. Когда этот человек пришел, он сказал ему:

— Вот почерк господина Равича... Не надо ли ему еще что-нибудь написать?

Затем он попросил Равича выйти в приемную и сидеть там, никуда не отлучаясь, пока его не вызовут. Равич заметил, что у дверей приемной стоит городской и не спускает с него глаз. Так он просидел три часа. Когда он встал, чтобы пройти в уборную, городской пошел следом за ним и проводил его обратно в приемную. Равич решил, что следователь его арестует.

Через три часа следователь вызвал Равича и спросил его:

— Вы были знакомы с крестьянином деревни Молчановка в вашем же уезде? Зовут его Молчанов Иван Матвеевич.

Равич сказал, что в Молчановке никогда не был, первый раз слышит о такой деревне и о таком человеке. Следователь дал ему бланк протокола допроса и предложил написать, что он с крестьянином Иваном Матвеевичем Молчановым не знаком и о нем никогда не слышал.

После этого он сказал, что Равич свободен и может возвратиться в Кеммерне. На просьбу разрешить свидание с Раей следователь ответил категорическим отказом.

Позже, когда следствие было закончено, Рае было предъявлено обвинение, и защитники получили возможность познакомиться с делом, я узнал, почему следователь заинтересовался почерком Равича. Оказалось, что в деле об убийстве Клавы появилась новая тайна. За неделю до вызова Равича к следователю в Псковском уезде Псковской губернии нашли в лесу повесившегося человека, судя по одежде, крестьянина. Под деревом, где он висел, лежала бутылка, а в бутылке записка следующего содержания: «Я, крестьянин деревни Молчановка Псковского уезда, Иван Матвеевич Молчанов, отправляясь на суд царя небесного, решил рассказать всю правду судьям земным. Клаву Г. убил я, а почему,

о том поведаю Господу Богу. Это я положил ее в корзину и сдал на хранение на Николаевском вокзале. Квитанцию я порвал. Совесть меня замучила, и я решил предстать перед царем небесным».

Записка была написана грамотно. Следователю показалось странным, что «простой крестьянин» мог грамотно писать. Записка попала в Псков к прокурору, знавшему о деле Раи. Он тотчас же отослал ее в Петербург. Следователь, который вел дело Раи, запросил у прокурора, на территории которого была найдена бутылка с запиской, сведения о самоубийце. В ответе было сказано, что крестьянин Иван Матвеевич Молчанов жив, проживает в деревне Молчановка, за всю свою жизнь из Молчановки не выезжал, не был даже в Пскове, о Клавье Г. никогда не слышал. Тогда-то следователь и заподозрил, что письмо написано мужем Раи. Он вызвал Равича, взял образцы почерка, но эксперт установил, что записку самоубийцы писал не он.

Прошел еще год. Рая томилась в тюрьме. Следователь допросил около ста свидетелей, но ни одной новой улики против Раи не нашел. И только через два года после смерти Клавы в Петербургском окружном суде слушалось дело по обвинению Раисы Равич в соучастии в аборте и в убийстве Клавы. Защищали подсудимую Карабчевский и, в качестве его помощника, я.

Показания свидетелей, вызванных из Пскова прокурором, ничего для судебного следствия не дали. Они только плохо охарактеризовали Раю и ее мужа. Раю — как женщину злую, мстительную и ревнивую. Она часто без всяких оснований устраивала мужу сцены ревности, всего больше боялась, что муж ее бросит и женится на одной из мастериц. Когда Равич увлекся Клавой, Рая несколько раз говорила, что убьет ее, боялась, что она забеременеет.

Одна из свидетельниц показала, что Раиса перед отъездом в Петербург говорила, что у нее есть старинный друг, который любит ее до сих пор и сделает все, что она попросит. Но был ли у Раи такой друг и кто

он — оказалось невыясненным. Рая категорически отрицала все это.

Неблагоприятное для Раи впечатление производило то, что она отвечала незнанием на вопросы о вещах, которые не могла не знать. Ее показаниям прокурор противопоставлял показания Равича, который ничего от суда не скрывал и честно отвечал на все вопросы.

Хотя ни одной прямой улики против Раи судебное следствие не дало, защита ее была делом нелегким. Карачевский произнес, по обыкновению, прекрасную речь. Мне он для речи отвел эпизод, бывший одним из важных звеньев в цепи косвенных улик, — ночь, проведенную Раей в комнате у Клавы накануне отъезда, и уход Клавы утром с каким-то мужчиной.

Присяжные заседатели совещались более четырех часов. Мы считали это плохим предзнаменованием. Когда раздался звонок, означавший, что присяжные заседатели сейчас выйдут в зал заседания, мы были готовы к худшему. На первый вопрос, доказано ли, что Клава Г. была убита, присяжные заседатели ответили: «Да, доказано». На второй вопрос: если доказано, что Клава Г. была убита, то виновна ли Раиса Равич в ее убийстве? — заседатели ответили: «Нет, не виновна».

Рая после слов «нет, не виновна» упала в обморок, который длился долго...

Вопрос, кто убил Клаву Г., остался без ответа.

Это таинственное дело привлекло внимание многих специалистов. Сообщение о нем попало в иностранные научно-криминалистические журналы. Считалось, что это дело останется нераскрытым.

Месяца через два после оправдания Раи пришло письмо от нее. Она жаловалась, что два года тюрьмы, неизвестности, тревоги за себя и за детей сильно подорвали ее здоровье. Она большую часть дня лежит. Местные врачи не могут поставить какой-либо диагноз. Но она сама знает, что она очень-очень больна.

Прошло много лет. Я уже жил не в Петербурге, а в Москве. В 1924 году ко мне пришел седой, опустившийся, неряшливо одетый человек, с отечным лицом и сле-

зящимися глазами. Он спросил меня, узнаю ли я его. Я ответил отрицательно. Тогда он сказал:

— Я Равич, муж Раи... Помните?

Я спросил, почему он так изменился и постарел?

Он ответил, что уже много лет пьет, что начал пить после того, как Раиса через два года после суда умерла. Он считает ее болезнь и смерть следствием тюремного заключения.

Я спросил, почему он пришел ко мне.

— Теперь мне уже ничего не страшно. Я никому, кроме вас, не могу об этом сказать. У меня уже взрослые дети. Они не должны ничего знать.

— А разве вы знаете, — спросил я его, — кто убил Клаву?

— Как же я могу не знать? — отвечал он. — Я ее убил...

Он раскрыл все тайны этого дела. Тайна с узлом, которым была завязана корзина, раскрывалась просто. Его мастерская в Пскове работала не только на его магазин, но и выполняла заказы нескольких магазинов в других городах, в том числе в Порхове. Ему приходилось несколько раз в неделю отправлять тюки с пальто и платьем. Как-то один из его заказчиков был в Пскове и спросил его:

— Кто это у вас завязывает тюки? Развязать их никто не может, приходится резать веревки.

Тюки завязывал старик сторож. Он в молодости служил матросом на судне, которое бывало в африканских портах. На судне служил матросом какой-то «черный», который так завязывал узлы, что никто, кроме него, их не мог развязать. «Черный» научил сторожа этому искусству. Равич как-то попросил сторожа раскрыть ему секрет. Корзину с трупом Клавы он и завязал так, что никто не смог этот узел развязать.

Тайна с повесившимся мнимым убийцей Клавы объяснялась так: в Пскове служил в полиции один пьянчужка, которому Равич часто давал мелкие взятки. Однажды этот полицейский растратил небольшую сумму и ему грозило увольнение и суд. Равич дал ему денег,

и пьянчужка сказал, что нет ничего, что бы он в благодарность не сделал для Равича. Через год после убийства Клавы пьянчужка как-то сказал ему, что едет в уезд, где нашли самоубийцу. У Равича мелькнула мысль: сделать самоубийцу убийцей Клавы. Он уговорил преданного ему пьянчужку за 100 рублей «найти» в лесу на месте самоубийства бутылку, которую он ему даст. В бутылку он положил записку. Написать ее он заставил отца Раисы, который для спасения дочери от каторги готов был на все...

Пьянчужка знал многих жителей деревни Молчановка и сообщил Равичу имя, отчество и фамилию одного умершего крестьянина. Бутылку с запиской «нашли» возле дерева повесившегося и переслали в Петербург следователю. Но оказалось, что половина населения деревни Молчановки носит фамилию Молчановых и у одного из живых Молчановых то же имя и отчество, которые Равич и полицейский присвоили самоубийце.

Третья тайна. Клава написала Равичу за неделю до ее исчезновения, что она беременна и что он должен развестись с Раей и жениться на ней. Но она ему как женщина уже приелась. Он, предвидя, что она наделает ему кучу неприятностей, пришел к мысли избавиться от нее.

Равич разработал хитроумный план, целью которого было доказать свое алиби в день убийства. Он написал Клаве, чтобы она не уезжала и подождала его приезда. 18 июня он из Пскова уехал и в тот же день приехал в Порхов, остановился в гостинице и дал свой паспорт для прописки. Утром 19-го посетил одного из своих оптовых клиентов, переговорил с ним и днем без вещей выехал в Петербург. В гостинице сказал, что на день уезжает за город, а номер оставляет за собой. Ночью 19-го приехал в Петербург. Чтобы никто не узнал о его приезде, он на Невском проспекте взял проститутку, поехал к ней домой и там же переночевал. В разговоре с ней он сказал, что его девушка забеременела, и спросил, не знает ли она кого-либо, кто делает аборт? Он рассчитал правильно: проститутка дала ему адрес бабки аборт-махерши. Утром 20-го он поехал к этой бабке,

повел ее в трактир, угостил и напоил ее, дал ей 50 рублей и сказал, что даст после аборта еще 50 рублей. Бабка, обычно бравшая за аборт у бедных девушек и проституток от 5 до 10 рублей, была счастлива и готова для него на все. От бабки он поехал к Клаве. Клава жила на первом этаже. Он постучал в окно и, когда Клава выглянула, сказал, чтобы она оделась и вышла.

Равич провел весь день 20-го с Клавой, убеждая ее сделать аборт, сказал, что он все уже подготовил и завтра утром отвезет ее к бабке, подождет ее в Петербурге, пока она не поправится, и вместе с ней уедет в Псков. Он уговорил Клаву и привез ее домой поздно ночью, чтобы хозяйка его не увидела. Когда Клава вышла за чем-то из комнаты, он быстро раскрыл верхний ящик комода, увидел свое письмо и забрал его.

Утром, 21-го, зная, что хозяйки в это время не бывает дома, он зашел за Клавой, они вместе вышли, сели на извозчика и поехали к бабке. Клаву он оставил у бабки и сказал, что скоро вернется. Но вернулся он только вечером. Днем он купил корзину и веревку и привез их к бабке. Та сказала, что аборт сделан, и привела его к Клаве. Клава лежала обессиленная от боли и от большой потери крови (бабка делала аборт вязальной спицей). Она была в полузабытьи. Он взял одну из двух подушек и быстро накинул ее на лицо Клавы, крепко прижал и держал в течение десяти минут. Когда он снял подушку, Клава была мертва.

Равич вышел к бабке и сказал, что Клава от аборта умерла. Бабка испугалась и стала умолять помочь избавиться от беды. Тогда Равич сказал, что он поможет ей скрыть труп Клавы. Обрадованная бабка помогла ему уложить труп в корзину... Он завязал ее, они вместе вынесли корзину и положили на извозчика. Равич отвез корзину на Николаевский вокзал, с помощью носильщика сдал ее в камеру хранения, а квитанцию тотчас уничтожил, ближайшим поездом уехал в Порхов, 22-го он побывал еще у одного оптового покупателя, 23-го вечером выехал из Порхова в Псков, а 24-го утром приехал домой. На руках у него остались два железнодоро-

рожных билета, один от 18 и другой от 23 июня, которые и помогли ему доказать свое алиби.

По словам Равича, ему в голову не приходила мысль, что Раю могут заподозрить в убийстве Клавы. Ее арест явился для него тяжелым ударом, его стали мучить угрызения совести. Он резко изменил свое поведение. Любовные похождения его перестали интересовать. Но за два года ареста Раи он начал пить. Когда он увидел Раю на суде, а потом видел, как она упала в обморок, он понял, что любит только ее одну. Болезнь Раи он переживал крайне тяжело. Смерть Раи окончательно его добила. Он стал пить все больше и больше. Вначале пил с прихлебателями, потом стал пить один. Детей пришлось ему сдать родителям Раи. Магазин и мастерскую продал еще до революции. Он опускался все ниже и ниже. Спасло его то, что вскоре умерли родители Раи, а других родственников, которые бы согласились взять к себе его детей, не было. Пришлось детей взять к себе. Надо было поить и кормить их. Он сделал усилие над собой, стал меньше пить и начал работать. После того как дети подросли и поступили в вузы в Москве, прежняя страсть к водке снова овладела им. Он стал болеть. Недавно только вышел из больницы. Псковские врачи посоветовали ему поехать в Москву к одному крупному профессору-медику. Он поехал через Ленинград. В Ленинграде он долго ходил возле дома, где жила Рая.

Я прервал его и спросил:

— А возле дома, где жила Клава, вы не ходили?

— Нет, о Клаве я никогда не думал. Я как-то позабыл даже, что я ее убил.

— А угрызения совести были?

— За Клаву? Нет... Сам не знаю почему... Как будто ее и не было никогда.

Мы помолчали. Потом Равич сказал:

— Может быть, теперь, когда я вам все рассказал, совесть не будет так сильно мучить меня... за Раю...

Я спросил его, был ли он у профессора, ради которого приехал. Он ответил:

— Я приехал не ради него, а для того, чтобы пови-

дать детей. В Ленинграде я узнал, что вы переехали в Москву. Мне захотелось зайти к вам и все рассказать...

Так я узнал все тайны дела об убийстве Клавды Г. — бедной псковской девушки, соблазненной, обманутой, убитой, неизвестно где погребенной и забытой даже ее убийцей.

АВАНТЮРИСТКИ

На деле Ш. стоит остановиться, так как оно характерно для нравов русского буржуазного общества кануна революции. В этом деле выступали в качестве героя и героинь наиболее алчные и готовые на любую подлость в погоне за деньгами люди. Если погоня за деньгами любым способом, любыми средствами увенчивалась успехом, «общество» принимало их как равных в свою среду. Если же афера не удавалась, «общество» безжалостно отбрасывало их.

В 1916 году в приемную знаменитого адвоката вошла элегантно одетая, молодая и очень красивая дама, на выразительном лице которой не было ни тени смущения или неловкости. Ее сопровождала также элегантно, но во все черное одетая пожилая женщина.

Пожилая дама была вдовой киевского врача, молодая — ее единственной дочерью. Покойный муж и отец оставил безутешной вдове небольшое, но дававшее обеим дамам возможность безбедно жить состояние. Но они не хотели мириться со скромными средствами и вытекавшим из этого невысоким положением в обществе. Идеалом обеих женщин были деньги, большие деньги, капитал. Принести им эти деньги могло только одно — красота и блеск молодой девушки. Она была действительно красива. Природа не пожалела ни форм, ни красок для того, чтобы создать это существо. Что касается «блеска», то старая дама отлично знала, что «хорошее общество» считает блеском, и добросовестно добилась этого. Дочь говорила прекрасно по-французски и английски, играла на рояле и даже приятно пела, много читала, бывала часто в театрах и на концертах, обладала прекрасными манерами; когда нужно, была

весела, жизнерадостна, грустна, мечтательна, серьезна, задумчива.

Все эти качества должны были служить приманкой в охоте за богатым мужем. Однако в Киеве бесприданница, несмотря на красоту и блеск, найти богача мужа не сумела. Тогда предприимчивая мамаша решила перенести поле боя на модные курорты, где может найтись принц или миллиардер, который влюбится в красавицу и положит к ее ножкам титулы, а главное, свои деньги.

Но дело не шло так удачно, как предполагала мамаша, и на модных курортах. Миллионеры и миллиардеры ухаживали за девушкой, делали комплименты ее красоте, но считали, что красота не может компенсировать отсутствие капиталов. После больших усилий девушке удалось наконец увлечь и влюбить в себя одного богача. Это был, увы, не принц и не американский миллиардер, а русский еврей, старый, полуграмотный, недавно разбогатевший на биржевых махинациях и покупке и продаже домов. Он впервые в жизни увлекся молодой девушкой. Клялся в любви и, что было самым главным, обещал жениться. Но у обеих дам не было уверенности, что он выполнит свое обещание. Пришлось пойти на крайние средства. Девушка, не дожидаясь свадьбы, вступила со стариком в интимную связь, забеременела, отказалась сделать аборт и родила старику очаровательного ребенка.

Когда появился ребенок — это происходило уже в Петербурге, — молодая дама и ее мамаша потребовали от отца ребенка немедленного выполнения обещания жениться. Но тут-то и оказалось, что у счастливого отца имеется старая жена, с которой он прожил сорок лет, есть взрослые дети и целая куча внуков и внучек. К тому же престарелый Ромео охладел к своей Джульетте и категорически отказался развестись с женой. Он начал понимать, что попал в цепкие лапы авантюристок.

Он не ошибся. Обе дамы заявили: если не будет развода и свадьбы, предстоит грандиозный скандал. Старик оказался человеком с крепкими нервами и на угрозы не реагировал. Тогда авантюра приняла необычную форму. Молодая дама раздобыла серную кислоту, обильно развела ее водой и, подкараулив на улице стари-

ка, плеснула ему в лицо, но сделала это весьма осторожно, из маленькой бутылочки. Старик получил незначительный ожог и закричал больше от страха, чем от боли.

Преступницу тут же арестовали. Репортеры бульварных газет, «Петербургского листка» и «Петербургской газеты», жадно набросились на этот сенсационный случай. Старик видел уже мысленно столбцы газет, посвященные его амурным похождениям, свое изображение, кучу грязи, существовавшей и несуществовавшей. Что скажет его старая жена, его дочери и их мужья? Что будут говорить в деловом мире? Все полетит кувырком. Первой задачей было любой ценой купить молчание газет. Деньги и связи старика сделали свое дело. Газеты не проронили ни слова.

Вторая задача заключалась в том, чтобы прекратить уголовное дело, а для этого необходимо прежде всего добиться освобождения преступницы. Старик рассчитывал, что, во-первых, она будет благодарна ему за освобождение, а во-вторых, что с ней будет легче договориться, чем с мамашей. Дочь, наверное, думал старик, поможет ему, так как вряд ли захочет попасть на каторгу.

Были наняты адвокаты, были пущены в ход связи, и молодая дама была освобождена. Но тут-то старика ожидало небывалое в судебной практике положение.

Обе дамы показали себя во всей красе. Они заявили адвокатам старика, что не согласны на прекращение уголовного дела. Обвиняемая готова снова сесть в тюрьму, идти на каторгу, но пусть будет судебный процесс, пусть весь мир узнает, какой подлец этот старый соблазнитель. Нет, она требует судебного процесса.

Старик сразу понял, что не судебный процесс нужен обеим дамам, а его деньги. Они распределили роли. Молодая категорически отказалась разговаривать с адвокатами старика. Но если ее «мамочка» хочет, то пусть разговаривает. Мамочка стала разговаривать. Впрочем, разговор был короткий: полмиллиона, и она добьется, чтобы дочь согласилась на прекращение дела. Конечно, это будет нелегко, но ее дочь любит свою мамочку и не захочет ее огорчать.

ротничок пристегивался сзади; передней же запонки не было. К. не мог объяснить, куда она девалась.

К. сообщил мне, что он около года находился в психиатрической больнице Николая Чудотворца для экспертизы. По его словам, он с детства страдал психическим заболеванием и временами оно повторялось. Боясь потерять службу, К. тщательно скрывал свое заболевание. Однако, когда он после ареста убедился, что дело складывается против него, он заявил следователю о своей болезни. В больнице его не признали душевнобольным. По его словам, он в тюрьме в результате простуды оглох. Экспертиза подтвердила, что он потерял больше 50% слуха.

К. клялся в своей невинности. Я ему искренне верил. На суде доказывал, что К. — жертва случайностей и несчастных для него совпадений и что во всяком случае даже если бы он был виновен, то его действия надо квалифицировать не как хищение, а как растрату, поскольку деньги находились у него, а украсть что-либо у себя самого нельзя.

Мои усилия имели успех, поскольку К. был признан виновным лишь в растрате и приговорен к двум годам арестантских рот.

Подсудимый был доволен и горячо меня благодарил. Я удивлялся его радости.

Прошло три года. Однажды ко мне домой пришел какой-то человек, прекрасно одетый. Он спросил, узнаю ли я его. Оказалось, что это был мой бывший подзащитный К.

Он пришел, чтобы поблагодарить и принести запоздалый гонорар. Когда я спросил, откуда у него появились деньги, он сказал, что его мучило, что он в свое время обманул меня, и решил рассказать всю правду о своем деле:

— Среди бывших скромных почтовых чиновников имеются богатые люди. Жалование они получали грошовое и на нем разбогатеть не могли. У всех был один и тот же источник обогащения: хищение казенных денег. Эти чиновники совершали хищения так умело,

что заподозрить их было нельзя. Они из осторожности несколько лет продолжали работать, а потом уходили и жили в свое удовольствие на похищенные деньги.

К. решил поступить таким же образом. Он два года подготавливал кражу. Привлек к ней своего брата, обладавшего техническими навыками, и заставил его два года упражняться в распилке и спаивании медных прутьев. Сам К. при помощи своего двоюродного брата — фельдшера больницы Николая Чудотворца (для душевнобольных), в которую К. был впоследствии направлен для психиатрической экспертизы, готовился к симуляции душевной болезни и глухоты на случай, если кража будет раскрыта. Путем упорной работы он овладел всеми симптомами душевной болезни и решился совершить кражу, лишь когда его двоюродный брат убедился, что ни один врач не сумеет доказать, что он симулянт. Но в дальнейшем допустил две ошибки. Его первая ошибка заключалась в том, что он впервые надел верхнюю рубаху, когда поехал в Тифлис. Поезд с почтовым вагоном, который сопровождал К., отошел из Петербурга в субботу в 7 часов вечера. Через час К. на условленной станции впустил своего брата в почтовый вагон. Брат быстро распилил медный прут. К. раскрыл мешок, достал двадцать пачек сторублевых (по 10 000 руб. в каждой), но не заметил, как запонка, на которой держался шнурочек, упала в мешок. Брат быстро запаял медный прут, забрал деньги, не доезжая до ближайшей станции, выскочил из вагона, пешком добрался до станции, сел в первый поезд, идущий в Петербург, и к 11 часам вечера вернулся домой, специально постучал под каким-то вымышленным предлогом к соседу по квартире, чтобы обеспечить себе алиби, а назавтра утром сказал соседям, что едет на рыбную ловлю, что он часто делал, взял удочку, поехал за город и зарыл в лесу деньги в условленном месте. Никаких подозрений у следователя он не вызвал и не фигурировал как свидетель обвинения, который должен был показать, что К. в детстве никогда душевными болезнями не страдал.

Когда запонка подвела К. и он был арестован, он

стал симулировать душевную болезнь. Около года бился над ним известный в то время психиатр профессор Ч. Через год Ч. вызвал К. к себе в кабинет, запер дверь на ключ и сказал:

— То, о чем мы с вами будем говорить, никто не услышит. Вот мое заключение, вот моя подпись, а вот печать. Можете прочесть: я пишу, что К. болен хроническим душевным заболеванием и в то время, когда была совершена кража, находился в состоянии невменяемости. Таким образом, ваше дело в порядке. Ничто уже не может изменить мое заключение. Я действительно убедился, что вы душевно больны. Но где-то в моем сознании все время живет подозрение, что вы симулируете. Меня как ученого мучает вопрос, возможно ли так искусно симулировать. Как ученый, а не как работник этой больницы, прошу вас сказать мне, симулируете вы или нет. Даю вам честное слово, что, как бы вы ни ответили, я не изменю своего заключения.

— Я поверил ему, — сказал К. и совершил вторую ошибку:

— Да, симулировал...

— Ч. обманул меня и изменил свое заключение. Год больницы мне зачли, и я просидел около года... Вы много сделали для меня, и вас мне не хотелось бы обмануть.

К. вынул из кармана конверт с деньгами. Он был очень удивлен, когда я отказался взять похищенные деньги.

Таким образом оказалось, что я — не зная этого — защищал вора, облегчил его участь и, кроме того, помог брату К. уйти от правосудия.

Можно ли ставить в вину адвокатам такие случаи?

УБИЙЦА ИЗ СОСТРАДАНИЯ

Однажды в Лефортовском изоляторе я обратил внимание на заключенного, который был исключительно скуп на слова. На некоторые вопросы он вообще не

отвечал. Обычно заключенные охотно и многоречиво отвечают на трафаретный вопрос: «За что вы осуждены?» Этот же заключенный на такой вопрос ответил только:

— По статье 143 Уголовного кодекса.

Статья 143 УК РСФСР (в ред. 1922 г.) предусматривала ответственность за умышленное убийство. Меня заинтересовали подробности. Я нашел в его личном деле приговор суда, в котором было кратко сказано, что Н. убил своего 12-летнего сына, болевшего какой-то редкой мучительной и, по заключению врачей, стопроцентно неизлечимой болезнью. Н. не мог выносить мучений своего сына и убил его.

Статья 143 предусматривала наказание в виде лишения свободы до 10 лет. Учитывая, что убийство совершено из сострадания, суд приговорил Н. к минимальному сроку — 3 года лишения свободы.

В связи с этим я вспомнил историю статьи 143 УК РСФСР, которую не все знают.

В проект первого советского Уголовного кодекса была внесена специальная статья, предусматривавшая особый вид убийства — из сострадания. Наказание за такое убийство было более мягким. При обсуждении в 1922 году на сессии ВЦИК проекта Уголовного кодекса по поводу этой статьи Ю. Ларин выступил со следующим предложением:

— Я предлагаю не карать за убийство из сострадания. Возьмите, например, меня. Я болел высыханием мускулов, и мне предсказано, что через несколько лет я должен умереть. И вот, если я прошу вас, тов. Семашко, достать мне яду, то выйдет так, что вас будут судить за то, что вы избавили меня от страданий по собственной моей просьбе.

С предложением Ю. Ларина сессия ВЦИК согласилась. Запроектированная статья была исключена, а в ст. 143 УК 1922 года, карающую за умышленное убийство, было введено следующее замечание:

«Убийство, совершенное по настоянию убитого из чувства сострадания, не карается».

Примечание это просуществовало недолго. Поводом к его отмене послужил следующий случай. Помощник саратовского губернского прокурора сообщил губернскому прокурору (привожу дословно):

«24 сентября, в 8 часов вечера, ко мне в канцелярию явился гражданин с. Миуса Захаров Тимофей Андреевич, который предъявил подписку следующего содержания: «24 сентября 1922 г. я, нижеподписавшийся, член РКП(б), Порфирий Макарович Большаков, не желая дальше жить, прошу тов. Захарова пристрелить меня. К сему Большаков, свидетели: Кошелев и Яковлев». Я задал вопрос: «Что это?» Гр. Захаров объясняет: «Тов. Большаков пришел ко мне и стал говорить, что я дальше жить не хочу и убедительно просит пристрелить его, на что я, Захаров, не соглашался: «Если я пристрелю тебя, то мне придется отвечать», а Большаков говорит: «В законе есть примечание такое: «...за убийство из сострадания не «наказывают». Я дал согласие застрелить его только в том случае, если он даст подписку, каковую Большаков немедленно написал, подписали и два свидетеля Кошелев и Яковлев (случайно пришедшие ко мне). После чего мы вошли во двор, где и был застрелен мною тов. Большаков. После чего я пришел заявить вам о случившемся». Я экстренно вызвал «скорую помощь» (врача и нарследователя) для производства предварительного следствия. Большаков прожил два с половиной часа и умер. Две недели тому назад Большаков покушался на самоубийство, стрелялся из револьвера и замечался в употреблении спиртных напитков, но к моменту происшествия, по расследованию врачебной комиссии, был трезв и все четверо были во вменяемом состоянии. Гр. Захаров отличался безупречной скромностью и вежливостью, но эгоистичен.

Подлинный подписал: Помощник губерн. прокурора, подпись».

Состоявшаяся 11 ноября 1922 года комиссия ВЦИК примечание к ст. 143 УК РСФСР исключила.

ВСТРЕЧИ С А. Ф. КОНИ

С А. Ф. Кони я встречался несколько раз и в разное время. Впервые я увидел его и говорил с ним в 1912 году. По просьбе Н. П. Карабчевского я должен был побывать у Кони дома и договориться с ним о дне, часе и составе одного заседания. Кони жил по Надеждинской улице в доме № 3. Он был старым холостяком, жил одиноко. Его обслуживали какие-то старушки. Одна из старушек открыла мне дверь, попросила зайти в большую гостиную, на стенах которой висели портреты русских писателей, портрет самого Кони, портреты деятелей судебной реформы. Старушка попросила меня сесть и сказала, что доложит «его высокопревосходительство». Через минуту она возвратилась и сказала: «Его высокопревосходительство Вас просят».

Кони меньше всего напоминал и своим внешним видом, и своей манерой обращения с людьми «его высокопревосходительство». Он был обаятельно прост и ласков. Будучи уже стариком, увенчанным общим признанием и уважением, он разговаривал со мною, тогда еще зеленым юнцом, как с равным.

Его наружность навсегда запомнилась. Под высоким и широким лбом блестели живые, глубокозапятанные, полные ума и доброжелательности, чуть-чуть улыбающиеся глаза. Бритое лицо обрамляла серо-седая круглая бородка, характерная для скандинавских моряков. Небольшого роста, плотный, тогда уже прихрамывавший, он двигался быстро и с чрезвычайной ловкостью взбирался по лесенке, которая стояла у стены, до потолка заполненной стеллажами с книгами.

По вопросу, ради которого я пришел, мы договорились в несколько минут. Я поднялся, чтобы уйти, но Анатолий Федорович начал расспрашивать, где я учился, какой университет окончил, как идет моя адвокатская работа. Он слушал внимательно, но предпочитал говорить. Он был блестящим «разговорщиком». За короткое время — около часа — успел рассказать и о

своем друге, присяжном поверенном С. А. Андреевском, и о А. П. Чехове, и о Л. Толстом.

Когда я стал прощаться, Кони задержал меня, взобрался по лесенке почти до потолка, достал там какую-то книжку, быстро написал на ней несколько слов и вручил ее мне. Книжка, вернее оттиск из журнала, называлась «О праве необходимой обороны». Она была напечатана в 1866 году в «Московских университетских известиях». Но только в 1924 году я узнал, что после опубликования этой работы царская цензура усмотрела в ней мысли, которые «положительно противны существующим законам». Противными закону цензура признала утверждение Кони о допустимости необходимой обороны против незаконных действий правительственных властей. Цензура потребовала привлечения Кони к уголовной ответственности. Спасло его только то обстоятельство, что было отпечатано лишь 50 оттисков его работы.

Один из этих оттисков и подарил мне Кони.

Вторая моя встреча с А. Ф. Кони произошла в 1915 году. Меня мучил один вопрос, связанный с жизнью и творчеством Достоевского. Я был убежден, что Кони может разрешить мои сомнения, о которых я расскажу в другом месте... Прийти к А. Ф. Кони без его разрешения было неудобно. Я набрался смелости, позвонил по телефону и просил его разрешить прийти к нему. Кони очень любезно согласился и назначил мне день и час.

Когда я сказал, что работаю над докладом на тему: «Достоевский и адвокатура», он очень заинтересовался этой темой и в беседе сказал мне много интересного и важного. Но когда я коснулся интересовавшего меня вопроса из жизни Достоевского, сугубо личного характера, А. Ф. Кони нахмурился и недовольно сказал:

— О том, что вас интересует, я знаю, но я не считаю себя, да и кого бы то ни было, вправе говорить об этом теперь... Через 75 лет после моей смерти можно будет опубликовать некоторые мои рукописи. Там будет об этом...

Кони тотчас же перевел разговор на другую тему и снова заговорил, как всегда, мягко и ласково...

Я ушел под обаянием этого незаурядного человека.

До революции я больше не встречал А. Ф. Кони. Как известно, А. Ф. Кони сразу же после Октября без всяких колебаний с сочувствием отнесся к Советской власти, стал профессором университета и читал популярные лекции для рабочих и солдат о Толстом, Достоевском, Некрасове, Чехове и некоторых других русских писателях. Я был на одной из таких лекций в 1921 году и видел неповторимую аудиторию: в холодном, нетопленном зале, где-то на Выборгской стороне бородатые рабочие в ватниках и валенках, кронштадтские матросы в бескозырках и легких черных тужурках, возвратившиеся с фронта солдаты неподвижно и внимательно слушали старика лектора. В шубе и в перчатках Кони просто и ясно рассказывал о Некрасове и вдохновенно читал его стихи:

Придешь ли ты, о времечко,
Приди, приди, желанное, —
Когда мужик не Блюхера,
И не милорда глупого
С базара принесет...

Рассказывают, что однажды Кони читал лекцию по искусству. Аудитория состояла из... двух матросов. Они слушали с напряженным вниманием. Когда лекция кончилась, один из матросов подошел к Кони, потряс ему руку и сказал: «Спасибо, отец».

Пользуюсь случаем, чтобы вспомнить, с каким благоговением Кони всегда говорил о Белинском. Я слышал, с каким неподдельным чувством он повторял слова поэта:

Молясь твоей многострадальной тени,
Учитель, перед именем твоим
Позволь в смирение преклонить колени...

Советское правительство проявило большую заботу о Кони. Он получал персональную пенсию. Его усиливавшаяся хромота мешала ему ходить. Автомобилей в то время почти не было, трудно было и с конным транс-

портом. Но тем не менее Кони была предоставлена одноконная коляска с кучером. Когда столица была переведена из Петербурга в Москву, оказалось, что и коляска с лошастью были перевезены туда, и Кони остался без транспорта. Он добродушно сострил по этому поводу: «Кони в Петербурге, а лошади в Москве». Но вскоре Кони получил другую коляску, лошадь и кучера. Это искренне тронуло его.

Через десять лет после моей первой встречи с А. Ф. Кони, в 1923 году, я снова посетил его. Через своего брата, который часто с ним встречался, я попросил его принять меня. Он любезно согласился. Он по-прежнему жил на Надеждинской улице. По-прежнему открыла дверь какая-то старушка. По-прежнему он вышел мне навстречу. По-прежнему он был в теплом халате. Но сильно постарел, хромотал и опирался на палку.

Он был рад, когда его посещали и было с кем поговорить. Начались воспоминания... Если бы кто-либо застенографировал все, что говорил тогда Кони, — какая хорошая получилась бы брошюра! Кони интересовался судьбой Карабчевского и других адвокатов. С грустью рассказал мне о последних годах жизни и смерти одного из самых блестящих русских адвокатов — С. А. Андреевского. Потом говорил о своих литературных замыслах (это было за год до его восьмидесятилетия), о лекциях, которые читал в рабочих аудиториях. Полушутливо, полугрустно он рассказал, как однажды забыл, что должен читать о Достоевском, а начал читать о Некрасове. Кто-то из организаторов лекции удивленно слушал, потом забеспокоился и послал ему записку: «Вы должны читать не о Некрасове, а о Достоевском». Кони, по его словам, две-три минуты продолжал говорить о Некрасове, нашел переход от поэзии Некрасова к прозе Достоевского и вышел таким образом из положения.

Кони написал в последние дни своей жизни еще несколько статей. Одну из них посвятил самоубийству. Я разыскал эту статью. В ней Кони писал: «Не прекращая своего постылого существования, надо уметь умереть для себя, для личного узкого счастья — и ожить в

деятельной заботе о других и в этом найти разумный смысл и действительную задачу жизни...»

Мне думается, что эти строки относятся к самому Анатолию Федоровичу...

Н. П. КАРАБЧЕВСКИЙ

Карабчевский был ярким образцом знаменитого адвоката в буржуазном обществе. Карабчевский и Плевако — это, пожалуй, два наиболее популярных русских дореволюционных адвоката.

О Карабчевском я мог бы рассказать больше, чем о каком-либо другом адвокате, так как в течение семи лет я почти ежедневно видел его, нередко участвовал вместе с ним в судебных процессах. Семилетняя работа создала между нами известную близость, поскольку она возможна между людьми столь разного возраста. Но большой ворох воспоминаний мешает мне кратко охарактеризовать его. Мне трудно выбрать из этого вороха наиболее интересное и характерное.

Я впервые пришел к Н. П. Карабчевскому в тот день, когда газеты принесли известие о кончине Льва Толстого. Карабчевский был страшно взволнован. Согласившись принять меня в число его помощников, он сейчас же заговорил со мною о Толстом, о его романах, рассказах и пьесах. Машинист (тогда машинисток еще не было, были машинисты, большей частью прежние писари) принес Н. П. Карабчевскому перепечатанную статью его о Толстом. Карабчевский выправил ее при мне и продолжал говорить о Толстом, о том, как ему довелось увидеть Толстого. Он говорил, что при подготовке своих защитительных речей, в особенности по делам со сложной психологической канвой, ему неоценимую помощь оказывают романы и рассказы Толстого.

Политические взгляды Карабчевского были ограничены — что-то между октябристом и кадетом. Он почти не читал серьезных книг и не был эрудирован. Писал посредственные стихи и рассказы. К делам гото-

вился слабо. И тем не менее был блестящ на судебном следствии и особенно хорош как судебный оратор. Он делал все с темпераментом. Однажды он с такой энергией допрашивал свидетелей, что председательствующий попросил его умерить свой «бурный натиск». Его по справедливости называли мастером допроса. Как-то, иронизируя над самим собою, он сказал, что ему потому приходится с такой энергией допрашивать свидетелей, что к нему стали обращаться только по самым трудным делам. Ну и приходится заставлять свидетелей сказать всю правду, которую они не собирались раскрывать и которую надо было получить от них для того, чтобы выиграть, казалось, безнадежное дело.

Он особенно охотно принимал на себя защиту по делам об убийствах. Его первая адвокатская речь была произнесена в защиту убийцы. Он рассказал мне:

— Мой первый подзащитный обвинялся в убийстве проститутки. Это был молодой деревенский парень, недавно приехавший в Петербург и нанявшийся извозчиком. Познакомился он с одной проституткой и стал к ней ходить. Потом стал просить, чтобы она прекратила заниматься проституцией и вышла за него замуж. Она отказывалась. Однажды, когда он пришел к ней, она потребовала, чтобы он заплатил ей вперед. У него денег не было. Она стала его выгонять и сказала, что сейчас придет к ней богатый клиент. Тогда он убил ее ударом ножа, тихонько вышел из комнаты, а нож выбросил в канал. Его через день арестовали, но он не сознавался. Когда я познакомился с делом, мне стало ясно, что запирательство бессмысленно, так как все доказательства его виновности были налицо. Я убедил моего подзащитного чистосердечно сознаться. Он согласился со мной. Я целую неделю готовил свою первую защитительную речь, исходя из того, что подзащитный сознается. Я рисовал драму, которую пережил этот деревенский парень, анализировал его душевное состояние, использовал его чистосердечное признание. Настал день суда. Я первый раз сел за стол защиты. Когда председатель суда спросил подсудимого, признает ли он себя

виновным, он ответил: «Не виновен, не убивал». У меня все внутри похолодело. Что мне делать? Заявить, что подсудимый признался мне в убийстве? Нельзя, адвокатская тайна не позволяет. Просить отложить дело? Но какое основание для этого? Все свидетели явились, прокурор на месте, подсудимый — тоже. Выхода не было! Я уже представлял себе, что не сумею ничего сказать, что я опозорюсь. Но размышлять было некогда. Я допрашивал свидетелей, выслушал речь прокурора и с трепетом ждал, когда председатель суда скажет: «Слово предоставляется защитнику».

Этот момент наступил. Я встал и произнес речь.

Когда я окончил речь, у меня была одна мысль: я оскандалился, я жалкий бездарный болтун, которому не место в адвокатуре.

Что было дальше? Присяжные заседатели совещались недолго. Когда старшина читал вердикт, я не верил своим ушам:

— Доказано ли, что тогда-то крестьянин села Кошкино, Воропаевского уезда, Тамбовской губернии, Иван Федотов Лошкин убил мешанку г. Петербурга Ефросинию Павловну Жучкову? Да, доказано.

— Виновен ли Иван Федотов в убийстве Ефросинии Жучковой? Нет, не виновен.

Потом меня обступили какие-то незнакомые люди, жали мне руку, поздравляли меня, спрашивали мой адрес. А какой-то старый адвокат, выступавший по следующему делу, подошел ко мне, пожал мне руку и сказал только:

— Ну и ну... здорово говорили...

А мне было совестно и стыдно. Ведь благодаря мне был оправдан убийца. Я решил было немедленно уйти из адвокатуры. Но уйти было некуда. Тогда я дал себе слово никогда не защищать людей, не признающих своей вины, если у меня нет полной уверенности в их невинности. А то как бы какой-нибудь жулик, которого суд при моей помощи оправдал, не сказал бы потом словами Некрасовского героя:

Взяв гонорар неумеренный,
Говорил мой присяжный поверенный:
Перед вами стоит гражданин
Чище снега альпийских вершин.

Однажды Карабчевский в дружеской беседе со мною сказал:

— Вот вы спрашиваете, почему мне особенно удаются «речи» по делам об убийствах? Что же, я этого не скрываю. Но этим не бравирую и неохотно об этом говорю. Мои друзья это знают. Особенно хорошо знает это Андреевский... Можете и вы знать. Так вот... Когда я был студентом, я безумно полюбил одну женщину... Любовь была тяжелая, надрывная. Вспоминать о ней до сих пор мучительно. Измучила она меня... Кончилось тем, что я убил ее, — убил, безумно любя... Меня не судили... Была экспертиза. Признали, что действовал в состоянии невменяемости. Я этого не добивался, и не я поставил вопрос об этом. Мне было тогда все равно... Но разве могу я забыть, что я переживал до убийства, да и после убийства... Только тот, кто сам убил, может понять эти переживания. Убийцы... Сколько я в своей душе покопался и до, и после убийства! Этого на сто защитительных речей хватит... Когда я первый раз в суде выступал, — я защищал убийцу из ревности... Давно это было, но никогда не забуду... Это я себя самого защищал...

И тут Карабчевский мне рассказал случай, характеризующий буржуазный суд и его отношение к мужчинам — убийцам жены.

— Однажды я, будучи уже немолодым адвокатом, выступал защитником одного убийцы. Судебное следствие не дало никакого материала для защиты. Подсудимый рисовался в самом неприглядном виде. Убитая, наоборот, по показаниям всех свидетелей, была отличная и верная жена. Сам подсудимый ушел в себя, мало говорил, на вопросы отвечал односложно... Ему было все безразлично.

У прокурора оказалось много материала, и он произнес убедительную речь. Пришла моя очередь говорить, а у меня — ни одной толковой мысли. И когда я уже встал и сказал первые трафаретные слова, мелькну-

на мысль и я стал говорить на тему — вы думаете, что легко убить любимого человека. Попробуйте! Сколько надо пережить, чтобы дойти до этого... Какую душевную драму надо пережить... Вспомнил кое-что о своих собственных переживаниях... Говорю и вижу — присяжные слушают, затаив дыхание, даже судьи слушают с серьезными лицами и глубоким вниманием. Закончил и сижу, сам взволнованный. Председатель сказал короткое резюме — так, ни за, ни против... Присяжные взяли лист с вопросами. Посовещались недолго. Вышли. Старшина стал читать вопросы и ответы: «Доказано ли, что подсудимый совершил тогда-то и тем-то убийство своей жены? Да, доказано. Если совершение убийства подсудимым доказано, то виновен ли он в этом? Нет, не виновен».

И со свойственной Карабчевскому чертой резко обрывая неприятный для него разговор он сказал:

— Недавно иду по Знаменской... Подходит ко мне старичок в полицейской шинели. Вы, — говорит он мне, — Николай Платонович. Я вас хорошо знаю, а вы меня, наверное, давно забыли. Я вас когда-то из тюрьмы на освидетельствование водил — в присутствие. И обратно водил. Три раза водил. Вы знаменитым стали. А я как сорок лет тому назад околоточным был, так и остался.

Особенно удивительно, что Карабчевский при всей его романтической природе, при его весьма ограниченных политических взглядах был исключительно блестящ как политический защитник. В его речах на политических процессах он настолько внутренне сживался с подсудимым, что начинал мыслить как он, смотреть на все его глазами, иногда даже говорить его словами. Н. П. Карабчевский в таких случаях был смелым и мужественным и возвышался до подлинного пафоса и хужественности.

Мне часто вспоминается речь Карабчевского в защиту Егора Сазонова, убийцы всесильного временщика — министра внутренних дел Плеве. Страстной и му-

жественной была вся защитительная речь. Вот одно из мест стенограммы этой речи:

«...После убийства министра Сипягина вакантное место занял Плеве. Балмашов был повешен. В обществе воцарилось кажущееся спокойствие и гробовое молчание. Печать, единственная выразительница общественного настроения, или подневольно молчала, или заискивала у всесильного министра и раболепствовала.

Председатель. Я лишу вас слова, если вы еще раз позволите себе подобные выражения.

Карабчевский. Печать, к сожалению, безмолвствовала.

Председатель. Я остановил вас. (Пауза.) Продолжайте.

Карабчевский. Вы остановили меня, но не остановили моей мысли, и она продолжает работать. Я должен дать ей выход...»

Особенно хорош был конец этой речи. Карабчевский говорил о Плеве:

«...Он настоял на повешении Балмашова, он заточил в тюрьму и послал в ссылку тысячи невинных людей, он сек и расстреливал крестьян и рабочих, он глумился над интеллигенцией, он сооружал массовые избиения евреев в Кишиневе и Гомеле, он задушил Финляндию, он теснил поляков, он влиял на то, чтобы возгорелась ужасная война с Японией, в которой пролито уже столько русской крови... Сазонову он представлялся чудовищем, которое возможно устранить только другим чудовищем — смертью. И вот почему, поднимая трепетными руками бомбу, предназначенную для него, он верил, свято верил в то, что она не столько начинена динамитом и гремучей ртутью, сколько слезами, горем и бедствием своего народа. И когда рвались и разлетались в стороны осколки от брошенной бомбы, ему чудилось, что это звенят и разбиваются цепи, которыми опутан русский народ...»

Председатель. Я запрещаю вам. Вы не подчиняетесь. Я принужден буду удалить вас...

Карабчевский. Я кончаю. Так думал Сазонов... Вот почему, как только он очнулся, он крикнул: «Да здравствует свобода!»

Карабчевский рассказал мне, что он не может забыть Егора Сазонова. Он подолгу беседовал на свиданиях с ним в тюрьме до защиты. После приговора суда он в последний раз посетил его. Карабчевский рассказывал:

— Я прощался с ним, как с близким, как с родным. Он был спокоен, я взволнован. Я не мог оторвать глаз от его высокого бледного лба. Когда я уходил, я поцеловал его в лоб... До сих пор передо мной его бледный, чистый лоб...

К сожалению, не сохранилась речь Карабчевского в защиту Гершуни, организатора убийства министра внутренних дел и шефа жандармов Сипягина — этого умиротворителя рабочего и крестьянского движения, автора циркуляра, сократившего ссуды голодающим крестьянам. Гершуни же подготовил покушение на одного из самых реакционных деятелей царского режима, оберпрокурора Святейшего синода Победоносцева, а также покушение на убийство харьковского губернатора Оболенского.

Карабчевский с большой теплотой рассказывал о Гершуни. Он хранил письмо, полученное им нелегальным путем и написанное Гершуни с каторги перед побегом.

Карабчевский не ценил денег. Огромные гонорары, которые он получал, быстро таяли в его руках. Он широко раздавал деньги, охотно давал «в долг без отдачи». Я точно знал (из его завещания, при составлении которого я был свидетелем), что у него почти не было накоплений. Но вместе с тем Н. П. Карабчевский умел и любил получать огромные гонорары. Он любил говорить, что в ответ на слова клиента: «Как мне вас благодарить?» — надо отвечать словами, автором которых, как он уверял, был известный в свое время адвокат Холева: «С тех пор как изобретены денежные знаки, ответ на этот вопрос не вызывает никаких затруднений...»

Но были защиты, которые Карабчевский проводил безвозмездно. Не взял он, разумеется, ничего за защиту Егора Сазонова и Гершуни. Чисто адвокатская погоня

за популярностью побуждала его выступать по сенсационным уголовным делам без всякого гонорара.

Когда царское правительство инсценировало дело Бейлиса, киевские общественные деятели предложили Карабчевскому выступить в числе его защитников. Н. П. Карабчевский, ни минуты не раздумывая, дал согласие, разумеется, без всякого гонорара. Речь на этом процессе была одной из его лучших речей. По ней можно учиться анализу доказательств в уголовном процессе.

В интереснейшей книге Н. Смирнова-Сокольского «Рассказы о книгах» есть раздел, озаглавленный «Книги, изданные для немногих». В этом разделе талантливый автор пишет о книгах дореволюционной России: «...но были книги, которые печатались вообще только в крайне ограниченном количестве. Тиражи таких книг не превышали 10, 25, 50 экземпляров.

Делалось это по указанию цензуры, которая таким нарочито малым тиражом ограничивала возможность проникновения книги в широкие народные массы (например, суворинская перепечатка «Путешествия» Радищева в 1880 году), либо — по воле самых авторов и издателей, не желавших, по тем или иным причинам, чтобы их труд получил большое распространение».

Я не только знаю об одной книге, которая была издана в одном экземпляре, но и принимал самое активное участие в ее подготовке и издании.

В 1911 году Н. П. Карабчевскому исполнилось 60 лет. Мы, его помощники, долго думали, что подарить ему ко дню его шестидесятилетия. Не хотелось, чтобы это были банальные чернильницы, портсигары, часы и тому подобные вещи. Мне пришла в голову мысль напечатать в одном экземпляре его защитительную речь по делу Егора Сазонова.

Единственный экземпляр был издан с исключительной роскошью и художественным вкусом, благодаря взявшему на себя художественное оформление книги прекрасному графику Георгию Нарбуту. Книга печаталась в лучшей русской типографии Голике и Вильборга.

Она печаталась на пергаменте. Сафьяновый переплет был сделан по эскизу Нарбута. Все заглавные буквы, инициалы, так называемый форзац были от руки сделаны тушью самим Нарбутом.

Цензура не разрешала печатать эту речь Карабчевского. Но так как издавался один экземпляр, то мы договорились с цензором.

Карабчевский был рад этой книге. Он хранил ее в своем письменном столе.

Когда в 1921 году я приехал с Украины в Петербург, то сделал попытку разыскать архив Карабчевского и эту книгу. Я шел по знакомой Знаменской улице. Была зима. Снег не убирался, и идти приходилось по протоптанным ногами пешеходов коридорам, по обеим сторонам которых были снежные стены. В особняке Карабчевского помещался госпиталь. Отыскал коменданта. Молодой веселый парень не знал, кто здесь жил когда-то. О Карабчевском он никогда не слышал. Никакого имущества Карабчевского не оказалось. Не нашел я и речи по делу Сазонова. Судьба ее осталась неизвестной. Может быть, она стоит на полке в чем-либо книжном шкафу. Может быть.... Но нет смысла гадать, где она... В одном убежден: вряд ли она уничтожена, слишком она была хороша... Этим я могу ограничиться, вспоминая о Карабчевском, тем более что пишу о нем и в других местах этой книги по разным поводам.

Ф. Н. ПЛЕВАКО

Конкурировать с Н. П. Карабчевским по славе, по популярности, по адвокатскому таланту и ораторскому дарованию мог только Ф. Н. Плевако. Его действительно знала вся Россия. Его имя стало нарицательным.

Плевако не был выдающимся юристом. Но он был талантливым судебным оратором, блестящим и смелым, преобразавшимся, как только он садился за стол защиты. Его высоко ценил как адвоката бывший с ним в добрых отношениях Н. П. Карабчевский, много о нем

мне рассказывавший. Высоко ценил его как оратора и В. Маклаков, сам блестящий судебный оратор. Но Маклаков несколько критически относился к ораторской манере Плевако. Он противопоставлял его речам ценную им простоту, отсутствие патетичности и эффектных фейерверков. Маклаков писал: «В Плевако были задатки стать несравненным стилистом, речи которого можно было бы запоминать наизусть, как, например, речи А. Ф. Кони. Но он оставался к этому весьма равнодушен, никогда не исправлял ни речей, ни статей с тем, чтобы отделать, очистить свой стиль. И если этот великий талант его не был зарыт в землю, то и не был приумножен».

Плевако я ни разу не слышал говорящим. Но еще будучи студентом, я видел, как он шел по каменным коридорам окружного суда, толстый, грузный, усталый, сопровождаемый почтительными взглядами молодых помощников присяжных поверенных, судебных дам и тех неопределенных подозрительного вида людей, которые всегда непонятно для чего и почему слонялись по окружному суду.

Но слышал я о Плевако много. Н. П. Карабчевский, который дружил с ним, передавал мне подробности некоторых его дел. У Плевако с Карабчевским было много общего. Они были не выдающимися юристами, а защитниками-борцами. Оба отличались бурным натиском на противника, страстностью и темпераментностью в судебных турнирах. Оба любили прибегать в речах к эффектным «фейерверкам», как называл их Плевако. Речи Плевако я внимательно читал. Они не поражали и не удивляли. Говорили, что их надо было не читать, а слышать, что тогда впечатление от них было огромным, что Плевако буквально зачаровывал присяжных заседателей. Он был мастером красивых образов, каскадов громких фраз, ловких адвокатских трюков, остроумных выходок, неожиданно приходивших ему в голову и нередко спасавших клиентов от грозившей кары. Примером этого была защита Плевако владелицы небольшой лавчонки, полуграмотной женщины, нару-

шившей правила о часах торговли и закрывшей торговлю на 20 минут позже, чем было положено, накануне какого-то религиозного праздника. Заседание суда по ее делу было назначено на 10 часов. Суд вышел с опозданием на 10 минут. Все были налицо, кроме защитника — Плевако. Председатель суда распорядился разыскать Плевако. Минут через 10 Плевако, не торопясь, вошел в зал, спокойно уселся на месте защиты и раскрыл портфель. Председатель суда сделал ему замечание за опоздание. Тогда Плевако вытащил часы, посмотрел на них и заявил, что на его часах только пять минут одиннадцатого. Председатель указал ему, что на стенных часах уже 20 минут одиннадцатого. Плевако спросил председателя:

— А сколько на ваших часах, ваше превосходительство?

Председатель посмотрел и ответил:

— На моих 15 минут одиннадцатого.

Плевако обратился к прокурору:

— А на ваших часах, господин прокурор?

Прокурор, явно желая причинить защитнику неприятность, с ехидной улыбкой ответил:

— На моих часах уже 25 минут одиннадцатого.

Он не мог знать, какую ловушку подстроил ему Плевако и как сильно он, прокурор, помог защите.

Судебное следствие закончилось очень быстро. Свидетели подтвердили, что подсудимая закрыла лавочку с опозданием на 20 минут. Прокурор просил признать подсудимую виновной. Слово было предоставлено Плевако. Речь длилась две минуты. Он заявил:

— Подсудимая действительно опоздала на 20 минут. Но, господа присяжные заседатели, она женщина старая, малограмотная, в часах плохо разбирается. Мы с вами люди грамотные, интеллигентные. А как у нас обстоит дело с часами? Когда на стенных часах — 20 минут, у господина председателя — 15 минут, а на часах господина прокурора — 25. Конечно, самые верные часы у господина прокурора. Значит, мои часы отставали на 20 минут, и поэтому я на 20 минут опоздал.

А я всегда считал свои часы очень точными, ведь они у меня золотые, мозеровские.

Так если господин председатель, по часам прокурора, открыл заседание с опозданием на 15 минут, а защитник явился на 20 минут позже, то как можно требовать, чтобы малограмотная торговка имела лучшие часы и лучше разбиралась во времени, чем мы с прокурором?

Присяжные совещались одну минуту и оправдали подсудимую.

Такие трюки действовали не только на присяжных заседателей, но и на судей.

Плевако, как и Карабчевский, любил брать с клиентов огромные гонорары. Но и выступал бесплатно. Известность получило дело о крестьянах села Люторичи. Плевако сам предложил обвиняемым принять на себя их защиту и, более того, не только не взял гонорара, но в течение всего процесса, длившегося три недели, нес расходы по содержанию всех 34 подсудимых.

Н. П. Карабчевский любил рассказывать об одном случае, о котором узнал от Плевако. Карабчевский мастерски воспроизводил рассказ Плевако. Мне пришлось несколько раз слышать этот рассказ, и я почти буквально запомнил его:

— Рассказывает мне Плевако, что к нему обратился за помощью один богатый московский купец. Плевако говорит: «Я об этом купце слышал. Решил, что заломлю такой гонорар, что купец в ужас придет. А он не только не удивился, но и говорит:

— Ты только дело мне выиграй. Заплачу, сколько ты сказал, да еще удовольствие тебе доставлю.

— Какое же удовольствие?

— Выиграй дело — увидишь.

Дело я выиграл. Купец гонорар уплатил. Я напомнил ему про обещанное удовольствие. Купец и говорит:

— В воскресенье, часиков в десять утра, заеду за тобой, поедem.

— Куда в такую рань?

— Посмотришь, увидишь.

— Настало воскресенье. Купец за мной заехал. Едем в Замоскворечье. Я думаю, куда он меня везет. Ни ресторанов здесь нет, ни цыган. Да и время для этих дел неподходящее. Поехали какими-то переулками. Кругом жилых домов нет, одни амбары и склады. Подъехали к какому-то складу. У ворот стоит мужичонка. Не то сторож, не то артельщик. Слезли. Купчина спрашивает мужичка:

— Готово?

— Так точно, ваше степенство.

— Веди...

Идем по двору. Мужичонка открыл какую-то дверь. Вошли, смотрю и ничего не понимаю. Огромное помещение, по стенам полки, на полках посуда.

Купец выпроводил мужичка, раздел шубу и мне предложил снять. Раздеваюсь. Купец подошел в угол, взял две здоровенные дубины, одну из них дал мне и говорит:

— Начинай.

— Да что начинать?

— Как что? Посуду бить!

— Зачем бить ее?

Купец улыбнулся.

— Начинай, поймешь зачем...

Купец подошел к полкам и одним ударом поломал кучу посуды. Ударил и я. Тоже поломал. Стали мы бить посуду, и, представьте себе, вошел я в такой раж и стал с такой яростью разбивать дубиной посуду, что даже вспомнить стыдно. Представьте себе, что я действительно испытывал какое-то дикое, но острое удовольствие и не мог уговориться, пока мы с купчиной не разбили все до последней чашки. Когда все было кончено, купец спросил меня:

— Ну что, получил удовольствие?

Пришлось сознаться, что получил».

Наряду со способностью получать удовольствие от таких диких забав была у Плевако приятная для меня, как книголюба, черта. Он мало читал, но в то же время был страстным любителем и собирателем книг. У него

было какое-то нежное и заботливое отношение к книгам — своим и чужим. Он любил сравнивать книги с детьми. Его глубоко возмущал вид растрепанной, порванной или загрязненной книги. Он говорил, что так же, как существует (оно действительно существовало) «Общество защиты детей от жестокого обращения», следовало бы организовать «Общество защиты книг от жестокого обращения» и у виновников такого отношения к книгам отнимать их так же, как отнимают детей у жестоко обращающихся с ними родителей или опекунов.

Он вместе с тем не считал, что книги надо держать запертыми в шкафу и никому не давать читать их. Он был непохож на тех собирателей книг, которые сами их не читают и придумывают всевозможные, часто нелепые предлоги для того, чтобы, подобно скупому рыцарю, не выпускать их из своих рук. Одним из таких книжных скупцов был популярный писатель и философ В. В. Розанов. Он «принципиально» не давал никому читать свои книги и цинично говорил: «Книга не девка, нечего ей по рукам ходить».

Я писал о популярности Ф. Н. Плевако. Эта популярность дала повод известному поэту-сатирику Минаеву написать стихотворение, которое он назвал «Похвальное слово г-ну Плевако»:

Прорвется ль где-нибудь писака,
Случится ль где в трактире драка,
На суд ли явится из мрака
Воров общественных клоака,
Толкнет ли даму забияка,
Укусит ли кого собака,
Облает ли затем плевака.
Кто их спасает всех? Плевако.

С. А. АНДРЕЕВСКИЙ

С. А. Андреевский считался одним из знаменитых русских адвокатов.

Я познакомился с С. А. Андреевским в 1912 году, когда ему было 65 лет. Он, с присущей ему необычно-

венной скромностью, рассказывал мне в Александровском саду, где он любил гулять, о разных эпизодах своей адвокатской деятельности, никогда не намекая о своих триумфах в поединках с обвинением и никогда не касаясь своего поэтического творчества. Мне навсегда запомнилась его полная изящества внешность. Высокий и стройный, с седеющими густыми еще волосами, с задумчивыми спокойными глазами — он был красив. А. Ф. Кони в биографическом очерке, открывающем книгу Андреевского «О смерти», рассказывает, что П. Д. Боборыкин назвал Андреевского «Муцием» (из повести Тургенева «Песнь о торжествующей любви»). Муций был молод, а Андреевский стар. У Муция был острый и гипнотизирующий взгляд, а глаза Андреевского смотрели утомленно. Но если бы Муций существовал в действительности, то, пожалуй, в старости он был бы похож на Андреевского...

С. А. Андреевский называл адвокатов «говорящими писателями», а защиту в суде — «литературой на ходу». Он сам и был говорящим писателем. А. Ф. Кони писал о художественности картин, которые Андреевский умел рисовать мастерски: «...он нередко изображал своих подзащитных такими, какими их личность его интересует и какими он хотел бы их видеть как художник и человек, память которого полна созданиями великих писателей».

А. Ф. Кони говорил, что адвокатское «писательство» Андреевского имело иногда большой успех у присяжных заседателей и очень соблазняло провинциальных адвокатов, почти дословно приводивших места из его речей, выдавая их за свои собственные. Кони называл Андреевского говорящим писателем, который вышивал по канве подлежавшего рассмотрению дела новые, полные красоты и чувства узоры, часто, однако, шедшие в его поэтическом полете вразрез с прозаической житейской тканью этой канвы.

На С. А. Андреевского всегда падал отблеск его честного и мужественного поведения в деле Веры Засулич, убившей петербургского градоначальника Трепова.

Когда С. А. Андреевский только начинал свою юридическую деятельность прокурором, ему было предложено выступить обвинителем В. Засулич. Андреевский поставил условием предоставление ему полной свободы в оценке Трепова. В этом условии не без основания усмотрели тенденцию оправдать действия Засулич, в то время как царь (Александр III) и его министры добивались обвинительного — во что бы то ни стало — приговора. Прокурор судебной палаты — высокое начальство начинающего прокурора — требовал, чтобы Андреевский отказался от оценки жестокого распоряжения Трепова — высечь заключенного студента. Андреевский не согласился и заявил, что иначе он не будет выступать обвинителем.

Результатом мужественного поведения С. А. Андреевского явилось его увольнение. Недавно женившийся, не имевший других средств к жизни, он оказался безработным и долго нуждался, пока А. Ф. Кони не помог ему устроиться юрисконсультom Международного банка. Эта должность хорошо оплачивалась. Но его дарование подсказало ему, что он должен стать защитником в суде. С. А. Андреевский отказался от своей выгодной должности и ушел в адвокатуру, не зная, что ждет его на этом пути. Но первые же его выступления показали, что появился новый талантливый защитник.

Когда я стал адвокатом, С. А. Андреевский был уже стареющим, известным всей стране выдающимся защитником. Он был одним из кумиров молодых адвокатов. Сборники его речей зачитывались нами до дыр. Мы следили за тем, когда он выступает в суде, и старались не пропустить ни одной его речи.

Для непосвященных С. А. Андреевский казался во время допроса свидетелей вялым, безучастным. Его редкие вопросы часто казались непонятными и неизвестно для чего нужными защите. Но его речь, плавная и яркая, зачаровывавшая слушателей тонким психологическим анализом и художественными образами, выдавала значение этих вопросов. Каждый ответ свидетелей на за-

данные Андреевским вопросы делался в его устах стежком в тонком кружеве его речи.

С. А. Андреевский был по своей природе защитником по сложным преступлениям, требующим искусства психологического анализа. В политических процессах С. А. Андреевский выступал редко. Но не могла не запомниться одна из его речей в таком процессе. Председательствовал в суде палач Крашенинников. Он позволял себе грубые реплики по адресу скромного, безукоризненно вежливого защитника.

Крашенинников как цербер следил за тем, чтобы в речах защитников не было никакой крамолы. Он не любил, но вынужден был терпеть цитаты из нелегальных изданий, если эти издания фигурировали как вещественные доказательства по делу. С. А. Андреевский был влюблен в стихи Пушкина. И вот случилось, что в одной из нелегальных книг, лежавших на столе с вещественными доказательствами, было то пятистишие из стихотворения Пушкина «К Чаадаеву», которое царская цензура долго и упорно не пропускала в печать. С. А. Андреевский искусно использовал это обстоятельство. Он закончил свою речь словами:

— Мой подзащитный глубоко верил в запрещенные цензурой слова поэта:

Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы.
Товарищ, верь, — взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена.

Эти стихи С. А. Андреевский не прочитал, а продекламировал, медленно, с глубоким чувством, отчеканивая каждое слово.

Говоря об Андреевском, я не могу не вспомнить его как поэта, писателя и литературоведа.

Андреевский был поэтом своеобразным, отличавшимся тонким анализом сложных душевных пережива-

ний. Его полные лиризма стихи привлекали в свое время читателей совершенной изысканной формой, налетом тихой грусти.

Мне пришлось повидать его и после февральской, и после Октябрьской революции. Он не был восхищен февральской революцией, не ходил на общие собрания адвокатов, а когда я спросил его, не предлагают ли ему какой-либо высокий пост, как некоторым другим адвокатам, он только брезгливо махнул рукой. Октябрьскую революцию он не мог понять. Но мысль об эмиграции не приходила ему в голову. Он не участвовал в саботаже Советской власти адвокатурой, но не мог и найти в новых условиях применения своим способностям. Как поэт он был весь в прошлом. Как адвокат он оказался неприспособленным к новым требованиям. К тому же он был уже стар и немощен. Он нуждался и вскоре — в 1918 году — умер. Мне рассказали об этом в 1921 году, когда я приехал в Петроград.

Я имел возможность посетить тогда А. Ф. Кони. Он бывал у Андреевского до конца его дней и, по-видимому (он не говорил об этом), материально поддерживал его.

Когда мы говорили об Андреевском, Кони сказал, что он ведет два списка. Один он озаглавил: «Друзья, которых больше нет», а другой — «Друзья, которые меня забыли». Он взял в руки первый из этих списков и сказал тихо, просто, без всякой аффектации:

— В этот список я внес Сергея Аркадьевича.

ДОСТОЕВСКИЙ И АДВОКАТУРА

Существовало в Петербургском совете присяжных поверенных правило, по которому каждый помощник, прежде чем стать присяжным поверенным, должен сделать два-три доклада на так называемых юридических конференциях — своего рода научных кружках, руководителями которых были наиболее опытные и теоретически подготовленные адвокаты.

Я посещал конференции, которыми руководил Лу-

арсаб Николаевич Андронников, и решил сделать доклад на тему: «Достоевский и адвокатура».

Я долго и тщательно готовился к этому докладу. Тезисы его были напечатаны и разосланы. Вопреки обычным конференциям, на которых присутствовало 10—12 человек, послушать мой доклад, заинтересовавшись темой, пришло около 200 присяжных поверенных и их помощников.

Как известно, Достоевский крепко не любил адвокатов. Он нарисовал злую и несправедливую карикатуру на известного передового деятеля-публициста, ученого и знаменитого адвоката Спасовича. Это им он возмущался в «Дневнике писателя», когда писал о суде над Кроненбергом. Это его он изобразил под фамилией «Фетюкович» как защитника Мити в «Братьях Карамазовых».

Ознакомление со взглядами Достоевского на адвокатов привело меня к анализу природы адвокатуры.

В докладе я увлекся недостаточно продуманной мною чисто психологической, оторванной от общественной роли адвокатуры концепцией. Я говорил, что существует внутреннее родство между душой адвоката и актера. Подобно тому, как актер сегодня играет убийцу, а завтра — жертву, сегодня обманщика, а завтра обманутого, и адвокат сегодня выступает защитником убийцы, а завтра гражданским истцом по делу об убийстве, т. е. обвинителем убийцы. Я упустил в докладе главное: политическое лицо адвокатуры, ее роль в жизни общества в то время.

Сопоставив «Преступление и наказание», «Бесов», «Братьев Карамазовых» и статьи в «Дневнике писателя» о деле Корниловой, выбросившей из окна четвертого этажа свою шестилетнюю падчерицу, и о деле Кроненберга, обвинявшегося в истязании своего ребенка, я задумался над вопросом, почему с таким жутким любопытством, с таким нечеловеческим проникновением, с тонкостью, которой мог позавидовать самый талантливый и опытный психиатр, исследовал Достоевский тон-

чайшие извилины сексуальных преступных переживаний Смердякова, Свидригайлова, Ставрогина.

В поисках ответа я вспомнил, что где-то когда-то я читал о каком-то грехе, который мучил всю жизнь Достоевского. Но как я ни напрягал свою память, не мог вспомнить, где именно и что я прочитал об этом. Я просмотрел десятки книг, в которых могли встретиться биографические сведения о Достоевском, но все было тщетно. Тогда я решил, что капризы памяти завели меня на ложный путь и что нигде этого не читал¹.

Как я уже писал, посетил А. Ф. Кони, лично знавшего Достоевского и Тургенева, но ничего от него не узнал.

Поиски привели меня к известному в то время литературному критику Акиму Волынскому. От него я узнал, что у Достоевского был с Тургеневым разговор о его «грехе», но что дело обстояло не так, как писал Манн. Волынский рассказал мне, что действительно какое-то личное переживание тяготило Достоевского в период его жизни в Петербурге, после возвращения из «Мертвого дома». Он казнил себя, не находил покоя. Тогда он рассказал о своем «грехе» другу, Нестеренко, и сказал, что решил публично покаяться. Нестеренко старался убедить Достоевского не делать этого. Он говорил Достоевскому, что у него, как великого писателя, имеется больший долг, чем долг перед своей совестью. Это — долг писателя перед Родиной и человечеством.

¹ После революции была опубликована «Исповедь Ставрогина». В 1946 году я прочитал в переводе статьи Томаса Манна «Достоевский — но в меру». Манн писал по поводу «Исповеди Ставрогина»: «Утверждают, что однажды Достоевский в разговоре со своим знаменитым собратом по перу, Тургеневым, которого он ненавидел и презирал за его западнические симпатии, признался в собственном грехе подобного рода; разумеется, это была ложь, которой он хотел испугать и смутить ясного духом, гуманного и глубоко чуждого всяким «сатанинским глубинам» Тургеневу» (Томас Манн. Соч. Т. 10. С. 333).

Значит, было где-то что-то написано, и память меня не обманула, ибо и Манн об этом прочитал. Но встал вопрос, — может, это была злостная клевета или, действительно, это была шутка мрачного гения Достоевского?

Достоевский согласился, но через некоторое время возобновил этот разговор и заявил, что он больше не может молчать. Тогда Нестеренко предложил ему следующий выход: пусть Достоевский расскажет о своем грехе человеку, которого считает злейшим своим врагом, и пусть этот человек поступит так, как захочет, т. е. будет молчать или расскажет об услышанном. Достоевский согласился. Он сказал Нестеренко, что расскажет обо всем Тургеневу, когда тот будет в Петербурге. Так он и сделал.

Тургенев, по словам Волынского, рассказал после смерти Достоевского об услышанном только некоему Переферковичу (переводчику на русский язык Талмуда). Переферкович же много лет спустя рассказал обо всем Акиму Волынскому.

После некоторого колебания Волынский передал мне содержание разговора Достоевского с Тургеневым.

В докладе я очень осторожно и сдержанно, в самой общей и неопределенной форме, сказал о тяжелых личных переживаниях Достоевского. Я не сказал, каких именно. Не рассказал и о моем разговоре с Волынским.

Доклад вызвал необычные на конференциях страстные прения. Одни хвалили докладчика, другие резко критиковали, говорили, что я, увлекшись психологическими изысканиями, создал какого-то абстрактного адвоката и не сумел показать прогрессивную роль русской адвокатуры. Заключительное слово сказал Л. Н. Андронников. Он построил его так: в докладе много интересного, подкупающего, нового. Все это способно увлечь доверчивых слушателей. Но это лишь усугубляет ошибки докладчика. Основная его ошибка — идеалистическая трактовка адвокатской профессии, отрыв ее от жизни, социальной среды, политической жизни общества, всего того, что определяюще влияет на практическую деятельность, на классовую заинтересованность адвокатов — выходцев из буржуазной и мелкобуржуазной среды. Не психология адвокатов влияет на их практику, а это практика создает их психологию. Не следовало докладчику, говорил Л. Н. Андрон-

ников, касаться личных переживаний Достоевского, тем более что неизвестно, каких именно, и видеть в них какую-то связь с отрицательным отношением Достоевского к адвокатам. Корни глубокой нелюбви Достоевским адвокатов надо искать в другом — в его политических взглядах.

Л. Н. Андронников был мягок к докладчику и непримиримо строг к его концепции.

Конференция закончилась поздно. Возбужденный и огорченный, выходил я из здания окружного суда. У выхода кто-то подошел ко мне и взял меня под руку. Я оглянулся. Это был Л. Н. Андронников.

Окружной суд находился на Литейном проспекте у самой набережной Невы. Через несколько минут мы с Андронниковым шли по направлению к Летнему саду. Были еще белые ночи. И эти ночи, и набережная, и Летний сад, и изредка встречавшиеся парочки — все напоминало «Белые ночи» Достоевского, еще более Пушкина, его «Медного всадника», его вдохновенные стихи:

Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное течение,
Береговой ее гранит,
Твоих оград узор чугунный
Твоих задумчивых ночей
Прозрачный сумрак, блеск безлунный...

Около двух часов мы ходили и разговаривали. Впрочем, я не столько разговаривал, сколько слушал. Луарсаб Николаевич мягко показал мне ошибочность моей «концепции адвокатской души». Он помог мне понять облик Достоевского, общественную роль адвокатуры, ограниченность взглядов Достоевского на адвокатов как только защитников уголовных преступников. Он говорил о положительной роли, которую адвокаты могут сыграть в условиях царизма, он не жалел и мрачных красок, говоря об отрицательных сторонах адвокатской массы.

Я навсегда сохранил теплое воспоминание о двух часах в петербургскую белую ночь на набережных Невы.

ДРАМЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
U.S.A.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
U.S.A.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
U.S.A.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
U.S.A.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
U.S.A.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
U.S.A.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
U.S.A.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
U.S.A.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
U.S.A.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
U.S.A.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
U.S.A.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
U.S.A.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
U.S.A.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
U.S.A.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
U.S.A.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
U.S.A.

СРЕДА

Кажется, одно общее ощущение всех присяжных заседателей в целом мире, а наших в особенности (кроме прочих, разумеется, ощущений), должно быть ощущение власти, или, лучше сказать, самовластия. Ощущение иногда пакостное, то есть в случае, если преобладает, над прочими. Но хоть и в незаметном виде, хоть и подавленное целою массою иных благороднейших ощущений, — все-таки оно должно крепиться в каждой заседательской душе, даже при самом высоком сознании своего гражданского долга. Мне думается, что это как-нибудь выходит из самых законов природы, и потому, я помню, ужасно мне было любопытно в одном смысле, когда только что установился у нас новый (правый) суд. Мне в мечтаниях мерещились заседания, где почти сплошь будут заседать, например, крестьяне, вчерашние крепостные. Прокурор, адвокаты будут к ним обращаться, заискивая и заглядывая, а наши мужички будут сидеть и про себя помалчивать: «Вон оно как теперь, захочу, значит, оправдаю, не захочу — в самое Сибирь».

И вот, однако же, замечательно теперь, что они не карают, а сплошь оправдывают. Конечно, это тоже пользование властью, даже почти через край, но в какую-то одну сторону, сентиментальную, что ли, не разберешь, — но общую, чуть не предвзятую у нас повсеместно, точно все сговорились. Общность «направ-

ления» не подвержена сомнению. В том и задача, что мания оправдания во что бы ни стало не у одних только крестьян, вчерашних униженных и оскорбленных, а захватила сплошь всех русских присяжных, даже самого высокого подбора, нобльменов и профессоров университета. Уже одна эта общность представляет прелюбопытную тему для размышлений и наводит на многообразные и, пожалуй, странные иногда догадки.

Недавно в одной из наших влиятельнейших газет, в очень скромной и очень благонамеренной статейке, была мельком проведена догадка: уж не наклонны ли наши присяжные, как люди, вдруг и ни с того ни с сего ощутившие в себе столько могущества (точно с неба упало), да еще после такой вековой приниженности и забитости, — не наклонны ли они подсолить вообще «властям», при всяком удобном случае, так, для игривости или, так сказать, для контраста с прошедшим, прокурору хоть например? Догадка недурная и тоже не лишенная некоторой игривости, но, разумеется, ею нельзя всего объяснить.

«Просто жаль губить чужую судьбу; человеки тоже. Русский народ жалостлив», — разрешают иные, как случалось иногда слышать.

Я, однако же, всегда думал, что в Англии, например, народ тоже жалостлив; и если и нет в нем, так сказать, слабосердости, как в нашем русском народе, то по крайней мере гуманность есть; есть сознание и живо чувство христианского долга к ближнему, и, может быть, доведенные до высокой степени, до твердого и самостоятельного убеждения; даже, может быть, более твердого, чем у нас, взяв во внимание тамошнюю образованность и вековую самостоятельность. Там ведь не «вдруг с неба» им столько власти свалилось. Да и самый суд-то присяжных они сами себе выдумали, ни у кого не занимали, веками утвердили, из жизни вынесли, не в виде дара получили.

А между тем там присяжный заседатель понимает, чуть только займет свое место в зале суда, что он не только чувствительный человек с нежным сердцем, но

прежде всего гражданин. Он думает даже (верно ли, нет ли), что исполнение долга гражданского даже, пожалуй, и выше частного сердечного подвига. Еще недавно общий гул пошел у них по всему королевству, когда присяжные оправдали одного явного вора. Общее движение страны доказало, что если и там возможны такие же приговоры, как и у нас, то появляются редко, как случаи исключительные и немедленно возмущающие общее мнение. Там присяжный понимает прежде всего, что в руках его знамя всей Англии, что он уже перестает быть частным лицом, а обязан изображать собою мнение страны. Способность быть гражданином — это и есть способность возносить себя до целого мнения страны. О, и там есть «жалостливость» приговора, и там принимается во внимание «заедающая среда» (кажется, любимое теперь учение наше) — но до известного предела, насколько допускает здоровое мнение страны и степень просвещения ее христианскою нравственностью (а степень-то, кажется, довольно высокая). Но зато, и весьма часто, тамошний присяжный, скрепя свое сердце, произносит приговор обвинительный, понимая прежде всего, что обязанность его состоит в том преимущественно, чтобы засвидетельствовать своим приговором перед всеми согражданами, что в старой Англии, за которую всякий из них отдаст свою кровь, порок по-прежнему называется пороком и злодейство — злодейством и что нравственные основы страны все те же, крепки, не изменились, стоят, как и прежде стояли.

— Даже хоть и предположить, — слышится мне голос, — что крепкие-то ваши основы (то есть христианские) все те же и что вправду надо быть прежде всего гражданином, ну и там держать знамя и проч., как вы наговорили, — хоть и предположить пока без спору, подумайте, откуда у нас взяться гражданам-то? Ведь сообразить только, что было вчера! Ведь гражданские-то права (да еще какие!) на него вдруг как с горы скатились. Ведь они придавили его, ведь они пока для него только бремя, бремя!

— Конечно, есть правда в вашем замечании, — от-

вечаю я голосу, несколько повеся нос, — но ведь опять-таки русский народ...

— Русский народ? Позвольте, — слышится мне другой голос, — вот, говорят, что дары-то с горы скатились и его придавили. Но ведь он не только, может быть, ощущает, что столько власти он получил как дар, но и чувствует, сверх того, что и получил-то их даром, то есть что не стоит он этих даров пока. Заметьте, это вовсе не значит, что и в самом деле он не стоит этих даров и что *не надо* или *рано* было одарять его; совсем даже напротив: это сам народ в своей смиренной совести сознает, что он недостоин даров таких, — и это смиренное, но высокое сознание народное о своей недостойности есть именно залог того, что он-то их и достоин. А покамест, в смирении своем, народ смущен. Кто заглядывал в сокровенные тайники его сердца? Может ли у нас хоть кто-нибудь сказать, что вполне знаком с русским народом? Нет, тут не одна только жалостливость и слабосердность, как изволите вы насмехаться. Тут сама эта власть страшна! Испугала нас эта страшная власть над судьбой человеческою, над судьбой родных братьев, и, пока вырастем до вашего гражданства, мы милуем. Из страха милуем. Мы сидим присяжными и, может быть, думаем: «Сами-то мы лучше ли подсудимого? Мы вот богаты, обеспечены, а случись нам быть в таком же положении, как он, так, может, сделаем еще хуже, чем он, — мы и милуем». Так ведь это еще, может быть, хорошо-с, умиление-то это сердечное. Это, может быть, залог к чему-нибудь такому высшему христианскому в будущем, чего еще и не знает мир до сих пор!

«Это, отчасти славянофильский голос», — рассуждаю я про себя. Мысль действительно утешительная, а догадка о смирении народном пред властью, полученною даром и дарованною пока «недостойному», уж конечно почище догадки о желании «поддразнить прокурора», хотя все-таки и эта догадка продолжает мне нравиться своим реализмом (конечно, принимая ее более в виде частного случая, как выставлял, впрочем, и сам автор ее), но... но вот что наиболее смущает меня, од-

нако: что это наш народ вдруг стал бояться так своей жалости? «Больно, дескать, очень приговорить человека». Ну и что ж, и уйдите с болью. Правда выше вашей боли.

В самом деле, ведь если уж мы считаем, что сами иной раз еще хуже преступника, то тем самым признаемся и в том, что наполовину и виноваты в его преступлении. Если он преступил закон, который земля ему написала, то сами мы виноваты в том, что он стоит теперь перед нами. Ведь если бы мы все были лучше, то и он бы был лучше и не стоял бы теперь перед нами...

— Так вот тут-то и оправдать?

Нет, напротив: именно тут-то и надо сказать правду и зло назвать злом; но зато половину тяготы приговора взять на себя. Войдем в залу суда с мыслью, что и мы виноваты. Эта боль сердечная, которой все теперь так бояться и с которою мы выйдем из залы суда, и будет для нас наказанием. Если истинна и сильна эта боль, то она нас очистит и сделает лучшими. Ведь сделавшись сами лучшими, мы и среду исправим и сделаем лучшею. Ведь только этим одним и можно ее исправлять. А так-то бежать от собственной жалости и, чтобы не страдать самому, сплошь оправдывать — ведь это легко. Ведь этак мало-помалу придем к заключению, что и вовсе нет преступлений, а во всем «среда виновата». Дойдем до того, по клубку, что преступление сочтем даже долгом, благородным протестом против «среды». «Так как общество гадко устроено, то в таком обществе нельзя ужиться без протеста и без преступлений». «Так как общество гадко устроено, то нельзя из него выбиться без ножа в руках». Ведь вот что говорит учение о среде в противоположность христианству, которое, вполне признавая давление среды и провозгласивши милосердие к согрешившему, ставит, однако же, нравственным долгом человеку борьбу со средой, ставит предел тому, где среда кончается, а долг начинается.

Делая человека ответственным, христианство тем самым признает и свободу его. Делая же человека зависящим от каждой ошибки в устройстве общественном,

учение о среде доводит человека до совершенной безличности, до совершенного освобождения его от всякого нравственного личного долга, от всякой самостоятельности, доводит до мерзейшего рабства, какое только можно вообразить. Ведь этак табаку человеку захочется, а денег нет — так убить другого, чтобы достать табаку. Помилуйте: развитому человеку, ощущающему сильнее неразвитого страдания от неудовлетворения своих потребностей, надо денег для удовлетворения их — так почему ему не убить неразвитого, если нельзя иначе денег достать? Да неужели вы не прислушивались к голосам адвокатов: «Конечно, дескать, нарушен закон, конечно, это преступление, что он убил неразвитого, но, господа присяжные, возьмите во внимание и то...» и т. д. Ведь уже почти раздавались подобные голоса, да и не почти...

— Ну, вы, однако же, — слышится мне чей-то язвительный голос, — вы, кажется, народу новейшую философию среды навязываете, это как же она к нему залетела? Ведь эти двенадцать присяжных иной раз сплошь из мужиков сидят и каждый из них за смертный грех почитает в пост оскоромиться. Вы бы уже прямо обвиняли их в социальных тенденциях.

«Конечно, конечно, где же им до «среды», то есть сплошь-то всем, — задумываюсь я, — но ведь идеи, однако же, носятся в воздухе, в идее есть нечто проникающее...»

— Вот на! — хохочет язвительный голос.

— А что, если наш народ особенно склонен к учению о среде, даже по существу своему, по своим, положим, хоть славянским наклонностям? Что, если именно он-то и есть наилучший материал в Европе для иных пропагаторов?

Язвительный голос хохочет еще громче, но как-то выделанно.

Нет, тут с народом пока еще только фортель, а не «философия среды». Тут есть одна ошибка, один обман, и в этом обмане много соблазна.

Обман этот можно разъяснить в таком виде, примером по крайней мере.

Положим, народ называет осужденных «несчастными», подает им гроши и калачи. Что же хочет он этим сказать, вот уже, может быть, в продолжение веков? Христианскую ли правду или правду «среды»? Именно тут-то и камень преткновения, именно тут-то и скрывается тот рычаг, за который с успехом мог бы ухватиться пропагатор «среды».

Есть идеи невысказанные, бессознательные и только лишь сильно чувствуемые; таких идей много как бы слитых с душой человека. Есть они и в целом народе, есть и в человечестве, взятом как целое. Пока эти идеи лежат лишь бессознательно в жизни народной и только лишь сильно и верно чувствуются, — до тех пор только и может жить сильнейшею живою жизнью народ. В стремлениях к выяснению себе этих сокрытых идей и состоит вся энергия его жизни. Чем непоколебимее народ содержит их, чем менее способен изменить первоначальному чувству, чем менее склонен подчиняться различным и ложным толкованиям этих идей, тем он могучее, крепче, счастливее. К числу таких сокрытых в русском народе идей — идей русского народа — и принадлежит название преступления несчастием, преступников — несчастными.

Идея эта чисто русская. Ни в одном европейском народе ее не замечалось. На Западе провозглашают ее теперь лишь философы и толковники. Народ же наш провозгласил ее еще задолго до своих философов и толковников. Но из этого не следует, чтобы он не мог быть сбит с толку ложным развитием этой идеи толковником, временно, по крайней мере с краю. Окончательный смысл и последнее слово останутся, без сомнения, всегда за ним, но *временно* — может быть иначе.

Короче, этим словом «несчастные» народ как бы говорит «несчастливым»: «Вы согрешили и страдаете, но и мы ведь грешны. Будь мы на вашем месте — может, и хуже бы сделали. Будь мы получше сами, может, и вы не сидели бы по острогам. С возмездием за преступле-

ния ваши вы приняли тяготу и за всеобщее беззаконие. Помолитесь об нас, и мы об вас молимся. А пока берите, «несчастные», гроши наши; подаем их, чтобы знали вы, что вас помним и не разорвали с вами братских связей».

Согласитесь, что ничего нет легче, как применить к такому взгляду учение о «среде»: «Общество скверно, потому и мы скверны; но мы богаты, мы обеспечены, нас миновало только случайно то, с чем вы столкнулись. Столкнись мы — сделали бы то же самое, что и вы. Кто виноват? Среда виновата. Итак, есть только подлое устройство среды, а преступлений нет вовсе».

Вот в этом-то софистическом выводе и состоит тот фортель, о котором я говорил.

Нет, народ не отрицает преступления и знает, что преступник виновен. Народ знает только, что и сам он виновен вместе с каждым преступником. Но, обвиняя себя, он тем-то и доказывает, что не верит в «среду»; верит, напротив, что среда зависит вполне от него, от его непрерывного покаяния и самосовершенствования. Энергия, труд и борьба — вот чем перерабатывается среда. Лишь трудом и борьбой достигается самобытность в чувство собственного достоинства. «Достигнем того, будем лучше, и среда будет лучше». Вот что невысказанно ощущает сильным чувством в своей сокрытой идее о несчастьи преступника русский народ.

Представьте же теперь, что если сам преступник, слыша от народа, что он «несчастный», сочтет себя только несчастным, а не преступником. Вот тогда-то и отшатнется от такого лжетолкования народ и назовет его изменою народной правде и вере.

Я бы мог представить и примеры тому, но отложим их пока и скажем так.

Преступник и намеревающийся совершить преступление — это два разные лица, но одной категории. Что же, если, приготовляясь к преступлению сознательно, преступник скажет себе: «Нет преступления!» Что, назовет его народ «несчастливым»?

Может, и назовет; без сомнения, назовет; народ жалостлив; да и ничего нет несчастнее такого преступни-

ка, который даже перестал себя считать за преступника: это животное, это зверь. Что ж в том, что он не понимает, что он животное и заморил в себе совесть? Он только вдвое несчастнее. Вдвое несчастнее, но и вдвое преступнее. Народ пожалеет и его, но не откажется от правды своей. Никогда народ, называя преступника «несчастливым», не переставал его считать за преступника! И не было бы у нас сильнее беды, как если бы сам народ согласился с преступником и ответил ему: «Нет, не виновен, ибо нет «преступления»!»

Вот наша вера, наша общая вера, хотелось бы мне сказать; вера всех уповающих и ожидающих. Прибавлю еще два слова.

Я был в каторге и видал преступников, «решенных» преступников. Повторяю, это была долгая школа. Ни один из них не переставал себя считать преступником. С виду это был страшный и жестокий народ. «Куражились», впрочем, только из глупеньких, новенькие, и над ними смеялись. Большею частью народ был мрачный, задумчивый. Про преступления свои никто не говорил. Никогда не слышал я никакого ропота. О преступлениях своих даже и нельзя было вслух говорить. Случалось, что раздавалось чье-нибудь слово с вызовом в вывертом, и — «вся каторга», как один человек, осаживала выскочку. Про *это* не принято было говорить. Но, верно говорю, может, ни один из них не миновал долгого душевного страдания внутри себя, самого очищающего и укрепляющего. Я видал их одиноко задумчивых, я видал их в церкви молящихся перед исповедью; прислушивался к отдельным внезапным словам их, к их восклицаниям; помню их лица, — о, поверьте, никто из них не считал себя правым в душе своей!

Не хотел бы я, чтобы слова мои были приняты за жестокость. Но все-таки я осмелюсь высказать. Прямо скажу: строгим наказанием, острогом и каторгой вы, может быть, половину спасли бы из них. Облегчили бы их, а не отяготили. Самоочищение страданием легче, — легче, говорю вам, чем та участь, которую вы делаете многим из них сплошным оправданием их на суде. Вы

только вселяете в его душу цинизм, оставляете в нем соблазнительный вопрос и насмешку над вами же. Вы не верите? Над вами же, над судом вашим, над судом всей страны! Вы вливаете в их душу безверие в правду народную, в правду божью; оставляете его смущенного... Он уходит и думает: «Э, да вот как теперь, нету строгости. Поумнели, знать. Боятся, может. Значит, оно можно и в другой раз так же. Понятно, коли я был в такой нужде — как же было не своровать».

И неужто вы думаете, что, отпуская всех сплошь невиновыми или «достойными всякого снисхождения», вы тем дадите им шанс исправиться? Станет он вам исправлялся! Какая ему беда? «Значит, пожалуй, я и не виновен был вовсе» — вот что он скажет в *конце концов*. Сами же вы натолкнете его на такой вывод. Главное то, что вера в закон и в народную правду расшатывается.

Еще недавно я жил несколько лет сряду за границей. Когда я выехал из России, новый суд только что у нас начинался. С какой жадностью я читал там все, что касалось русских судов, в наших газетах. За границей я тоже с горечью смотрел на наших абсентеистов; на детей их, не знающих родного языка или забывающих его. Мне ясно было, что половина их самую силою вещей обратится под конец в эмигрантов. Об этом мне всегда было больно думать: столько сил, столько, может быть, лучших людей, а у нас так нуждаются в людях! Но иногда, выходя из читальной залы, ей-богу, господи, я невольно мирился с абсентеизмом и абсентеистами. Сердце поднималось до боли. Читаешь — там оправдали жену, убившую мужа. Преступление явное, доказанное; она сознается сама: «Нет, не виновна». Там молодой человек разламывает кассу и крадет деньги. «Влюблен, дескать, очень был, надо было денег добыть, любовнице угодить». — «Нет, не виновен». И хоть бы все эти случаи оправдывались состраданием, жалостью: то-то и есть, что не понимал я причин оправдания, путался. Впечатление выносилось смутное и — почти оскорбительное. В эти злые минуты мне представлялась иногда Россия какой-то трясиной, болотом, на котором кто-то

затеял построить дворец. Снаружи почва как бы и твердая, гладкая, а между тем это нечто вроде поверхности какого-нибудь горохового киселя, ступите — и так и скользнете вниз, в самую бездну. Я очень упрекал себя за мое малодушие; меня ободряло, что все-таки я издали могу ошибаться, что все-таки я покамест тот же абсентеист, не вижу близко, не слышу ясно...

И вот я давно уже снова на родине.

«Да полно, жалко ли им в самом деле» — ведь вот вопрос! Не смейтесь, что я придаю такую важность ему. «Жалость» по крайней мере хоть что-нибудь и как-нибудь объясняет, хоть из потемок выводит, а без этого последнего объяснения — одно недоумение, точно мрак, в котором живет какой-то сумасшедший.

Мужик забивает жену, увечит ее долгие годы, ругается над нею хуже, чем над собакой. В отчаянии решившись на самоубийство, идет она почти обезумевшая в свой деревенский суд. Там отпускают ее, промямлив ей равнодушно: «Живите согласнее». Да разве это жалость? Это какие-то тупые слова проснувшегося от запоя пьяницы, который едва различает, что вы стоите пред ним, глупо и беспредметно машет на вас рукой, чтобы вы не мешали, у которого еще не ворочается язык, чад и безумие в голове.

История этой женщины, впрочем, известна, слишком недавняя. Ее читали во всех газетах и, может быть, еще помнят. Просто-запросто жена от побоев мужа повесилась; мужа судили и нашли достойным снисхождения. Но мне долго еще мерещилась вся обстановка, мерещится и теперь.

Я все воображал себе его фигуру: сказано, что он высокого роста, очень плотного сложения, силен, белокур. Я прибавил бы еще — с жидкими волосами. Тело белое, пухлое, движения медленные, важные, взгляд сосредоточенный; говорит мало и редко, слова роняет как многоценный бисер и сам ценит их прежде всех. Свидетели показали, что характера был жестокого: поймает курицу и повесит ее за ноги, вниз головой, так, для удовольствия: это его развлекало: превосходная харак-

тернейшая черта! Он бил жену чем попало несколько лет сряду — веревками, палками. Вынет половицу, просунет в отверстие ее ноги, а половицу притиснет и бьет, и бьет. Я думаю, он и сам не знал, за что ее бьет, так, по тем же, вероятно, мотивам, по которым и курицу вешал. Морил тоже голодом, по три дня не давал ей хлеба. Положит на полку хлеб, ее подзовет и скажет: «Не смей трогать хлеба, это *мой* хлеб», — чрезвычайно характерная тоже черта! Она побиралась с десятилетним ребенком у соседей: дадут хлебца — поедят, не дадут — сидят голодом. Работу с нее спрашивал; все она исполняла неуклонно, бессловесно, запуганно и стала наконец как помешанная. Я воображаю и ее наружность: должно быть, очень маленькая, исхудавшая, как щепка, женщина. Иногда это бывает, что очень большие и плотные мужчины, с белым, пухлым телом, женятся на очень маленьких, худеньких женщинах (даже наклонны к таким выборам, я заметил), и так странно смотреть на них, когда они стоят или идут вместе. Мне кажется, что если бы она забеременела от него в самое последнее время, то это была бы еще характернейшая и необходимейшая черта, чтобы восполнить обстановку; а то чего-то как будто недостает. Видали ли вы, как мужик сечет жену? Я видал. Он начинает веревкой или ремнем. Мужичья жизнь лишена эстетических наслаждений — музыки, театров, журналов; естественно, надо чем-нибудь восполнить ее. Связав жену или забив ее ноги в отверстие половицы, наш мужичок начинал, должно быть, методически, хладнокровно, сонливо даже, мерными ударами, не слушая криков и молений, то есть именно слушая их, слушая с наслаждением, а то какое было бы удовольствие ему бить? Знаете, господа, люди рождаются в разной обстановке: неужели вы не поверите, что эта женщина в другой обстановке могла бы быть какой-нибудь Юлией или Беатриче из Шекспира, Гретен из Фауста? Я ведь не говорю, что была, — и было бы это очень смешно утверждать, — но ведь могло быть в зародыше и у ней нечто очень благородное в душе, пожалуй, не хуже, чем и в благородном сословии: лю-

бящее, даже возвышенное сердце, характер, исполненный оригинальнейшей красоты. Уже одно то, что она столько медлила наложить на себя руки, показывает ее в таком тихом, кротком, терпеливом, любящем свете. И вот эту-то Беатриче или Гретхен секут, секут как кошку! Удары сыплются все чаще, резче, бесчисленнее; он начинает разгорячаться, входить во вкус. Вот уже он озверел совсем и сам с удовольствием это знает. Животные крики страдальцы хмелят его как вино: «Ноги твои буду мыть, воду эту пить», — кричит Беатриче нечеловеческим голосом, наконец затихает, перестает кричать и только дико как-то кряхтит, дыхание поминутно обрывается, а удары тут-то и чаще, тут-то и садче... Он вдруг бросает ремень, как ошалелый схватывает палку, сучок, что попало, ломает их с трех последних ужасных ударов на ее спине, — баста! Отходит, садится за стол, вздыхает и принимается за квас. Маленькая девочка, дочь их (была же и у них дочь!), на печке в углу дрожит, прячется: она слышала, как кричала мать. Он уходит. К рассвету мать очнется, встанет, охая и вскрикивая при каждом движении, идет доить корову, тащится за водой, на работу.

А он ей уходя своим методическим, медленным и важным голосом: «Не смей есть этот хлеб, это *мой* хлеб».

Под конец ему нравилось тоже вешать ее за ноги, как вешал курицу. Повесит, должно быть, а сам отойдет, сядет, примется за кашу, поест, потом вдруг опять возьмет ремень и начнет, и начнет висячую... А девочка все дрожит, скорчившись на печи, дико заглянет украдкой на повешенную за ноги мать и опять спрячется.

Она удавилась в мае поутру, должно быть, в ясный весенний день. Ее видели накануне избитую, совсем обезумевшую. Ходила она тоже перед смертью в волостной суд, и вот там-то и проямлили ей: «Живите согласнее».

Когда она повесилась и захрипела, девочка закричала ей из угла: «Мама, на что ты давишься?» Потом робко подошла, окликнула висевшую, дико осмотрела ее и

несколько раз в утро подходила из угла на нее смотреть, до самых тех пор, пока воротился отец.

И вот он перед судом — важный, пухлый, сосредоточенный; запирается во всем: «Душа в душу жили», — роняет он ценным бисером редкие слова. Присяжные выходят и по «кратком совещании» выносят приговор: «Виновен, но *достойн снисхождения*».

Заметьте, что девочка свидетельствовала против отца. Она рассказала все и исторгла, говорят, слезы присутствующих. Если бы не «снисхождение» присяжных, то его сослали бы на поселение в Сибирь. Но с «снисхождением» ему только восемь месяцев пробыть в остроге, а там воротится домой и потребует к себе свидетельствовавшую против него за мать девочку. Будет кого опять за ноги вешать.

«Достойн снисхождения!» И ведь этот приговор дан зазнамо. Знали ведь, что ожидает ребенка. К кому, к чему снисхождение? Чувствуешь себя как в каком-то вихре; захватило вас и вертит, и вертит.

Постойте, расскажу еще анекдот.

Когда-то, еще до новых судов (впрочем, незадолго до них), прочитал я в наших газетах вот какой один фактик: мать таскала на руках ребенка годового или четырнадцати месяцев. В этот возраст идут зубки; дети нездоровы, плачут и очень мучаются. Надоел ребенок матери, может, и дела у ней было много, а тут таскай его на руках и слушай его раздражающий плач. Озлилась она. А впрочем, неужто бить за это такого маленького ребеночка? Ведь так жалко прибить его, и что он смыслит? Ведь он так беспомощен, зависит от последней пылинки... Ведь и не уймешь, коли прибьешь: он зальется своими слезками и вас же обхватит ручками, а то вас же начнет целовать, и плачет, и плачет. Но она не прибила его, а там в комнате кипел самовар. Она поднесла ручку ребенка под самый кран и отвернула кран. Она выдержала ручку под кипятком секунд десять.

Это факт, я читал. Но вот представьте, что это случилось теперь и эту женщину вызвали в суд. Присяжные

удаляются и «по кратком совещании» выносят приговор: «Достойна всякого снисхождения».

Ну, представьте это себе; я по крайней мере матерей приглашаю представить. То-то, должно быть, вертелся бы тут адвокат:

— Господа присяжные, конечно, случай этот нельзя назвать вполне гуманным, но возьмите дело в его целости, представьте среду, обстановку. Эта женщина бедна, одна в доме работница, терпит неприятности. Ей не на что было даже няньку нанять. Естественно, что под такую минуту, когда злоба от заевшей среды входит, так сказать, внутрь, господа, естественно, что она и поднесла ручку под кран самовара... ну и... и...

О, конечно, я понимаю всю полезность и всю высоту адвокатского звания, всеми уважаемого. Но нельзя же не взглянуть иногда с одной точки, — согласен, легкомысленной, но и невольной: ведь какова же иногда их должность каторжная, подумаешь про себя, вертится, изворачивается как уж, лжет против своей совести, против собственного убеждения, против всякой нравственности, против всего человеческого! Нет, подлинно недаром деньги берут.

— Да подите! — восклицает вдруг давешний язвительный голос. — Ведь все это вздор и одна только ваша фантазия. Никогда не выносили такого приговора присяжные. Никогда не вертелся адвокат. Всё напредставили.

А жена, привешенная вверх ногами как курица, а «это *мой* хлеб, не смей есть его», а девочка, дрожащая на печи, полчаса слушающая крики матери, а «мама, на что ты давишься?» — это разве не то же самое, что и ручка под кипятком? Ведь *почти* то же самое!

«Неразвитость, тупость, пожалуйста, среда», — настаивал адвокат мужика. Да ведь их миллионы живут и не все же вешают жен своих за ноги! Ведь все-таки тут должна быть черта... С другой стороны, вот и образованный человек, да сейчас повесит. Полноте вертеться, господа адвокаты, с вашей «средой».

ДЕТОУБИЙСТВО

— Страшно! За человека страшно! Что делают присяжные заседатели? — снова раздаются вопли и завывания.

Суд присяжных снова под судом и следствием. Преступник-рецидивист, он снова совершил тягчайшее из преступлений: оправдал виновного.

— И кого оправдал!.. Мать-изверг... Задушила собственного ребенка... С любовником жить захотела!.. Гулять, веселиться!.. Распутница!.. Ребенку засунула пробку в горло!.. Спокойно гуляла, когда ребенок у нее на руках задыхался... И оправдали!.. Не страшно?..

Оставим эти вопли и эти завывания и посмотрим, как дело происходило в действительности, что выяснилось на суде перед оправдавшими «мать-изверга» присяжными.

Шестнадцати лет Мария Татаринова была выдана в деревне замуж, и семнадцати лет муж привез ее в Петербург.

Муж Татариновой человек «непостоянный», «неосновательный», «можно сказать, ветер», по показаниям односельчан.

Он лентяй, к тому же выпивает и нигде не уживается на местах. Нанимается в извозчики, служит в младших дворниках, ходит поденщиком, но по большей части «находится без места» и живет на счет своей жены.

Марья работает на табачной фабрике Лаферм и по-

лучает 40 копеек в день. В воскресенье и праздники работы нет, в общем она зарабатывает в месяц 10 рублей.

Она нанимает в кухне «угол» и платит за него 2 рубля в месяц. На остальные восемь она содержит себя и мужа.

Так длится два года.

Все это время Марья живет на одной и той же квартире, где ее держат, как жилищу «тихого и скромного поведения». Марья, по удостоверению квартирной хозяйки, «никуда не отлучалась по вечерам и даже в праздники».

Семнадцати-, потом восемнадцатилетняя женщина работает не покладая рук, бьется, перебивается, содержит на восемь рублей себя и лентяя мужа.

Эта жизнь впроголодь, наконец, надоедает мужу. Он объявляет, что желает ехать искать счастья в другое место. Желает ехать один. И денег на дорогу просит у той же жены.

Без мужа, «одному рту», на восемь рублей все же будет легче прожить. Марья продает и закладывает все, что у нее было, — тряпье и самовар, единственное имущество, и дает мужу семнадцать рублей. Муж прощается и уходит.

Теперь у нее ничего нет, но зато она хоть одна.

Как вдруг через несколько дней муж возвращается.

— Не уехал?

— Остался.

— Где семнадцать рублей?

— Пропил.

Последнее, что было, ушло. Теперь она нищая. И для чего? Чтоб муж все пропил!

Марья заплакала. Вероятно, горько.

В эту минуту отчаяния к восемнадцатилетней миловидной женщине и обратился с утешением сосед Гомиловский:

— Что вам так страдать и мучиться? Вы бы лучше со мной сошлись. Я вас любить буду. Будете жить припеваючи!

Гомиловский «мастеровой человек», квартирмейстер в отставке, 34 лет, служит машинистом на электрической станции, получает «отличное жалованье» — 45 рублей в месяц и среди «угловых жильцов» аристократ и особа: снимает целую комнату и платит за нее восемь рублей в месяц.

Он человек молодой, холостой:

— Мне поэтому все можно!

Он желает пользоваться жизнью, но «денег чтобы при этом не тратить».

Сошедшаяся с ним Марья продолжает, как «недостойная его», жить в своем углу, платя два рубля за месяц, и только на ночь, когда Гомиловский дома, свободен от службы и расположен, он допускает Марью в свою «горницу».

Как состоятельный и богатейший среди окружающих, Гомиловский пользуется почетом и кредитом: он забирает в лавочке «на книжку» и из «снисхожденья» позволяет Марье пользоваться книжкой, причем за все, ею забранное, Марья должна платить сама своими восемью рублями.

Она продолжает работать на фабрике за сорок копеек в день.

— Требовательна была Марья? — спрашивают у Гомиловского на суде.

— Совершенно верно. Очень требовательна.

— Что ж она от вас требовала?

— Нарядов.

— Например?

— Башмаки просила купить, а то ходить не в чем. Платок просила купить, а то холодно.

— Что ж, вы ей купили?

— Нет, не купил.

И поясняет:

— Зачем же я ей покупать буду? Разве она мне жена?

Он требовал от этой нищей, чтоб она жила с ним, думая только об «удовольствии».

Гомиловский презирал Марью и даже в то время,

когда пользовался ее ласками, показывал ей, насколько она низка, читал ей нравоучения:

— Я холостой человек, мне все можно. А ты чужая жена, как же ты себя ведешь? Со мною живешь.

Он считал ее «женщиной развратной», потому что она «с ним жила».

— Что ж это? Выродок, что ли, какой?

Ничего подобного. Обыкновенный «майстровой». Встречаясь и знакомясь друг с другом, холостой мастеровой спрашивает другого:

— Тварь имеете?

— Нельзя же без шкуры! — сплевывая в сторону, отвечает тот.

Это «понятия среды».

Все идет хорошо. Гомиловский пользуется миловидной восемнадцатилетней женщиной, которая ему, в сущности, ни копейки не стоит, как вдруг Марья забеременела.

Гомиловский видит, что дело плохо, пожалуй, еще на ребенка требовать будут, и уже во время беременности Марьи старается «увильнуть»:

— А я почему знаю, что ты носишь моего ребенка! Ты — мужняя жена. Может, от мужа!

— Да ведь я забеременела через месяц после отъезда мужа!

— Ну, может, от другого кого! Почему я знаю. Ты женщина развратная: со мной живешь, может, и с другим с кем!

Беременная Марья почти до последнего дня ходит на фабрику и работает.

Родить она отправляется в приют. Гомиловский, отец ее ребенка, не дает ей ни копейки, так что через два дня по разрешении от бремени Марье дали в приюте на извозчика.

Больная, с ребенком на руках, Марья приехала уж прямо в комнату Гомиловского и легла на его постель: она привезла к нему его ребенка.

Это остервенило Гомиловского. Это уж разрушало все его планы на жизнь.

Вернувшись домой, он вышвырнул Марью из своей «горницы».

Напрасно она умоляла его:

— Дай хоть отлежаться после родов. Отлежусь, поправлюсь, хоть шитьем что-нибудь заработаю и уйду.

— Вон!

Гомиловскому надо было действовать энергично: тут нельзя мямлить. Дай ей несколько деньков полежать, потом уж не выгонишь, придется, пожалуй, кормить, тратить деньги. «Твой, скажет, ребенок, сам же не гнал меня, когда родила». Надо было гнать сейчас же, «чтоб духом ее не пахло».

Гомиловский обратился с требованием к квартирным хозяевам:

— Сегодня же чтоб ее в квартире не было. Она теперь с ребенком, заработать ничего не может, чем она заплатит? А я, имейте в виду, платить за нее не буду.

Но и этого было мало:

— У нее и паспорту срок. Как вы ее можете держать? Вы за это отвечать будете! Сейчас же вон гоните!

Квартирная хозяйка исполнила бы требование «хорошего жильца», но ей жаль стало больной женщины, и она приютила ее на кухне в углу.

— Поесть что-нибудь, по книжке взять пошлите! — просила Марья.

Но Гомиловский распорядился уже, чтоб по книжке Марье ничего не отпускали. Чтоб потом «не каяться», женщину необходимо было добивать.

— С голоду уйдет!

Квартирная хозяйка «от жалости» давала ей объедки; семь дней лежала Марья в кухне, в углу, питаясь этими объедками.

По истечении семи дней, больная, не вылежавшись как следует, не оправившись после родов, Марья с ребенком пошла ходить искать себе места.

Любила ли эта девятнадцатилетняя мать своего ребенка?

До безумия.

Она не спускала его с рук, целовала, сшила ему из

последнего одеяльце, рубашонку, чепчик, наряжала его в тряпочки, какие только находились; у нее был старый шелковый платок, единственная роскошь, — она повязывала им голову ребенка, любовалась, какой он славный да хороший...

— С ребенком?

— С ребенком.

— Куда ж мы тебя, матушка, возьмем с ребенком?

С ребенком Марью никуда не брали. Больная, измученная, усталая, истомленная, она «без ног» возвращалась вечером домой, подъедала объедки, которые ей давала хозяйка, и ложилась спать, чтоб назавтра снова без всякой пользы начать колесить по Петербургу.

— Да ты б ребенка в воспитательный дом!

Марья ходила в воспитательный. Там сказали:

— Записан законным! Надо внести двадцать пять рублей.

Марья обратилась к Гомиловскому:

— Дай хоть Клавдию-то отдать. С голода ведь мы умрем с нею.

Гомиловский отвечал:

— Таких Клавдий да Аннушек у меня десять штук будет. Если на каждую по двадцать пять рублей давать — двести пятьдесят рублей выйдет. А это уж целый капитал!

Марья свалилась.

У нее началась какая-то послеродовая болезнь. Молоко пропало. Голодный ребенок умирал около голодной матери.

Если было что продать, Марья покупала на копейку молочка.

Этой порцией, достаточной для котенка, кормилась девочка.

Если не было копейки, Марья выпросит кусок сахара, разведет в теплой водице и попоит ребенка.

С квартиры выгнать не удалось. Голод не помогает. Гомиловскому осталось одно: он начал колотить голодную, больную женщину.

— Уходи! Жить ты мне не даешь, жить!

Он говорил:

— Какая ты есть женщина, ежели ты дохлая кошка? Мне девушка нужна. Со мной девушка жить будет!

Издеваясь над нею, он добавлял иногда:

— Сбудь ребенка, тогда придешь! А с ребенком на что ты мне! Какое от тебя удовольствие?

Избитая, истощенная болезнью и голодом, девятнадцатилетняя женщина тем не менее встала и поправилась.

Тут новая беда: срок паспорту кончился, нового не дают, муж требует Марью к себе, в Ростов-на-Дону.

Требует, но денег на дорогу не высылают:

— Приезжай, как хочешь, но приезжай!

— Господи, как я мужу на глаза-то покажусь с ребенком? — рыдает Марья, а Гомиловский «рассудительно» говорит:

— Он муж твой законный! Требует, значит, должна ехать!

— Да на что ж я поеду?

Тут уж квартирные хозяева и «угловые жильцы» хоть и с почтеньем относились к «первому жильцу», но возмутились:

— Да хоть на дорогу дайте бабе: ведь жили!

Гомиловский увидел, что ничего не поделаешь: дал «в окончательный расчет» Марье 10 рублей, чтобы к мужу уезжала и никаких больше претензий не имела.

— Ведь ваш ребенок, ваш же! — стыдили его «угловые жильцы».

— Я для нее ничего не жалел! — говорит Гомиловский. — И на ребенка ей дал рубль.

Из этих 11 рублей пять Гомиловский, провожая Марью, отобрал у нее обратно:

— Самому деньги в те поры нужны были.

И вот Марья с шестью рублями и с ребенком на руках осталась на улице.

Что делать?

На шесть рублей в Ростов-на-Дону не доедешь. Назад вернуться нельзя: с Гомиловским все кончено, и квартирная хозяйка не пустит: «Ведь уехала, матушка,

сказала, что совсем, и одиннадцать рублей получила». К себе в деревню ехать: там никого нет, мать и та бросила деревню, жили они, по показанию односельчан, «страшно бедно». В Петербурге есть брат, но тому самому есть нечего, его:

— Посетило несчастье: третий год дети нарождаются!

Без паспорта, с ребенком нигде не возьмут. Что же? Голодная смерть и ей и ребенку? Могла ли при таких условиях истощенная голодом, болезнью, побоями, только что вставшая с постели после тяжелой болезни девятнадцатилетняя женщина обезуметь от ужаса, от отчаяния?

Могла ли она не обезуметь, вышвырнутая с ребенком умирать на улицу?

Она рассталась с Гомиловским утром и целый день, не евши, бродила по городу, сидела где-то на скамейке и думала.

Какие другие мысли, кроме полных отчаяния, до безумия доводящих мыслей, могли приходить ей в голову? Как она совершила преступление? Марья Татаринова говорит, что она задушила ребенка платком, тем старым шелковым платком, которым она повязывала голову ребенка, любуясь: «Какая Клавдюшечка хорошая да пригожая».

При вскрытии в горле ребенка найдена пробка.

Марья Татаринова говорит, что ребенок часа три умирал у нее на руках, пока не задохся.

Ребенок, падая в отхожее место, ударился головой о доски, и при вскрытии у него оказалось «прижизненное кровоизлияние». Если б пробка находилась у него в горле три часа, он не мог бы быть живым, когда его бросили. Значит, его придушили и сейчас же кинули.

Почему ребенок оказался голым? Сняла ли она с него все или из дома захватила его без рубашки, завернув голого в одеяло, Марья и этого не знает.

Как убивала, сколько времени это длилось, Марья ничего этого сказать не может. Это было безумие, когда она не соображала, не знала, что делала.

Трое суток после этого обезумевшая Марья бродила по городу.

Не евши: все деньги, данные Гомиловским, оказались у нее в целости.

В каком она была состоянии?

Мы знаем только из показаний одной Марьиной знакомой, что Марья зашла к ней в эти дни, пробыла часа два и была «очень груба».

— Все два часа просидела молча на сундуке, не отвечала на вопросы, словно ничего не слышала. Встала и ушла.

Целые дни Марья бродила по улицам, а как стемнеет, шла к тому дому, где бросила ребенка, к ужасной могиле:

— Подойду к отхожему месту, стою и плачу.

Через три дня ее встретил на улице Гомиловский, простоволосую, без платка, странную, без ребенка.

— Куда идешь?

— Угол ишу.

Гомиловский при виде женщины, с которой он жил, позабыл благоразумие и повел ее к себе для «удовольствия»:

— Пойдем в квартиру, может, тебе опять угол сдадут.

Он привел ее «измученною, голодною», по показанию квартирной хозяйки, и не пошел даже на службу, остался ночевать.

Но наутро Гомиловский протрезвел. Не заплатить бы дорого за удовольствие. Черт знает что такое! Избавился от женщины, теперь опять из-за минутного увлечения испортил все дело. Наутро всегда думается необыкновенно «трезво».

И к тому же странная какая-то. На вопрос о ребенке отвечает волнуясь:

— Чиновнику отдала, с кокардой.

— А метрическое свидетельство где? — спокойно и рассудительно спрашивает Гомиловский.

— Метрики не отдала. Метрика вот.

«Дело плохо! Надо сбыть бабу. Бог знает, что она с ребенком сделала. Не быть бы в ответе».

Гомиловский грозит Марье полицией, зовет дворника:

— Вы спросите у них, есть ли вид на жительство?

Марья сама сознается во всем и ведет полицию ука-зать, куда бросила ребенка.

Когда его, разлагающегося, вынимают из отхожего места, Марья, по показанию очевидцев, «в иступлении с криком бросилась» к покрытому нечистотами труп-ику, и ее «силой пришлось оторвать от трупа».

Вот вам и вся «женщина-изверг», «развратница», «содержанка», вот вам ее «веселая жизнь» и «ненависть к малютке».

Вот истинная обстановка дела, та, которая откры-лась на суде пред присяжными.

Вы присяжный, — положи руку на сердце, могли бы вы обвинить мать, обезумевшую от ужаса и отчаяния, выкинутую на улицу, обреченную с ребенком на голод-ную смерть, — могли бы вы обвинить ее, особенно если рядом остается совершенно безнаказанным отец, спо-койно обрекший их на смерть?

Не проснулся бы в вашей совести вопрос:

— Кто же истинный-то убийца? Кто виновник пре-ступления?

И снова присяжные вынесли обвинительный приго-вор.

Оправдав жертву, доведенную до преступления, они тем самым ответили:

— Виновен тот, кто довел ее до этого. Они обвинили этим, правда, не того, кто сидел на скамье подсудимых, но разве они виноваты в том, что на скамью подсудимых посадили не того, кого следовало?

ЗАЩИТНИК ВДОВ И СИРОТ

(Тип)

Это проворный и быстрый господин. Снять с его адвокатского фрака значок — получился бы образцо-вый распорядитель кафешантана с кабинетами.

— Кабинетик вам? Господину кабинет с кушеточкой!

Он говорил вдохновенно, с глазами, подернутыми слезой:

— Святому делу служу-с! И на этот фрак-с потрепанный, старый, засаленный как на белую тогу весталки гляжу! Дон Кихот! И этот старый, заношенный фрак — для меня рыцарские доспехи. Защитник вдов и сирот-с!

И он вздохнул, говоря о своей добродетели, как о неизлечимой болезни.

«Что ж, мол, делать, ежели меня маменька в этакой золотухе родила?»

— Кругом война за существование. Жестокая культура-с! — продолжал он. — Возводят дома высоченные, паровозы-с сломя голову мчатся. Фабрики-с — словно огромные музыкальные табакерки — внутри все колесики, зубчики, валики вертятся, день и ночь неумолчно песню в честь всесильного золота поют. Пароходы Левиафаны по рекам плавают. И из-под холодных, бездушных, сверкающих сталью машин-с теплая и живая человеческая кровь брызжет. Там дом рухнул, там поезд под откос кувыркком полетел, там пароход объят пламенем. Убитые, раненые! Совсем война-с. И среди этой войны за существование мой домик-с — палатка «Красного Креста», разбитая на поле битвы-с. Перевязочный пункт. Идут ко мне без ног, тянутся ко мне без рук. Вдовица идет, поливая путь слезами. Сироту ведут.

Он сам смахнул слезу, словно досаду: эх нынче добродетель-то у меня как разыгралась!

— Иначе на свой фрак смотрю-с. Я на торжище миллионеров не иду-с. Толстой суммы не защищаю-с. В права владения миллионными наследствами не ввожу-с. У них клиенты с избытком благ земных, — у моих клиентов и необходимого нет-с: руки, ноги не все. У меня ни одного целого клиента нет. Что ни клиент, то без купона!

— Как без купона?

— Без купона. Купонами это я руки и ноги называю. Человек есть акция. А на нем купоны растут: руки, ноги.

Мелкие купончики: пальцы, ребрышки. Отрезало руку, — купон отрезан. Я предъявляю его ко взысканию. Другой раз, знаете, едешь на дачу, на платформе размечтаешься: сколько народу ходит, купонами машут. Может быть, этот самый поезд — р-раз, и нарежет купонов. До того иной раз замечтаешься, скажешь мужичку: «Чего купонами машешь? Иди осторожнее». У меня ведь пассажир больше третьего класса. Там, для первого, другие адвокаты есть. Адвокаты для богатых. Ко мне идут с билетом третьего класса!

Он задумался, снова вздохнул и сказал:

— Я так думаю, что, если бы во Франции жил, — из меня непременно бы Жорес вышел!

Я был растроган:

— Что же, страждущие сами к вам притекают или как?

Он отвечал с умилением:

— Помощь страждущему, — нуждающемуся, бедствующему требует уничтожения-с! Я в газетах не как другие, я не политику читаю-с, не фельетон занимательный, не в передовой статье игрой ума восхищаюсь. Я читаю-с отдел низменный, презренный. «Дневник происшествий». Кухарке уподобляюсь. Он самым мелким шрифтом печатается-с. Он кровью написан-с. Кровью человеческой! Где рабочий упал с крыши, где во время сцепки вагонов составителя буферами придавило. Он, этот отдел, написан не литературным языком, не в блестящем стиле. Словно писарь участковый писал: «Сего числа в районе такой-то части произошло упадение лесов...» А я сердцем в этих неуклюжих протокольных фразах стоны слышу. Живой, человеческий стон рабочего Ивана Степанова, которому «при падении лесами прищемило ногу». Я вижу эту ногу! И иду! И иду!

— Сами идете?

Он улыбнулся улыбкой горькой и саркастической.

— Этика воспрещает адвокату самому за клиентами ходить. Жестокая выдумка — этика! Жестокая, ибо сытая. Человеку страдающему, человеку, на которого рухнули леса, человеку, которому прищемило ногу,

руку помощи предложить этика воспрещает! Самому ходить нельзя. У меня увечные ходят!

— Как увечные?

— Из бывших клиентов особенно достопримечательные экземпляры отбираю и на жалованье держу. Различных есть категорий увечные для затравки. Есть на одной ноге, есть которые без руки. Один совсем даже ползающий имеется. Вдовицы также содержатся. И при вдовицах сироты.

— Все на службе у вас?

— Штат! Увечному человеку нет большего первого утешения, как такого же увечного встретить. Уверяю вас, что человеку на одной ноге даже противно смотреть на человека, у которого две ноги. Как нам на урода. «Сколько у него ног!» Тогда как вид одноногого человека в нем возбуждает радость: «Наш брат, одноногий!» Сейчас у них и общая тема для оживленнейшего разговора есть — нога! «Тебе как ногу отрезало?» — «Мне паровозом». — «Да, и мне паровозом». И одноногий одноному говорит: «Спасибо, мне еще адвокат такой-то помог. Деньги взыскал. Он по этой части ходок. Иди к адвокату такому-то!» Одноногий одноному всегда поверит! Свой человек и живой пример!

Голос его зазвучал даже вдохновенно:

— За обиженного, за страждущего брата войну веду. Ничем не побрезгаю в этой войне. Грех в таких случаях — брезгливость. Преступление! Жестокая вещь брезгливость! Сытая выдумка! В больницах среди сторожей, среди сиделок друзей имею. Жалованье плачу. Лежит человек без ноги, а сиделка ему в сумерки тихим голосом утешение преподает: «Не убивайся очень-то. Адвокат такой-то есть. Выпишешься — прямо к нему иди. Ноги нет, — перед деньгами. У нас тут тоже один лежал, без ноги-то. Пошел к этому адвокату. Денно и ночью Бога за него благодарит. Живет на одной ноге, да барином. Такой ему куш, по адвокатовой защите, отвалили. «Ежели, говорит, теперича мне и другую ногу как-нибудь отрежут, — поползу, а уж к этому адвокату». Вот

как доволен». И идут ко мне с разных сторон люди на одной ноге. Перевязочный пункт среди поля сражения!

— Картина!

— Достойная кисти Верещагина! — ответил он с гордостью. — Я знаете о чем мечтаю? Построить особый дом. «Дом для увечных — присяжного поверенного такого-то».

— Дом призрения?

— До суда. Перевязка, так сказать, ран нужды. Я и сейчас перевязываю. Но это амбулаторный прием. Приходит ко мне клиент. Письмоводитель только взглядывает: какого раздела? Без руки, без ноги? На каждый сорт увечья у меня особый шкаф. А в шкапу-с папки, в алфавитном порядке, с газетными вырезками. «Как фамилия?» — «Андронов». — «Посиди, подожди!» Письмоводитель приходит и докладывает: «Андронов, без нижнего купона!» Я сейчас в «безногий» шкаф. На букву «А». Вырезка из дневника происшествий: «Такого-то числа... при переходе через полотно... ногу... Андронов... страдает глухотой». — «Через десять минут пусть войдет». Входит, бедняга, на одной ноге. «Так и так, Андронов...» Прерываю: «Стой! Андронов? Ногу? Припоминаю! Это не на Смоленской ли дороге?» — «На ей, батюшка, проклятушей! Я, стало быть...» — «Стой! Не говори! Я помню, меня еще тогда этот случай возмутил до глубины души! Сама судьба тебя ко мне посылает! Ты, сколько мне помнится, глуховат?» Смотрит на меня во все глаза. «Отец родной! И откуда тебе все...» — «Стой! Не надо благодарностей! Мало ли сколько бывает несчастных случаев. Но твой случай исключительный! Небывалый! Он врезался мне в память!» Это первое утешение страждущему. Скажите, разве не утешение для страждущего узнать, что его несчастьем интересуются, что ему сочувствуют? Наконец, у человека есть самолюбие. Всякому лестно, что с ним случилось необыкновенное несчастье. Хоть самолюбие-то бедняку потешить!

— Конечно, конечно.

— Я ни перед чем не остановлюсь, когда надо утешить несчастного, страждущего брата!

И глаза его блеснули даже отвагой.

— Да! «Как же, как же! — говорю я. — Я тогда еще подумал: ах, злодеи, ах, изверги! Неужели это им пройдет так даром? Держат такие свистки, что и не расслышишь. А если человек глух? Давить его за то, что глух? Давить? Живого? Человека? Давить? Подписывай доверенность!» Но...

И голос его, возбужденный, взволнованный, зазвучал глубокою грустью:

— Но чутким сердцем своим я чувствую рану, которую нужно сейчас утолить. «Пока солнце взойдет, роса очи выест!» Сейчас-то, сейчас-то чем будет жить страдающий брат? Перевязав раны духовные, надо перевязать рану экономическую. «Есть ли деньги-то у тебя, бедняга? Нет? На красненькую на жизнь. Выйдет — еще приходи!»

— Послушайте. Позвольте пожать вашу руку.

— Не за что. Это в счет будущих благ. Я авансирую. И только! Выдана мне доверенность, — этим заложен отрезанный купон у меня. Доверенность-закладная. И я даю деньги под купон, вплоть до полной реализации. Как в банкирской конторе. Выходят деньги — приходит опять. Но это, так сказать, амбулаторный прием. Амбулаторная перевязка ран. Моя мечта — создать госпиталь, где экономические раненые лежали бы до полного излечения, то есть до присуждения иска. Поставить дело в грандиозных размерах! Убежище для тяжущихся! Иногда, в минуты досуга, я составляю со знакомым архитектором даже план такого убежища. В первом этаже помещаются исключительно безногие. Чтoб по лестницам не ходить.

— Как заботливо!

— Во втором этаже безрукие. Я их кормлю, одеваю, обуваю. Это им обходится дешевле. Своя же портновская мастерская, где шьют штаны об одной штанине, пиджаки с одним рукавом. Меньше материи и дешевле стоит. Тогда как на воле им приходится покупать штаны

обыкновенные, пиджаки двухрукавные! Зачем ему лишние штанина и рукава? То же и с обувью. Одна нога, а покупать приходится пару. Одного сапога нигде не продают. У меня же шить будут по одному сапогу. Им экономия, и мне безопасность и польза. Там, на воле, он черт его знает что ест, ходит по бабкам, дрянью всякой мажется. Долго ли увечному человеку и на тот свет? Иногда какие купоны пропадают! А у меня, брат, нет! До суда сохраню тебя в целости! Ну, и то еще польза, — у меня жить будут под присмотром, никто его не соблазнит. А там, на воле, жужжат ему в уши: «Не верь адвокату! Да ты бы к такому-то сходил, тот лучше». А у меня, — шалишь! Ни превратных мыслей, ничего! Выдал доверенность — и уповай на Господа. Человек больной, человек увечный, человек этакое несчастье перенес, ему покой нужен. А не превратные толкования, которые его только спокойствия духа лишают! Ну и меры можно принимать. К суду пострадавших готовить. Сирот, например, сечь можно. Чтоб сидеть не могли. Пусть на суде ерзают да плачут. Председатель рассердится: «Что это за дети там режут? Вывести их!» — «Это, г-н председатель, истцы! Пострадавшие. Сироты». Ему стыдно станет, что он сирот обидел. И на приговоре это отразится. Загладить захочет. Насчет вдов можно просто прислуге сказать: «Огорчить вдову такую-то, чтоб она завтра целый день проплакала!» И будет целый день в суде плакать. Это тоже на судей подействует! Я вам говорю, — с твердостью воскликнул он, — там, где идет речь об интересах младшего, страждущего брата, я ни перед чем не останавлиюсь. Высшая нравственность мне говорит: «Тут останавливаться воспрещается». Останавливаться — преступление.

— Но послушайте! За всю эту энергию, находчивость, сострадание, я думаю, и обожает же вас младший, страждущий брат!

Он улыбнулся грустной и скромной улыбкой:

— Я не из тех, кто ищет за «подвиги награды». За любовь к людям одна истинная награда — неблагодар-

ность. Знаете ли вы, что для жалоб, поступающих на меня в совет присяжных поверенных, заведен особый шкапик?

— Да не может быть?!

— Факт! — вздохнул он. — Один из старшин сторожу говорил: «Если пожар, первым долгом этот шкапик спасай. Пусть все погорит, — нам один этот шкапик на год работы даст!» Мне шутя говорят: «Вы сословие разоряете! Из-за вас отчет вдвое толще выходит».

— И все потерпевшие?

— Все потерпевшие.

— Купоны?

— Купоны. Но я на них не сержусь. Получить за подвиг любви неблагодарность — это удел каждого борца. Суметь ответить на нее ласковой улыбкой — его долг. Несомненно, что ампутация руки, ноги нарушает целостность нервной системы. На человека паровоз наехал, — это хоть кому расстроит нервы. Ну, они и жалуются! Но я на них не сержусь. Они на меня жалуются, а я их прощаю. Я, повторяю, не из тех, кто ищет «за подвиги награды». Я борец идеи. Мне ничего не надо.

— Но гонорар-то, полагаю, вам нужен?

— Какой же гонорар? — пожал он плечами. — Законный гонорар: десять процентов.

— Это очень немного!

— Законный!

— Так что, если человеку присудили две тысячи, вы получаете двести рублей, плюс, конечно, то, что вы дали «под залог купона»?

Он улыбнулся снисходительной улыбкой:

— Вы меня не совсем так поняли. Десять процентов не с присужденной суммы, а с суммы претензии.

— Так что, сколько же потерпевший получит из двух тысяч? Сколько?

— Это глядя по тому, какую он заявил претензию. Претензии иногда, действительно, преувеличивают. Согласитесь, всякому своя рука или нога дороги. И мое положение щекотливое. Ценит человек свою ногу в де-

сять тысяч. Не могу же я ему сказать: «Это дорого. Твоя нога этого не стоила». Это неделикатно. Это грубо. Это бьет по самолюбию. Человек нуждается в утешении, ему говоришь: «Конечно, конечно! Такая нога!» И предъявляешь претензию в десять тысяч, согласно его желанию!

— А присуждают две. Сколько же он получает?

— С десяти тысяч десять процентов — тысяча рублей. Тысяча рублей мне. Тысяча рублей ему, минус, конечно, что ему передавал «под залог купона».

— С двух тысяч тысяча гонорара?!

— Больше нельзя. Совет на это косится. Эти люди, привыкшие служить сытым, относятся ужасно к нам, адвокатам бедняков, адвокатам несчастных, адвокатам поистине страждущих. Мой товарищ, адвокат Б., тоже «увечный адвокат», как я, предъявил претензию на восемнадцать тысяч. Дело кончилось без суда, на трех тысячах. Коллега Б. взял из них тысячу восемьсот рублей гонорара и тысячу двести отдал пострадавшему! Так что же? Взялись! «Тысячу восемьсот рублей, говорят, за то, что написали на «Ремингтоне» в три строчки претензию? По шестьсот рублей за строку?» На шесть месяцев совет было практику запретил. Да, слава богу, палата смиростивилась. Постановила ограничиться строгим выговором! Об этом даже в «Отчете» напечатано.

— И много, скажите, вас таких, «увечных», в Москве?

— Человека три-четыре, крупных-то. Есть еще у вдов и сирот защитники! Хотя не всякий, конечно, этот подвиг на себя принимает. Согласитесь, бороться, защищать, в ответ получать неблагодарность, даже презрение. Строгие выговоры, рисковать ежеминутно за прещением практики!

О культура!

За что ты давишь людей?

И так много паровозов на свете, а ты еще адвокатов наплодила.

ОДИНОЧНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Господа гуманные тюрьмоведы-теоретики могут полагать, как угодно. А вот тюрьмовед-практик, один из сахалинских зрителей, знаменитый своей жестокостью, великий специалист по части телесных наказаний, полагал так:

— Драть бросил. Что дранье! Ко всему человек привыкает. А вот хорошенькое одиночное заключение, к тому никто уж не привыкнет!

Он считал одиночное заключение наказанием куда более тяжким, чем самая жестокая порка.

Вы можете совершенно безопасно присутствовать при самых тяжких телесных наказаниях, но войти в камеру к человеку, долгое время сидящему в одиночном заключении, небезопасно.

Когда в Рыковском нам хотели открыть камеру арестанта, сидевшего второй месяц в одиночном заключении, из-за дверей послышался отчаянный вопль:

— Не входите! Убью!

И зритель тюрьмы счел за лучшее приказать:

— Не надо. Не открывайте. С ними, знаете, от одиночного заключения случается.

Но ведь то, скажут, сахалинские одиночки, смрадные, ужасные, где люди заживо гниют. А то усовершенствованные одиночные тюрьмы.

Вот факт.

В Одессе построили усовершенствованную одиночную тюрьму «крестом». По бельгийскому образцу, «последнее слово».

Прежняя одесская тюрьма была старым «тюремным замком», грязным, вонючим, душным, пропитанным зловонием.

И при переводе арестантов из этого старого промозглого замка в усовершенствованную одиночную тюрьму начались беспрестанные покушения на самоубийство.

Служащим приходилось «глядеть в оба»: беспрестанно то того, то другого вынимали из петли.

Арестанты плакали по старой тюрьме.

Вот что такое усовершенствованная одиночка.

И господа тюрьмоведы знают это. Недаром при устройстве одиночек главное внимание обращается на то, чтобы арестанту не на чем было удаться.

— Э, — говорят. — Эту перекладинку нужно убрать! Повесится!

Вот единственная «хорошая» мысль, которую возбуждает одиночная тюрьма.

Автору этих строк приходилось опрашивать не одну сотню арестантов, просидевших в одиночке во время предварительного следствия. Известно, с какой быстротой у нас ведутся предварительные следствия. Люди все были хорошо знакомые с одиночкой на долгий срок.

Все они мучились в одиночном заключении галлюцинациями зрения.

В этих галлюцинациях есть одна особенность.

Разным людям кажется разное. Одному казалась огромная лягушка, другому мужик в красной рубахе. Но всегда и всем казались: *ярко-зеленая* лягушка, мужик в *ярко-красной* рубахе.

Совершенно естественный протест зрения, замученного белым цветом стен одиночки. Глаз привык получать цветные впечатления. И когда их нет, этот «голодающий» глаз создает себе яркие галлюцинации.

Второе, что мучит одиночных арестантов, — галлюцинация слуха. Усовершенствованная одиночная тюрьма словно для того и создана, чтоб ее порождать.

Усовершенствованная одиночная тюрьма строится «крестом», для удобства надзора.

От круглой центральной площадки расходятся «крылья», представляющие собой огромные сквозные коридоры, прорезывающие здание сверху донизу. По стенам коридора железные лестницы и балкончики у каждого этажа.

Наконец, в самых усовершенствованных тюрьмах ни лестниц, ни балкончиков, а большая подъемная железная платформа, которая поднимается на этажи, когда надо посадить нового арестанта, вывести из камеры,

раздать арестантам пищу, для докторских и смотрительских обходов и т. п.

В огромных коридорах камень и железо. Благодаря этому резонанс прямо чудовищный. Каждый звук, раздавшийся в мертвой тишине, гулко отдается во всем здании, звучит чудовишно.

Вот вы и представьте себе положение арестанта, сидящего в мертвой, гробовой тишине одиночки. Время от времени пронесется какой-то страшный, гулкий, таинственный звук и замрет. И снова гробовая тишина. А напуганные нервы ждут...

Тут же помещаются и карцеры.

Часто и днем, и по ночам гулкие, огромные, пустые коридоры наполняются воплями, воем, которые здесь звучат прямо чем-то нечеловеческим.

Арестант, арестантка истерически вопят, колотятся в дверь в припадке ужаса, безумия.

Их тащат в карцер.

И мертвая тишина сменяется дикими, невероятными, нечеловеческими звуками.

Вся тюрьма дрожит от ужаса.

— Убивают? Пожар?

Расстроенное воображение рисует что-то страшное.

И смотрители тюрем скажут вам, что в такие минуты истерическое безумие охватывает всю тюрьму.

Масса арестантов начинает стучать в двери, плакать, вопить.

Те, которые еще в силах сдерживать себя, бегают по камере в ужасе:

— Вот-вот сейчас у меня, помимо моей воли, вырвется вопль и начнется припадок.

Тогда тюрьма напоминает сумасшедший дом. Хуже — дом, где сидят приговоренные к сумасшествию.

Часто такие «истерические эпидемии» возникают без всяких причин.

Человеку кажется, что за стеной вопит, плачет, хрипит умирающий. Он начинает в ужасе истерически вопить, и за ним вопит в ужасе вся тюрьма.

Потрясающая нервы смена могильной тишины на

ад нечеловеческих звуков порождает галлюцинации слуха, галлюцинации, всегда страшные и мучительные.

Чтоб занять одиночных арестантов, им ставят в камере станки, верстаки для работ.

В одиночке и так воздуха рассчитано еле-еле на человека, а когда каморку загромождают еще верстаками, дышать в ней становится положительно нечем.

Среди арестантов вы сразу отличите человека, отбывающего одиночное заключение. Они быстрее приобретают «ту особенную белизну, которая бывает на лицах людей, проводивших долгое время взаперти, и которая напоминает ростки картофеля в подвале», по удивительному сравнению Л. Н. Толстого.

На почве истощения, малокровия, худосочия нервные страдания развиваются с особой силой. И одиночная тюрьма, выпуская цинготного с задатками чахотки человека, выпускает в то же время и нервнобольного, аномального.

Известно, что одиночные арестанты часто, только что выйдя из тюрьмы, совершают удивительно зверские преступления. Иначе и не может быть. Чего же другого ждать от человека, которого сделали аномальным?

Что же достигается ценой этих человеческих жертвоприношений и ценой того, что готовятся для общества новые опасные люди?

Велика изобретательность тюрьмоизобретателей, но велика изобретательность и арестантов.

Лишенные возможности переговариваться друг с другом, они перестукиваются. В одиночной усовершенствованной тюрьме непрерывно работает телеграф. Самый точный и аккуратный телеграф в мире.

— Передать такому-то номеру то-то.

— Такой-то номер отвечает то-то.

Перестукиваются через стену, по трубам для отопления, по водопроводным трубам.

А «тюремный клуб», при сплавной системе, переговоры посредством клозетов. Чисто-начисто вымыв клозет, арестант говорит в него, как в телефон:

— Передать номеру такому-то то-то и то-то.

И целые огромные беседы ведутся таким способом. Наконец, ведь есть же окна и форточки.

Люди, не видя друг друга, ведут разговоры. Каждое окно у них за номером. И по стене все время гуляют передаваемые друг через друга сообщения, рассказы.

Если бы можно было подкрасться к стене, чтоб зоркий арестантский глаз не заметил, мы бы услышали, как вся «одиночная» тюрьма разговаривает.

Но проникнуть в эту тайну тюрьмы нет возможности. Раздается магическое:

— Шесть!

И все разговоры моментально смолкают. Тюрьма затихает, пока не минует опасность.

Я делал опыт в той же усовершенствованной одесской тюрьме при посредстве сидевшего там знакомого мне одиночного арестанта.

Я просил его узнавать, где, кто, за что сидит. И при «свидании», когда я являлся к нему на посещение, он доставлял мне все самые точные сведения.

Наводя затем справки, я убеждался в верности сведений.

Чего же добиваемся мы, отнимая у людей здоровье, разбивая их нервы, делая их аномальными?

Только того, что они, беседуя, не имеют возможности смотреть друг другу в лицо.

ИСЧЕЗНУТ ЛИ ТЯГЧАЙШИЕ НАКАЗАНИЯ?

Упраздненная за бесчеловечность плеть пятьдесят лет тому назад была введена из гуманных побуждений. Она заменила собою кнут. Кнут вырезывался из сырой кожи, высушивался, и получался квадрат с острыми, режущими краями. Помощник палача брал раздетого приговоренного за руки, взваливал себе на плечи. Палач с криком «Поддержись, ожгу» с разбега наносил удар вдоль спины. При каждом ударе кнут острыми краями вырезал из тела ремень вдоль всей спины. Это делалось публично и называлось «торговой казнью». И это было

действительно казнь. При большом количестве ударов это была смертная казнь, только продолжительная и мучительная. При небольшом количестве ударов — мучительство и искалечение человека навек. Как ужасен был кнут, свидетельствует то, что в те жестокие времена, когда палки и шпицрутены назначались тысячами, удары кнутом назначались десятками. И это считалось наказанием более тяжким. Что такое был кнут, мы можем судить: старый каторжанин, получавший тысячи палок, ходивший сквозь строй, число полученных плетей считающий тысячами, а розог даже не считавший, через пятьдесят лет помнил полученные на Конной площади десятки ударов кнута и вспоминал о них с ужасом: «Перед кнутом все остальное — ничего».

Кнут был пятьдесят лет тому назад не только уничтожен, а казнен за бесчеловечность. Не хотели даже, чтобы самая память о кнутах оставалась. Кнут был не только отменен, но приказано было имеющиеся кнуты закопать в землю. Похоронить. Место бесчеловечного кнута заняла плетель. Закон — «законы святы» — хотел уничтожить мучительство и искалечение. Но «исполнители» ухитрились и из плети сделать такое же точно орудие смерти, тягчайшего мучительства и искалечения, каким был кнут. Теперь за бесчеловечность отменена и плетель, оставлены только розги. Чтоб уничтожить мучительство, искалечение и задиранье насмерть, уничтожены даже «лозы». Тут маленькая «техническая» подробность, которую надо пояснить. Розга и лоза один и тот же «инструмент» — это прут аршина в два длиною. У него огромный размах и сильный удар. Розга свистит в воздухе как стальная рапира. После каждого удара берется новый прут, а то измочалится и не будет, пожалуй, так больно. Чтоб при сильном, изо всей силы, размахе прут не сломался, к нему с половины подвязан другой прутик. Если секут тонким концом прута, — это «розги». Если ударяют толстым концом, тонкий держа в руке, — это «лозы», или «комли». Наказание куда более мучительное и искалечающее человека. Лозы отменены, оставлены только розги.

Но вот вопрос, могут ли тягчайшие телесные наказания считаться уничтоженными? Не сумеют ли «исполнители» так же «вполне заменить» плеть розгами, как был вполне заменен кнут «гуманной» плетью? Не сделают ли из розог такого же орудия мучительства, искалечения и даже смерти, каким была упразднена плеть? Ответ на это дает нам следующий факт: палач Терский наказывал палача Комлева плетью и, желая показать, как «можно наказать плетью», искалечил Комлева на всю жизнь. Через несколько времени провинился Терский, и теперь уже палачу Комлеву довелось его наказывать. Надлежало дать 100 розог. И теперь Комлев показал Терскому, «как можно драть розгами». Терский после 100 розог встал искалеченным и гниет всю жизнь¹.

При уменьи и добром желаньи плеть, как видите, можно вполне заменить розгами. Уменья в каторге очень много, «доброго желанья» тоже не отбавлять... Есть смотрители, которые из «простых розог», — даже из минимума 30 ударов, — делают орудие такого мучительства, пред которым меркнет наказание плетью. Например, способ «растянуть наказание на несколько часов». Наказываемого привязывают к скамье в канцелярии. Около становится палач. Смотритель садится за бумаги. Курит, пьет чай, читает, пишет, — и время от времени говорит: «Ударь»². Это мучительное и издевательское наказание в течение нескольких часов, по словам самих изобретательных смотрителей, «не может сравниться ни с какими плетью». Какая же гарантия в том, что тягчайшие наказания, уничтожаемые законом, действительно исчезнут?

«Если подвергаемый наказанию розгами, — читаем мы, — не будет в состоянии вследствие внезапно приключившейся болезни или слабости выдержать определенное число ударов, то производящий наказание чиновник обязан остановить наказание и призвать врача».

¹ См. «Сахалин» А. П. Чехова.

² См. там же.

А если зрителю покажется, что «негодяй» притворяется? Зрители всякую болезнь у каторжного считают «притворством». До тех пор, пока на Сахалине не устроили сумасшедшего дома, зрители всех душевнобольных считали «притворщиками» и «исправляли» розгами и плетью. Зрители, не стесняясь, говорят, что у них «одно и то же наказание да бывает не одно и то же». Наказания, например, назначенные по суду в России, «за российские преступления», приводятся в исполнение часто легко. Так легко, что сахалинские товарищи прокурора даже протесты подавали против чрезмерной легкости наказаний. И в то же время наказания за проступки на Сахалине приводятся в исполнение жестоко.

— Что они там в России сделали, — говорят зрители, — нас не касается. За то у нас зла нет. А вот за здешнее не помилуем, это уж нас касается.

И что, если зритель преднамеренно хочет особенно мучительно наказать каторжанина? Кто же, наконец, эти «чиновники», чтоб на них полагаться в диагнозе: может ли человек еще переносить телесное наказание, или его состояние уж таково, что пора посылать за врачом? Кто эти чиновники? Малограмотные зрители, выслужившиеся из помощников, помощники зрителей, которым говорят «ты». Чаше же всего наказание приводят в исполнение надзиратели из бывших ссыльнокаторжных. Все это народ, стоящий на такой низкой ступени развития, что от них нельзя и требовать, чтоб они руководствовались «духом закона». Зато буквой закона они пользоваться умеют, заботясь только о том, чтобы с формальной стороны все было шито-крыто. В законе они ищут безнаказанности. Между буквами закона — лазеек для беззакония. Тут всякая недомолвка, всякий пробел может послужить уголком, где спрячется преступление.

Когда зритель нашел нужным послать за врачом, когда врач освидетельствовал наказываемого и признал, что наказание продолжаться не может, когда врачебное

управление согласилось с заключением врача, тогда читаем мы:

«Окончательное наказание приостанавливается и отлагается до выздоровления преступника, после чего он должен быть подвергнут тщательному освидетельствованию».

А до начала телесного наказания преступник не подвергается медицинскому освидетельствованию? А если телесному наказанию будут подвергать эпилептика, что случается часто, чахоточного, что случается еще чаще, вообще больного? Говорится:

«В случае обнаружения неизлечимой болезни преступника телесные наказания совершенно отменяются».

Но это говорится после слов о «тщательном освидетельствовании», когда уже наказание приостановлено, потому что наказуемый «впал в болезненное состояние». О предварительном, пред началом, медицинском освидетельствовании не говорится ничего. И для людей, знающих каторгу, не подлежит никакому сомнению, что низшая тюремная администрация, считающая «гуманную» — в каторге слово ругательное — деятельность врачей стеснительной для себя, поспешит воспользоваться «буквой закона». Смотритель имеет возможность наказывать какого угодно больного, не спрашивая у врача: «Освидетельствуйте, можно ли?» Как врач вмешается? Смотритель скажет ему:

— О предварительном освидетельствовании ничего не сказано. Будете свидетельствовать, если он под розгами упадет в болезненное состояние.

Смотритель может наказывать как ему угодно. И врач не может вмешаться.

— Ждите, пока я признаю его состояние болезненным, начну сомневаться и позову вас.

Годами и годами в каторге начал устанавливаться такой порядок. Перед наказанием наказуемый свидетельствуется врачом. При наказании присутствует врач. Мы говорим «начал устанавливаться», потому что этот

порядок нарушался ежесекундно. Но теперь он может быть и совсем отменен.

Роль врача сокращается еще более и может быть сведена совсем на нет.

От времен «мертвого дома» до времен «мертвого острова» доктора были в каторге единственными представителями гуманности. Большинство их исполняло этот свой долг превосходно, часто самоотверженно. Эта деятельность докторов никогда не нравилась «низшей тюремной администрации». Если каторжанин смотрел на доктора, как на своего защитника, то смотритель смотрел на врача, как на злейшего врага. Они жаловались, что доктора своею «гуманностью» распускают каторгу, что доктора мешаются не в свое дело, что доктора мешают им в законном исполнении обязанностей. Так мало-помалу создалась легенда, что доктора противодействуют тюремной администрации, являются чуть не врагами закона и мешают его правильному выполнению.

Отмене тяжчайших телесных наказаний предшествовало многолетнее исследование вопроса, опрос сведущих лиц, в том числе смотрителей каторжных тюрем. Раз опрашивают, значит, является сомнение в пользе и необходимости тяжких наказаний. А раз таким ветром повеяло, значит, надо высказывать пред начальством и соответствующие мысли. Тюремная администрация спешила высказать, очевидно, угодные начальству «гуманные» мысли: тяжкие наказания надо отменить. Но при этой okazji «гуманные» люди спешили «справиться» с ненавистными докторами. Нельзя ли их посократить? «Гуманность — гуманностью, как видите, по нашим отзывам, мы гуманны. Но господа врачи злоупотребляют и вместо гуманности доходят уже до беззакония».

Повторялись легенды о противозаконной деятельности врачей. И эхо этих легенд слышится нам в том усилении контроля, которым окружается деятельность врача. Когда наказание приостановлено вследствие болезненного состояния наказуемого и позвали врача,

«врач обязан освидетельствовать тщательно преступника и, изложив в подробности все найденное, в заключении обстоятельно указать, почему именно он признает болезненное состояние преступника такого рода, что телесное наказание для него опасно и потому должно быть отменено впредь до облегчения или излечения болезни». Такие свидетельства врачей должны быть «проверяемы врачебными отделениями губернских управ или заменяющим их учреждением». Даже, «где можно, чрез личное освидетельствование». «Если врачебное отделение согласится с заключением врача», тогда только «окончательное наказание приостанавливается и отлагается до выздоровления преступника». Под такой контроль поставлен врач. Контроль всюду и везде хорошая вещь, особенно там, где речь идет о здоровье или даже жизни человека. Но если контролировать врача, то как же оставлять без контроля смотрителя? Если заключение специалиста-врача: болен или не болен человек, подлежит контролю, то как же оставлять в бесконтрольное распоряжение невежественного смотрителя разрешение вопроса: можно подвергать человека телесному наказанию или нет, можно без вреда для здоровья и жизни продолжать наказание или пора уже позвать врача?

Иных жалоб против врачей, кроме как на излишнюю гуманность, до сих пор не было слышно. Но если учреждать контроль над тем, чтоб не злоупотребляли гуманностью, то нужен еще более строгий контроль, чтоб не злоупотребляли жестокостью. Пусть подлежит контролю врач, но «пусть подлежит контролю» и смотритель. А единственным контролером в вопросе о том, что вредно и опасно для здоровья, может быть только врач. Предоставлять смотрителю решать вопрос: кого можно по состоянию здоровья и кого нельзя подвергать телесному наказанию, и удалять врача во время этой могущей быть опасной для жизни операции — значит ставить смотрителя вне контроля.

Всей своей предшествующей деятельностью служеб-

ный персонал тюрем, думаем, такого доверия не заслужил.

Ведь если накажут розгами больного или будут продолжать наказание, считая болезнь «притворством», значит, тягчайшие из тягчайших видов телесных наказаний будут существовать.

Закон об их уничтожении — святой закон. Приветствуя его, как новую эру в скорбной жизни каторги, мы боимся только, что с отменой плети случится то же, что случилось с отменой кнута. Что «исполнители», низший тюремный персонал, сумеют розгами вполне заменить уничтоженную плеть, как в свое время сумели вполне заменить плетью упраздненный кнут. Что уничтоженный де-юре тягчайший вид телесного наказания фактически будет продолжать существовать. И нарушение гуманного закона отлично спрячется под его буквою.

ПЫТКИ

Существуют ли у нас пытки?

Речь идет не о «рижских застенках».

Я говорю о «правосудии», а не о «расправе».

Речь идет «о временах мирных».

— Существуют ли у нас в обыкновенное время в уголовных делах пытки?

Всякий судейский с негодованием ответит:

— Пытки в России уничтожены еще в конце XVIII века.

А вот что отвечают факты.

В Одессе разбиралось дело об убийстве банкира Лившица.

На скамье подсудимых сидело трое убийц:

— Томилин, Павлопуло, Львов.

А в числе свидетелей фигурировало около двадцати, которые сознались:

— В убийстве банкира Лившица.

Уверили, что это:

— Именно они!

В свое время рассказывали все подробности:

— Как убивали.

На суде установился прямо «церемониал» допроса этих свидетелей.

Председатель. Свидетель (или свидетельница), что вы знаете по этому делу?

— По этому делу я ничего не знаю.

Председатель. Г-н товарищ прокурора, не имеете ли вопросов?

Тов. прокурора (*заглянув в дело, тихо, даже как будто слегка сконфуженно*). Вопросов не имею.

Председатель. Господа защитники!

Защитник. Скажите, свидетель, вы сознавались в убийстве покойного Лившица?

— Да, сознавался (сознавалась).

— И рассказывали все подробности, как вы убивали?

— Да.

— И все эти подробности потом оказались ложными?

— Да, ложными.

— Скажите, вы знали банкира Лившица?

— В жизни не видывал.

— Знали расположение его квартиры? Где он живет, по крайней мере?

— Говорю вам, что даже имени его не знал. Вот, когда в газетах прочли, что его убили, тогда только и узнал (узнала), что был в Одессе банкир Лившиц.

— Почему же вы сознавались в убийстве человека, которого никогда в глаза не видели?

Председатель несколько раз порывался:

— Г-н защитник...

Но дело было так возмутительно, что даже у председателя не поворачивался язык сказать:

— Это к делу не относится.

Хотя это и могло не нравиться местному «начальству».

А «начальством», истинным «начальством», «начальством над всеми начальствами» считались министерство внутренних дел и все, что от него.

— Меня так в полиции били, — отвечали как один все эти свидетели, взведшие на себя такой страшный поклеп, — так били, что в чем угодно готов был сознаться!

А одна из свидетельниц быстро распахнула кофточку и показала прямо зияющие раны.

— Я и до сих пор гнию от этих побоев! — завопила она.

И это через два года! Председатель только нашелся заметить:

— Свидетельница, потрудитесь вести себя прилично.

Дело было так. В центре города было совершено преступление, взволновавшее всю Одессу.

Однажды утром нашли банкира Лившица задушенным. Его кухарка лежала в кухне связанною.

Несгораемый шкаф был не тронут. Убийцы ничего не взяли. Что-то случилось. Очевидно, им помешали.

— Чтобы было разыскано!

И полиция «деятельно принялась за розыски».

Хватали направо, налево.

И вскоре оказалось на дознании столько сознавшихся и столько оговоренных, что у полиции голова пошла кругом.

Все сознавались, и все показания противоречили друг другу!

На одном все «спотыкались».

И концы в воду. Следов никаких.

Город возмутился. Начальство возмутилось.

Показывает подробно:

— Когда, с кем, каким образом убивал!

Но описать расположение комнат не может.

Врет такое, — ничего даже подходящего.

То же и с наружностью Лившица.

— Сам своими руками душил! Помогали такой-то, такой-то.

А дойдет до вопроса:

— А какой из себя был Лившиц?

Ничего похожего.

Приходилось следовательно им же доказывать:

— Врете на себя!

Многие даже и после этого не хотели во вранье со-
знаваться.

Стояли на своем:

— Сказал, что я. Я и есть. Я убил.

На суде их спрашивали:

— Что же заставляло вас так запираяться на свою го-
лову?

Ответ был один и тот же:

— Из боязни. Боялся (боялась), опять полиции от-
дадут. На дознании говорили: «Отречешься от показаний, скажешь: били! — помни, опять к нам для дополнительного дознания попадешь. Тогда уж не прогневайся». Лучше в каторгу!

Дело среди этих «чистосердечных сознаний» запуталось так, что потеряли надежду его и распутать.

Пока, наконец, истинные виновники не нашлись совершенно случайно.

Один из них, Павлопуло, был даже возвращен с дороги на каторгу. Он успел уж попасться в другом городе, по другому делу и «заслужил каторгу».

На суде открылась вся картина истязаний.

Было тяжело дышать, слушая.

Словно присутствовали при процессе в XVII веке.

Подсудимая Хана Луцкер, сообщница в убийстве, ничего не слышала.

Приходилось кричать.

А в деле были показания:

— Луцкер шепнула: «Пора». Я шепнул Луцкер: «Подожди здесь».

— От битья при дознании оглохла!

Подсудимая Лея Каминкер, — кухарка, она и «подвила» убийц, связыванье было комедией, — жаловалась, что:

— Едва дышит от побоев!

По просьбе защиты был оглашен протокол медицинского осмотра ее через две недели после убийства.

Когда она уже две недели сидела в участке.

— Половина головы черная от кровоподтека, болезненного при дотрогивании.

— Как вы это объясните? — обратился защитник к приставу, производившему все дознание.

Франт-пристав в белоснежных замшевых перчатках, в мундире «гвардейского образца» очень любезно ответил:

— А это их тогда Томилин, после убийства, свистнул! Озверел очень, что даром проработали!

Защитник просил огласить протокол медицинского осмотра при аресте.

Среди подробнейшего описания следов веревок и ссадин при связывании:

— Величиной в серебряный пяточок... в гривенник...

Ни о каком кровоподтеке «в половину головы» ни слова.

Дело было ясное.

«Под Томилина» работал кто-то другой.

Кровоподтек «вполголовы», которого никто не видит! И который через две недели сохраняет такую болезненность, словно его нанесли вчера!

Один из подсудимых, четвертый убийца, — мужчина, по общим показаниям, роста геркулесовского, силы необычайной, которого боялись все остальные, — не дождался суда: повесился в участке во время производства дознания.

Всякому было ясно, что не перспектива старой знакомой тюрьмы и не каторга, с которой какой «варнак» не уверен «фартом убежать», так насмерть перепугали геркулеса, человека больше, чем бывалого, преступника-рецидивиста!

Всякий знакомый с преступным миром знает, какая редкость среди этих людей самоубийство. Как цепляются они за эти жалкие, несчастные обломки жизни. Чем меньше у человека остается, тем оно ему дороже. Эти люди, не жалеющие чужой жизни, своей дорожат как никто. И в каторге ею дорожат куда больше, чем на воле! Эти люди «животолубивы» прежде всего. Какой «каторжной» даже для каторги жизни не перетерпит чело-

век в надежде на «фарт» — случай, удачу! Каких розог! Каких, бывало, плетей! Нужны истязания нечеловеческие, чтобы довести, наконец, «варнака» до самоубийства!

— Побоев не выдержал! — показывали свидетели, содержащиеся, «в качестве обвиняемых», в одном участке с повесившимся.

Потом, на Сахалине, я встретился с двумя из убийц Лившица — Павлопуло и Томилиным.

Волосы вставали дыбом слушать Павлопуло, как:

— Из них добывали сознание.

Томилин молчал.

Он предупредил меня через доктора:

— Попросите приезжего барина, — пусть меня не спрашивает. Я ничего не скажу.

Но товарищи по камере этого страшного человека со спокойным, добродушным даже лицом и холодными «стальными» глазами рассказывали мне о мечтах Томилина:

— Гордый очень. Свое в ум взял. Бежать все хочет. Били его — страсть! В Одест норовит. С приставом сочитаться.

Они называли фамилию. Фамилия была та.

— Тем только и жив!

— Убить хочет?

— Зачем! Это ему не по сердцу. Детки, слыхать, у пристава есть.

— Ну?

— Ресторант у нас тут был, с Кавказа, Гулиев-Богоду-ров по прозвинию. Помер — Сакалина не выдержал. Человечишка был дрянь, — иначе, отплатить ему удалось хорошо. Обидел его кто-то там, на Кавказе. А он у обидчика дочку, имназистку, на дороге перенял и расплатился. Изнасильничал девочку и зарезал. «На!» Убить что? Умереть! Момент! Нет, ты поживи да подумай, как твоя дочка кончалась! До гробовой доски вспоминай. Пред этакой-то жизнью смерть что! Конфетка! Очень это Томилину понравилось!

— Что ж, он детей у своего пристава насиловать собирается?

— Зачем насиловать! Так, потешиться. Чтобы знаки после смерти остались. «Не сразу, мол!» Чтобы потом мурашки всю жизнь у родителя по голове ходили: «Как мои детки за меня мучились!»

— Зверь!

— И с ним звери!

Исполнить этого Томилину, слава богу, не удалось.

Но подумайте, что же нужно, чтобы человека до такого озверения довести?

Какие «побои» должны были быть, если человек, среди розог и плетей, о них не забывал!

— Вот это были мучения!

Вернемся к процессу.

Среди этого «процесса XVII века», среди рассказов об истязаниях и пытках «при дознании», автор этого «дознания», пристав, помощники, шеголеватые околоточные в белоснежных перчатках и, по-одесски, в мундирах «гвардейского образца» любезно давали показания:

— Чистосердечно сознался.

Защитники пробовали было:

— Скажите, свидетель...

Но председатель тут уж набирался духа:

— Защитник, вы должны знать, что свидетель может не отвечать на уличающие его самого вопросы. Зачем же и задавать бесполезные вопросы?

— Прошу занести в протокол!

— Будет занесено.

И было занесено.

Дело было так вопиюще, что даже цензоры возмутились. Даже подцензурным одесским газетам было разрешено напечатать все эти подробности.

Результат?

Никакого.

Имелись десятки свидетельских показаний. Имелись несомненные доказательства: эти «чистосердечные» взваливания на себя убийства. Имелась даже ве-

шественная улика: протокол о «кровоподтеке вполголовы», впервые появившемся у Леи Каминкер через две недели после ареста при участке.

Все, что нужно для возбуждения дела об истязании. Было прокурорским надзором возбуждено дело? Никакого.

Все эти «занесения в протокол» так и похоронены в архивах Одесского окружного суда.

Единственным нравоучением, вытекшим из всех этих открытий и разоблачений, было председательское:

— Свидетельница, надо вести себя приличнее!

И имена всех этих «авторов дознания» я прочел среди героев, действовавших на одесских улицах в памятные октябрьские дни 1905 года.

Все со времени дела Лившица очень ушли по службе!

— Но, — скажете вы, — то в Одессе. Город не в счет. Там и теперь...

О теперешних временах разговора нет.

Мы говорим «о временах мирных», которые когда-нибудь да наступят же и которые мы хотим очистить от муты, грязи и скверны прошлого.

— Но и мирные времена! То Одесса! Где десять лет мог безнаказанно свирепствовать Зеленый, который на вопрос проезжего высокопоставленного лица: «Ну что, градоначальник, все ругаешься?» — «браво» ответил: «Рад стараться!»

Провинция не в счет? Вот вам Москва.

В Москве помнят, конечно, опереточного актера И. П. Долина, талантливого артиста, рано покинувшего жизнь.

Долин жил в меблированных комнатах на Тверской.

Однажды у него из ящика письменного стола пропали золотые часы с массивной цепью и кучей брелоков, которых у Долина была такая масса, что они звенели на ходу, как золотые кандалы.

Долин заявил полиции.

Подозрение пало, конечно, как всегда в таких случаях:

— Первым долгом на прислугу.

Номерной и горничная были взяты в сыскную:

— К Эффенбаху.

Тогдашнему московскому Лекоку.

Прошло две недели.

Долин осведомился.

— Еще запираются. Но скоро надоест. Сознаются.

Как вдруг пропажа и вор отыскиались.

В ссудную кассу, в Газетном переулке, явилась молодая женщина, плохо говорящая по-русски, заложить часы с золотой цепью и массой брелоков.

Содержатель ссудной кассы прочел на брелоках:

И. П. Долину от поклонниц... Талантливому И. П. Долину... Долину... Долину...

Содержатель ссудной кассы послал за полицией. Молодую женщину арестовали.

Оказалось, что это француженка, гувернантка без места, жившая в тех же номерах и часто бывавшая у Долиных.

Не подозревая, чтобы полиция предупреждала все ссудные кассы, она выждала время, пока дело «несколько забылось», и отправилась закладывать украденные ею вещи.

Она созналась. Рассказала, как она зашла к Долиным, когда в номере никого не было. Как воспользовалась этим.

Номерного и горничную выпустили из сыскного отделения, где они:

— Вскоре должны были сознаться Эффенбаху.

Номерной сейчас же уехал в деревню:

— На поправку.

А горничную я видел сам, своими глазами.

Ее показала мне жена Долина:

— Посмотрите, что с человеком сделали!

Она проводила меня в каморку, где за ситцевой занавеской лежала охавшая и стонавшая женщина. Уговаривал ее показаться.

— Чего уж тут стесняться?

Несчастная буквально вся была иссечена.

Спина, ниже спины, ноги.

— Повернись.

Были иссечены грудь, живот.

— Как уж не по чем стало сзади сечь, — как ударят, я без чувств, — стали сечь спереди. «Сознавайся» да «сознавайся». Еще бы немножко — и взяла бы, может, на себя. Не в себя стала приходить.

Ведь «не сама же себя высекла» несчастная баба?

— Жаловаться?

Болело, гноилось у нее все это, не могла она повернуться без нестерпимой боли, но когда только сказали:

— Жаловаться на полицию!

Она так заерзала, словно угорь на горячей сковороде, что пришлось успокаивать:

— Лежи! Лежи! Не бойся! Никто не будет жаловаться!

Одна мысль иметь опять дело «со страшной полицией» приводила ее в неопиcуемый ужас.

— Оставьте! Я повешусь. Я, ей-богу, повешусь!

— Сколько раз, — говорил мне один мой знакомый, бывший судебным следователем в Москве, — сколько раз мне хотелось зацепить этого знаменитого Эффенбаха! Нет, срывается! Налицо улики! Истязания были, несомненно. Не подцепишь! На днях еще. Приводят мужика. Сознался в небывалом преступлении. Истязали! Спрашиваю: «Били?» — «Моченьки, — говорит, — нет. Что хотят, то на себя и взведешь!» — «Как били, показывай!» — «Мягким чем-то по голове. Мягкое, а словно пуд!» Это у них мешочки такие длинненькие, с песком, приспособлены. «Пойдет, начнет молотить. На коленки перед ним, а ему-то еще и способнее. Сидишь в камере, темно, а как ключ в двери застучает, — ровно мышь в мышеловке замечешься. Сейчас войдет!» — «Кто же бил?» — «Сам начальник. Его все другие так «начальником» и звали!» Только этого и надо. Сам Эффенбах попался! — «Такой, — мужик продолжает, — мужчина огромнейшего роста, в плечах косая сажень. Страшенный, чисто слон!» Перо из рук вывалилось. А Эффенбах-то, знаете, роста ниже среднего, худенький! Ведь несомненное «противоречие в показании». Неоп-

ровержимое доказательство: «врет!» Настаиваю: «Да ты вспомни! Может, не такой он! Может, маленького роста!» Мужик на своем: «Говорю — слон! По силе видать! Нешто махонький так может?» А между тем несомненно, что Эффенбах, раз его «начальником» звали. Это у наших «agents de surete» такая иностранная привычка. С Парижа взяли! Модники!

— Чем же вы объясняете?

— Да чего же тут объяснять? С сиденья в темноте, в таком-то душевном состоянии, под такими-то ударами, мало ли что человеку покажется! Карапуз с богатыря! Они им какой-то сверхчеловеческий ужас битьем в такой обстановке внушают! У человека так все представления перепутаются, так начнет галлюцинации с правдой мешать, — никаких оснований для дела!

— Ну, а зацепили бы Эффенбаха, дело пошло бы?

Следователь подумал:

— Н-не думаю! Сказали бы: человек нужный. Но хоть пугнуть бы бестию. Хоть для очистки совести.

Это — Москва. А вот Петербург.

Лет пять тому назад в Петербургском окружном суде разбиралось «пустячное дело».

Два брата-татарина, официанты на Николаевском вокзале, обвинялись в краже.

Какой-то отъезжающий зашел в буфет, спросил себе бутылку пива, расплатился, пошел садиться в поезд, на платформе хватить — бумажника с деньгами нет.

— Очевидно, расплачиваясь, выронил.

Он вернулся. Лакей, который подавал, отвечает:

— Никакого бумажника на полу не видал. Мало ли тут народа ходит.

Господин — станционного жандарма.

Обыскали лакея — ничего. Обыскали его брата — нашли «часть денег». Бумажник и остальные, очевидно, куда-нибудь успел спрятать.

Клянется и божится:

— Деньги наши. Накопленные.

Братьев передали в сыскное отделение.

Через несколько времени они сознались.

— Господин обронил. Али заметил, поднял, передал брату, — разделили.

Только куда Али дел доставшиеся на его долю деньги и бумажник, Али, «несмотря на все увещания», сказать отказался.

Настал день суда.

Братьев защищал помощник присяжного поверенного «по передоверию от патрона».

— Дело выведенного яйца не стоит. Сознались!

Вопрос председателя:

— Признаете ли себя виновным?..

— Так тошно. Оба виноват!

Заключение прокурора:

— Ввиду полного сознания подсудимых не вижу необходимости в допросе свидетелей.

— Вы, г-н защитник?..

Защитник, к которому перед делом подошел один из свидетелей, взволнованный:

— Вы защищаете подсудимых таких-то?

И о чем-то с жаром ему говорил.

Защитник:

— Прошу допросить свидетелей!

Председатель посмотрел с недоумением и отвращением:

— На юридического младенца.

Ведь посылают же этаких юридических молокососов!

Сознались, — и свидетели.

Только судей задерживать!

Пожал плечами:

— Суд постановил допросить свидетелей.

Первый же — потерпевший. Нарочно из имения приехал к делу.

— Господа судьи! Эти люди обвиняются безвинно! Мой грех невольный! Деньги-то нашлись. И бумажник — вот он. За подкладку провалился. Так и ходил. А стали перешивать пиджак, — за подкладкой-то...

Председатель к подсудимым:

— Как же вы сознались, когда никакой и кражи-то не было?

Подсудимые переглядываются между собой. Словно советуются:

— Говорить ли?

Что-то по-татарски между собой.

— Да вы не на неизвестном языке между собой сговаривайтесь. Вы мне отвечайте!

Старший брат крикнул, видимо, решил:

— Ошень нас, ваше превосходыл, в сыскной бил. Так бил, что убийств на себя принимает могил!

Занесли, по просьбе защитника, в протокол.

В газетах было со всеми подробностями. Отказ от обвинения. Оправдательный приговор.

— Но выяснившееся на суде дело об истязании?

Так и умерло.

Прокурор не возбудил.

Защитник потом на подсудимых накинудся:

— Мне-то зачем же вы говорили: «Виновны. Мы крали. Наш грех»?

— Боялся. А вдруг ты это судьям скажешь! Нам в сыскной говорил: «Помни, что нам, то и следователю и всем говори! А то к нам же назад пришлют!» Дополнены дознани называется. Так бить будут!

Я рассказываю только первые мне на память пришедшие факты.

А сколько еще я их знаю!

А сколько таких «анекдотов» расскажет вам любой адвокат, даже и не роясь особенно в памяти!

А много ли по таким «открытиям на суде» возбуждено дел прокурорским надзором?

Обыкновенно принято.

Подсудимый на суде отказывается от своих первоначальных показаний:

— При дознании били!

Значит, врет:

— Все они на это ссылаются.

Но, во-первых, зло должно существовать, чтобы на него ссылаться. И должно быть очень распространено,

чтобы на него ссылались «все», как на нечто самое обыкновенное.

А, во-вторых, эти не отказывающиеся-то подсудимые?

Что же они, по злому умыслу, сами в каторгу, арестантские роты лезут, чтобы только полицию оклеветать?

А медицинские протоколы о побоях через две недели после ареста для дознания?

Сами себя люди избили, изувечили, чтобы людей, производящих дознание, опорочить?

Резина — судейское и прокурорское «понимание обязанностей».

И хорошо эту резину Н. В. Муравьев выварил.

Отлично тянется.

— пытки не в русском характере! — говорят. — Мы не китайцы, не испанцы какие-нибудь «сладкострастные»! Сделавшие из пытки утонченнейшее искусство!

— Ну, положим, и у нас бывали артисты. С историческим именем! Малюта, например...

— Куда Малюте какому-нибудь до испанцев! Какие у нас пытки! Так, битье, по дикости нравов. И память народная о пытках ничего не сохранила. Одно выражение: «узнать подноготную». Иглы под ногти запускали, чтобы «дознаться». Дальше изобретательность не шла!

— Но и это недурно.

— Далеко до испанских арсеналов!

Но и у нас «страсти» при дознании, — на котором потом строится следствие, суд, вся судьба, вся жизнь человеческая! — не всегда ограничиваются одним «простым» битьем.

Мне рассказывал...

И я не имею оснований не верить этому рассказу.

Ничего лестного для рассказчика он не заключал. Выдумывать было не к чему. Такие эпизоды в жизни стараются забывать.

И если бы не угрызения совести, если бы не давило кошмаром это прошлое, — что заставило бы человека, обеспеченного, с положением, живущего уже за границей, рассказывать о себе такое?

Это было в одном из южных городов. Рассказчик — еврей, музыкант.

Его призвали свидетельствовать при дознании против родственника по жене. По делу, по которому он ничего не знал.

По делу, по которому родственник его не был ни духом ни телом виноват.

Дело о поджоге.

Не было своевременно «дано».

Вызывают в участок. Прихожу. Ведут в кабинет к приставу. Глаз на глаз. Вы знаете наших южных приставов? У них самих — ничего. Но у жен их всегда отличные имения и с каждым годом округляются. Господин выхоленный, франт, усы в стрелку, от брильянтина шилом торчат.

Посмотрел пристав:

— Ты музыкант?

— Музыкант.

— Пилишь или насвистываешь?

«Вижу, ничего. Добрый. Думаю: шутить хочет».

— Флейта.

— Семейный?

— Жена, двое детей.

— Мастерство какое-нибудь знаешь?

— Зачем же мне мастерство, если я и на флейте 75 рублей в месяц зарабатываю?

— Здорово! Какие деньги вам, свистунам, платят!

«А я флейтист хороший. Если бы не семья, я, может быть, концертантом попробовал бы быть. Я и здесь 200 гульденов в месяц имею. Первая флейта!»

Говорит пристав:

— Слушай же, флейта, и думай. Такой-то тебе родственник?

— По жене.

— Ты мне покажешь, что по-родственному знаешь...

То-то и то-то.

— Как же я покажу, если я об этом в первый раз слышу?!

Посмотрел на меня пристав:

— Подумай, — говорит, — рук об тебя очень марасть не стану. Бить тебя не буду. Только раз! Даже не кулаком. Видишь, — рука складывается в горсточку. — Наотмашь по уху! Чок! Барабанной перепонки и нет. Понял?

Заметался я перед ним.

— Ваше высокоблагородие!

В ноги:

— Какой же я музыкант глухой? Вся семья по миру!

«А я-таки музыкант! У меня способности. У меня талант!»

Пристав:

— Вот ты, — говорит, — пока я эту бумажку пишу, и подумай. Кто тебе, флейта, дороже: жена родня или своя семья.

Написал бумажку.

— Ну? — спрашивает.

— Как же я буду невинного человека в каторгу законопачивать!

Придавил пуговку. Позвонил.

На пороге вестовой появился. Мужчина — в карман меня спрячет.

— Подержи-ка, — говорит, — мне эту музыку!

«Музыку» взяли за плечи.

Пристав встал.

— Ваше высокоблагородие! Стойте! Стойте! Согласен!

— То-то. Сидоренко, выйди. Через пять минут ко мне письмоводителя пришли. Пусть свидетельское показание запишет!

И рассказал мне все, что я «видел и знаю по этому делу».

— И вы?

— Показал!

Он сказал это тихим, упавшим голосом и добавил со скривленной улыбкой:

— Какая же флейта без перепонки?.. Жене я, пришел, все рассказал. Плакала жена о родственнике. Но меня поняла.

— Ну, а на суде?

— Суда я, сами понимаете, не дождался. Как я стал бы родственнику в глаза смотреть? Под присягой человека в могилу закапывать? Или отказаться от показания? Разве у них мало предлогов. Вызовут в участок, и с глаза на глаз... Раз там перепонки рвут, — продал все за бесценок, сюда бежал. Здесь, слава богу, имею кусок хлеба.

«С глаза на глаз!»

У нас просто.

Я сам два раза был свидетелем пыток.

Один раз это было в участке, в Николаеве, сейчас же после еврейского погрома.

Пристав любезно давал мне «сведения» и сам же предложил присутствовать при допросе:

— Мы этих мерзавцев не покрываем!

На третий день действительно уже не покрывали.

Пристав сидел за столом.

Перед ним, в числе письменных принадлежностей, лежала нагайка.

Вводят «задержанного».

— Имя, звание, фамилия. Бил жидов?

Ответ у всех один, слово в слово:

— Помилте, ваше высокоблагородие! Что я? Жидов, что ли, не видал, чтоб их дуть? Не махонький.

— Как же попал?

— Иду я, стало быть, улицей. Праздник, — гуляю. Гляжу, — озорничают. Остановился поглядеть. А в этот самый момент из-за уголышка казаки. Да в нагайки! Тут меня, с прочими наравне, в участок и загнали.

— Повернись!

— Ась?

— Спиной стань.

Мужик с недоумением поворачивался спиной.

— На дверь смотри.

— Смотрю.

Пристав вставал и нагайкой вдоль спины отпускал такой удар, что у мужика вырывался вопль нечеловеческий. Человека всего корежило.

— Пшел. Говоришь правду. Следующего.

Опять те же вопросы, слово в слово тот же ответ.

То же:

— Стань спиной. Смотри на дверь.

Удар. Крик. Но уж не таким благим матом. И нет тех корчей. Тогда:

— Скидывай рубашку!

Допрашиваемый снимал рубашку, под ней оказывалась другая.

— Скидывай и эту!

Под ней третья. Под ней еще одна или две шерстяные вязаные.

— Слоеный! Ты чего ж так вырядился?

— Помилте, ваше высокоблагородие! Сами изволите знать! Время праздничное! Народ пьяный! Нешто возможно оставлять? Живем артелью. Всего лишишься. Спьяна ж и украдут. Для целости все, что было, на себя и надел!

Ответ тоже, слово в слово, один и тот же.

— Ладно. Рассказывай своей бабушке. Задержать. Громила. Следующий!

И пристав пояснил мне:

— Это у них сноровка такая. Идет на погром, — побольше рубашек на себя надевает. Будут казаки плетью бить, — чтоб не так больно. Я тут, на юге, служимши, всю ихнюю механику знаю. А плетка у меня для скорости. У меня удар — гвозди пополам перешибаю. Завизжит человек, как боров зарезанный, — верно! Нечего с ним долго канителиться. Допрашивать, записывать. В одной рубахе. Случаем попал. Отпустил — и к стороне. Не дает настоящего голоса — этим стоит заняться. «Раздавайся». Узнаю без промаха. Система такая, — добываю голос.

Другой раз я видел пытку на каторжном пароходе.

Помощник капитана — и предобродушный человек в обыкновенной жизни — «разбирал дело».

В тюрьме случилась кража. Подозревался арестант-татарин. Татарина вывели на палубу. Разложили.

— Дать ему «линек».

Тут же стоял переводчик.

После удара:

— Что он говорит?

— Говорит, кто крал — не знай!

— Дай еще!

Давали.

— Теперь что?

— Говорит, ей-богу, не она.

— Скажи, запрячу, — не сознается. Дать еще!

На седьмом татарин сознался и указал, кому передал похищенное.

— Да ведь это пытка! — сказал я потом помощнику. Он посмотрел на меня с глубоким удивлением:

— Скажете!

Как посмотрел на меня и тот начальник тюрьмы, который мне рассказывал:

— Я человек, прямо скажу, гуманный. Они и так всего лишены. Что мне к ним соваться, их жизнь еще утягчать? Оставил их себе. Живут вольно. Только чтоб безобразий особенных не было. На прошлой неделе случилась у меня кража. Не дело! «Я бы, говорю, по-настоящему мог теперь повальный обыск в тюрьме сделать. Там у вас и карты, и водка, и деньги, — черт вас знает! — вы, может, фальшивые делаете. Вам было бы это неприятно. Так вы вот что. Вы мне украденное найдите и воров разыщите. Сами!» Назавтра, — и вещи и мерзавца — пожалуйста! Они вечером, чтоб вы думаете, — сделали? Взяли подозреваемых и принялись качать. Рассказывают, подбросят вверх, — да сами и расступятся. Он обзЕМь — бух. После четвертого раза во всем повинились и все указали.

— И вы об этом знали?

— Как же мне не знать, что у меня в тюрьме делается?

— Да ведь это же пытка!

Он посмотрел на меня тоже с изумлением:

— Тоже скажете! Какая же пытка?.. Так... «товарищеское воздействие».

Нас всех испортили с детства «кабинеты восковых фигур».

С их:

— Испанской инквизицией.

Их «испанскими сапогами», «грушами», которыми раздирали рот.

— Вот это пытки!

А это? Это «так»... битье, «невоздержанность на руку»...

— Да и везде полиция дерется.

Это уж чуть ли не Господом Богом так устроено.

— Франция — просвещенная страна? Республика. А и там не в конце XVIII века, а в 1906 году министр-президент г-н Клемансо должен был циркуляр издать против практикующегося в полиции «*passage à tabac*». Превратить человека «в табак». И это во Франции!

Но, во-первых, между кулачной расправой с арестованными или истязаниями человека с целью добиться от него показаний — разница.

А затем так рассуждать можем мы, обыватели.

Юрист — судья, прокурор — должен знать, что:

— Всякое истязание с целью добиться показания называется пыткой.

Что бы громко ни говорили господа следователи, господа прокуроры, господа судьи, — это будет из самолюбия, — в душе они должны будут, на основании своей практики, сознаться:

1) Что уничтоженные в конце XVIII века в России истязания с целью вынудить показание, т. е. пытки при дознании, существуют и практикуются широко.

2) Что из 1000 таких случаев, делавшихся им известными даже официально, 999 они обходили любезным молчанием.

Боюсь даже, что я беру еще слишком низкий процент!

Единственное объяснение, которое они могли бы дать:

— Дознание производит полиция. А полиция — это по министерству внутренних дел. А идти против минис-

терства внутренних дел — это считалось идти против правительства. Юстиция при Н. В. Муравьеве превратилась в «услужайшую» при министерстве внутренних дел!

Это объяснение, но не оправдание. Старое, мудрое положение римского права гласит:

«Кто молчал, когда мог и должен был говорить, тот, очевидно, согласился». А потому:

Господа следователи, прокуроры и судьи должны сознаться:

3) Что они пользовались результатами пыток в уголовных делах.

То есть сознательно пользовались пытками.

Конечно, не сами их производили. Никогда судьи сами этим грязным делом не занимались. Всегда на это были заплечные мастера.

Но они:

— Знали, терпели, молчанием поощряли и результатами пользовались.

Реформа нашего, вновь ставшего «дореформенным», суда должна начаться с реформы дознания.

ДЕЛО РЫКОВА И КОМП.

(От нашего корреспондента)

<1. 24 ноября>

Двенадцатый час...

Публика молчаливо ждет, но ожидание это не томительно, потому что все внимание сосредоточено на прелестях заново отремонтированной Екатерининской залы. В отношении пространства, света, воздуха и шика эта зала не оставляет желать ничего лучшего.

На прокурорском месте уже сидит прокурор судебной палаты Н. В. Муравьев. Позади судейского стола, покрытого темно-зеленым бархатом, жужжат газетчики. Тут все: кругосветный Молчанов, редактор «Новостей дня» Липскеров со своим «собственным» Левенбергом, Курепин с раздвоенной бородкой, Моциевский e tutti quanti¹, имена их же господа веси...

Газетчикам ужасно холодно. Столы их расположены между холодными колоннами, как раз перед окнами, откуда несет холодом, как из погреба. Слышны остроты насчет холодных, не столь отдаленных мест и жалобы на нелюбезность... зимы, заставившей мерзнуть ни в чем не повинных людей. Газетчики синеют... Немудрено, если к завтраму половина из них заболит ревматизмом и крапивной лихорадкой.

¹ И все прочие (итал.).

Ниже судейского стола — площадка с длинным столом для защиты, стол для вещественных доказательств и подкова для свидетелей. Тут вы видите людей, речи которых будут переводиться через тысячи лет, как мы переводим теперь Демосфенов и Цицеронов. Ораторы эти суть следующие: Одарченко, Шубинский, Курилов, Высоцкий, Скрипицын, Швенцеров, Гаркави, Фогелер, Генкин, Попов, Бернард и Холщевников. Половина биноклей обращена на них. Гражданский истец Ф. Н. Плевако сидит отдельно, за особым пюпитром, и сурово поглядывает на публику...

На столе вещественных доказательств целая «скопинская библиотека»... Если во всем Скопине наберется столько же книг, сколько на этом столе, то за скопинцев можно порадоваться: цивилизация их в шляпе.

Публики, сверх ожидания, мало. Выдано 500 билетов, а между тем занято не более 300 мест... Дам в пять раз больше мужчин. Бухгалтерии дамы не знают и дела, конечно, не поймут, но они пришли не понимать, а созерцать... Их бинокли бегают по лицам, как испуганные мыши...

— Палата идет! — слышится возглас судебного пристава.

Адвокаты, секретари и корреспонденты торопливо занимают свои места... Публика поднимается...

Дверь снова открывается, и в залу входят двадцать человек, которые после минутной толкотни и замешательства занимают места за белой решеткой. Большинство подсудимых длиннобороды, длиннополы и одеты в чуйки. Ни одной интеллигентной физиономии. Все больше «суздальское письмо»... Самому старшему из них 72 года, самому младшему — 29. Один из них, Барбанов, слеп, что, впрочем, не мешало ему быть во дни Рыкова членом ревизионной комиссии. (То-то, небось, рад был, что не видел!)

— Подсудимые, кто из вас Иван Гаврилов Рыков?

Из-за решетки поднимается толстый, приземистый мужчина с короткой шеей и огромной лысиной. Ему 55 лет, но тюрьма дала его лицу и волосам лишних лет

5—10: на вид он старше. Большое, упитанное тело его облечено в просторную арестантскую куртку и широкие, безобразные панталоны. Он бледен и смушен, до того смушен, что, прежде чем ответить на вопрос председателя, делает несколько прерывистых вдыханий. Его маленькие, почти китайские глаза, утонувшие в морщинах, пугливо бегают по зеленому сукну судейского стола.

Этот «Иван Гаврилов», одетый в грубое сукно, возбуждающий на первых порах одно только сожаление, вкусил когда-то сладость миллионного наследства. Разбросав широкой ручищей этот миллион, он нажил новый... Ел раки-борделез, пил настоящее бургонское, ездил в каретах. Одевался по последней моде, глядел властно, ни перед кем не ломал шапки.

Трудно теперь землякам узнать этого эпикурейца-франчика в его новом костюме.

После обычного предисловия Рыков заявляет, что он, кроме г. Одарченко, желает еще другого защитника, а именно г. Беяева. На что ему понадобился г. Беяев, письмоводитель совета присяжных поверенных, сказать трудно. Под стражей, кроме Рыкова, находятся: товарищи директора Руднев и Иконников, бухгалтер Матвеев, письмоводитель Евтихийев и Попов. По опросе подсудимых следует длинное и скучное перечисление неявившихся свидетелей. Всех свидетелей 107, не явилось 48.

Присяжные вплотную состоят из купцов, мешан и цеховых. По приведении их к присяге делается перерыв до 6-ти часов, а после перерыва начинается монотонное чтение длиннейшего в мире обвинительного акта. Акт этот изображает из себя толстую книгу, содержащую 9 000 газетных строк! Цифр в нем больше, чем букв.

<2. 25 ноября>

Второй день.

По прочтении обвинительного акта, замучившего двух крепкогрудых секретарей, подсудимым предлагается общий вопрос о виновности...

— Признаю себя виновным только по отношению к

некоторым пунктам, — отвечает Рыков, — в остальном же прочем не виновен.

Его collega № 1, сосед по скамье, «товарищ директора» Руднев, высокий, плечистый плебей с бледной, ничего не выражающей физиономией, виновным себя не признает.

— Не признаю-с!

Прочие подсудимые дают тот же ответ. И видно, что этот ответ давно уже приготовлен, заучен, но не обдуман... Говорится он на авось и наотмашь...

— Вы, подсудимый, подписывались бухгалтером банка, хотя им никогда и не были... и все-таки не признаете себя виновным?

— Подписывался, но не признаю-с...

По приведении к присяге пестрой толпы свидетелей суд находит нужным прочесть несколько документов. Содержание их приблизительно следующее:

Скопинский банк произошел из ничего. В 1857 году собрались скопинцы и порешили иметь свой собственный банк. Получив разрешение, они внесли все свои наличные в размере 10 103 руб. 86 коп. и назвали их «основным капиталом». Цыпленок разрастается в большого, горластого петуха, но никто не мог думать, что из этой грошовой суммы вырастут со временем миллионы! Цели банка предполагались розовые! треть доходов в пользу родного Скопина, треть на дела благотворения и треть на приращение к основному капиталу. Задавшись такими целями и положив в кассу основной капитал, скопинцы занялись операциями.

На первых же порах начинается жульничество. Видя, что вкладчики и векселедатели не идут, банкирцы пускаются на американские штуки. Они дают проценты, которые и не снились нашим мудрецам: от 6 до 7 с половиною процентов. За сим следует шестиэтажная реклама, обошедшая все газеты и журналы, начиная со столичных и кончая иркутскими. Особенно тщательно облюбовываются духовные органы. Реклама делает свое дело. Сумма вкладов вырастает до 11 618 079 руб!

С этими вкладами производятся фокусы... Сеансы

многочисленны и продолжительны. Самый красивый фокус проделывает подсудимый Илья Краснопевцев... Этот скопинский нищий, не имеющий за душой ни гроша, подает вдруг в банк объявление о взносе им вкладов на 2 516 378 руб. и через два-три дня получает из банка эту сумму чистыми денежками, но ими не пользуется, ибо объявление делает по приказу Рыкова в силу его политики. Второй фокус попроще: Рыков берет из кассы 6 000 000 и вместо них кладет векселя. Ему подражают прочие банковые администраторы, его добрые знакомые и те, про коих сказано «*nomina sunt odiosa*»¹, и скоро касса начинает трещать от просроченных, не протестуемых векселей... В конце концов следователь находит в кассе только 4000! А вот показание свидетеля, председателя конкурсного правления г. Родзевича:

«Сумма неоплаченных векселей простирается до 11 000 000. Взыскано же пока на удовлетворение этого громадного долга только лишь 800 000, да и то с большими трудностями. Кредиторы банка получают по 15—18 коп. за рубль, если же на удовлетворение долга пойдет и «многомиллионное», рекламой воспетое имущество города Скопина, то за рубль будет получено немногим больше — 28 коп. Авторы векселей большей частью имущества не имеют. Илья Заикин, имеющий имущества только на 330 руб., кредитовался на 118 000! Рыков, должный 6 000 000, не имеет ничего. Попов, бывший откупщик и эпикурец, должен 563 000, а имеет один только паршивенький домишко где-то у черта на куличках, в Архангельске. Глядишь на этих сереньких, полуграмотных мужланов, невинно моргающих глазками, и не веришь ни цифрам, ни прыти! Откуда эти «темные» люди набрались ума-разума, американской сметки и юханцевской храбрости?

Число вкладчиков равно шести тысячам. Большинство из них принадлежат к среднему слою общества:

¹ «Об именах лучше умалчивать» (лат., буквально: имена ненавистны).

духовенство, чиновники, военные, учителя... Средняя цифра взносов колеблется между 2000—6000, из чего явствует, что на удочку попадались люди большею частью малоимущие...»

За показанием Родзевича следует пародирование го-голевского Шпекина, исполненное бывшим скопинским почтмейстером Перовым. Он в продолжение 16 лет ежемесячно получал от Рыкова 50 руб. На вопрос, чем ему был обязан Скопинский банк, Шпекин невинно пожимает плечами и отвечает незнанием.

— Деньги я, правда, брал, — выжимается из него ответ, — но не спрашивал, за что мне их давали... Давали, ну и брал. Вроде как бы жалованье...

Вообще, надо заметить, герои текущего процесса питают какую-то страсть к уклончивым ответам, да и эти приходится выжимать из них с великими трудностями.

— Да ведь у вас же была голова на плечах, — обратился председатель к товарищу директора Рудневу, — должны были понимать.

— Голова-то была на плечах, это конечно-с, но... мы люди темные... неграмотные...

<3. 26 ноября>

Вечер второго дня.

Чтобы покончить с операциями приема вкладов, суд допрашивает иеромонаха Никодима, приехавшего в «мир» из дебрей Саревской пустыни Пошехонского уезда. Отец пошехонец дряхл, сед и расслаблен, как лесковский о. Памва. Вооружен он здоровеннейшей клюкой, вырезанной им по дороге из древ девственных, пошехонских лесов... Говорит тихо и протяжно.

— Почему вы, батюшка, положили ваши деньги именно в Скопинский банк, а не в другое место?

— Наказание божие, — объясняет объегоренный старец. — Да и прелесть была... наваждение... В других местах дают по три — по пяти процента, а тут семь с половиною! Оххх... грехи наши!

— Можете идти, батюшка! Вы свободны.

— То есть как-с?

— Идите домой! Вы уже более не нужны!

— Вот те на! А как же деньги!

Sancta simplicitas¹ воображала, что ее звали в суд за получением денег! Какое разочарование!

Покончив с обрисовкой злоупотреблений по операции приема вкладов, суд приступает к учету векселей — самой обширной и забористой части следствия...

Скопинские американцы, учитывая векселя, строго и упрямо придерживались таких правил: а) требуемый законом список лиц с примерным показанием размеров открытого каждому из них кредита составляет ненужный предмет роскоши; б) прием векселей к учету производится не по постановлению правления, а по желанию и резолюции Рыкова или его домочадцев; в) деньги по принимаемым векселям выдаются не бланконаписателям, а векселедателям, что хотя и противоречит сущности учета, но зато удобно и оригинально; г) при наступлении сроков векселя не оплачиваются, а заменяются новыми, причем проценты не платятся, а приписываются к капитальному долгу; д) протестованные векселя также заменяются новыми.

Что эти мудрые правила исполнялись без упущений и настойчиво, удостоверяется прежде всего свидетелем Никитою Гиляровым, редактором нашей юридической «Современки».

— Однажды, познакомившись со мной по поводу составления телеграммы о каком-то его пожертвовании, Рыков в знак благодарности полез в карман за папиросами, но, не найдя таковых, предложил мне вместо папиросы кредит в своем банке с маленьким процентом и необязательным возвратом капитала... Предложением я воспользовался.

Купец Иван Афонасов своим показанием не только свидетельствует неукоснительное применение вышесказанных правил, но и дает фабулу для романа... Он рассказывает, что после смерти отца своего он заявил у

¹ Святая простота (лат.).

местного мирового судьи об отречении от наследства, так как долг отца Скопинскому банку превышал стоимость отцовского наследья. Узнав об этом, Рыков и письмоводитель Евтихийев стали грозить Афонасову, что если он не возьмет обратно своего отречения, то они «упекут» его за сокрытие имущества отца. Свидетель согласился, взял на себя векселя отца... векселя были, согласно правилам, протестованы и заменены новыми, и... свидетель женился на дочери Рыкова.

Весь третий день занят все тем же учетом. Все свидетели толкуют о той диковинной легкости, с которой Рыков выдавал каждому встречному-поперечному чужие финансы. Простые лавочники, продающие овес и уголь, брали сотни тысяч! Векселя менялись на новые, проценты приписывались к капитальному долгу, бланки давались даже кучерами и лакеями. Для того чтобы поручиться за Ивана, не было надобности быть знакомым с этим Иваном, и кто затруднялся найти поручителя, тому выбирал такового сам Рыков из своей домашней прислуги.

Счеты подсудимых, которые почти все должны банку, различаются только по цифрам, по «духу же» они родные братья. Заем не по чину, бесшабашная трата и мена векселей с бесконечною припискою процентов... В своем долге подсудимые-чуйки видят вину и считают нужным оправдаться.

— Долг не вина! — объясняет председатель. — Виноват не тот, кто берет, а тот, кто дает! Вы не за долг попали под суд.

Но подсудимые не понимают... Владимир Овчинников, судящийся за преступления по должности городского головы, встает и дрожащим голосом рассказывает историю своего долга... В этой истории есть и смерть отца, и отцовские долги, и семья на шее, и постройка железной дороги, и упущение в торговле... Она длинна, но почти в самом начале прерывается тяжелыми рыданиями и питьем воды... Рыдания не прекращаются, и изложение истории отлагается до следующего раза... Впечатление тяжелое...

Находящийся под стражей коммерции советник Попов, бывший откупщик и владелец известного Кокоревского подворья, свой пятисоттысячный долг хочет объяснить не в пример прочим. Рыков был должен ему 500 000, и он взял эти деньги из банка за поручительством Рыкова... Попов заговорил сегодня впервые. Это в высшей степени интересная личность, по крайней мере для москвичей... Его физиономия и блестящее прошлое плохо вяжутся с теперешним арестантским халатом... Лицо энергическое, умное и интеллигентное, борода Черномора, глаза, окаймленные черными густыми бровями, глубокие, хитрые... О своем долге говорит он, как о пустяке... В прошлом привык он считать миллионы... стоит ли говорить о таких пустяках, как скопинские деньги? Дает он впечатление человека подвижного, делового до конца дней своих и под конец страшно, невылазно запутавшегося...

Г. Одарченко, поднимающийся после каждого показания и счета, старается доказать (он говорит по-хохлацки), что Рыков давал деньги своим клиентам, «желая добра», и что клиенты влопались только потому, что не были достаточно проникнуты добрыми рыковскими побуждениями... Г. Муравьев доказывает, что Рыков деньги «навязывал»...

Защитники то и дело вскакивают и делают заявления...

— Прошу, гг. присяжные, из прочитанного показания сохранить в своей памяти, что мой клиент в 1874 году был должен по трем векселям 11 372 руб. 44 1/2 коп., затем же в ноябре 1879 года он... и проч. ...

И таких заявлений, рекомендуемых памяти присяжных, сотни! Один г. Шубинский надавал их чертову тьму!

Председатель г. Терновский то и дело осаживает защитников.

— Я хочу сделать заявление... — просит защитник.

— Оно неуместно...

— Стало быть, отказываете?

— Отказываю! — отчеканивает резким голосом г. Терновский.

Защитники волнуются... Очевидно, г. Терновский порешил «не баловать» защиту... Без просьб «занести в протокол» и, пожалуй, даже без поводов к кассации не обойтись... Но об этом после...

<4. 27 ноября>

Четвертый день.

Вопрос о злоупотреблениях по учету векселей не исчерпан. Остается еще допросить на этот счет самих обвиняемых.

Не отрицая своих вексельных дебошей, Рыков все-таки виновным себя не признает. Причина всех причин, по его мнению, сидит в среде заедающей, в положении «одного не воина» и в фортунах, поворачивающейся к человеку, как известно, то задом, то передом. Говорил он складно, пространно, подчеркивая каждое слово. В его дрожащем голосе слышится энергия, нервная решимость... «Ужо, погодите, я все выскажу!» — читается на его оплывшем лице.

— Нет, уж вы меня не останавливайте, ваше п-во! — говорит он то и дело осаживающему его председателю. — Нет, уж вы позвольте мне говорить!

— Дела банка стали плохи... Но не в силах я был поднять руку на то, что сам создал, на свое детище... Я не в силах был ликвидировать дела, а продолжать держаться на прежней высоте банк мог только злоупотреблениями.

Из пятимиллионного долга Рыков считает на своей совести только полтора миллиона, все же остальное является фикцией: погашение своими векселями чужих долгов и проч.

— Да и эти полтора миллиона я употребил не на себя... Зная, какой страшный, непоправимый вред приносит России лесоистребление, я занялся добыванием каменного угля.

Появилось на свет божий «Общество каменноугольной промышленности московского бассейна», которое,

благодаря плохости и угля и гг. инженеров, вскорости приказало долго жить...

Товарищи директора дают очень недлинное объяснение:

— Нам давали подписывать, ну, мы и подписывали... Иван Гаврилыч приказывал... Думали, что так надо...

Бывший городской голова Владимир Овчинников, самый галантный из подсудимых, на вопрос, почему он не прекратил бесчинств в то время, когда знал о них и должен был прекратить их *ex officio*¹, говорит трагически, рыдающим голосом и запивая каждую фразу водой:

— Я знал, что в банке неладно... Я понимал, сознавал, что как гражданин я обязан был донести. Но я не герой! В Скопине я живу, имею родственников, связи, все мне дорогое и близкое... Если бы я донес, скопинцы прокляли бы меня... и это было бы моею гибелью...

Вопрос же, почему этот Овчинников, сделавшись городским головою, становится должным банку в пять раз больше, чем ранее, остается неразрешенным, так как подсудимый просит отложить решение этого вопроса до другого раза.

Подсудимый Иван Руднев, изображающий из себя невинного барашка, подписывавшего и «метившего» бланки по неведению и простоте, ставши товарищем директора, задолжал 213 000 руб., ранее же был должен только 40 000. Совершить такую метаморфозу простота и неграмотность ему не помешали.

Тайны скопинского атамана мог знать один только его стремянный, бухгалтер Матвеев. За службу и секрет Матвеев получал не в пример прочим. При готовой квартире и отоплении его ряжское мешанство получало 3 600 руб. в год. Кроме того, его папаше выдавалась ежемесячно двадцатипятирублевая пенсия. Ему позволялось увольнять и определять служащих, увеличивать и уменьшать содержание... Он был единственным служащим, которому Рыков подавал руку и которому иногда даже делал визиты. Награда великая, если принять

¹ По обязанности (*лат.*).

во внимание, что даже вкладчики, первые благодетели Рыкова, не знали другой чести, кроме двух здоровенных мужиков в передней г. директора да права глядеть на портрет Рыкова...

<5. 28 ноября>

Вечером четвертого дня суд, покончив с учетом векселей, приступает к «растрате запасного капитала». Спрошенный на сей счет Рыков говорит, что растрата была вызвана желанием протянуть еще надолго доверие вкладчиков. Товарищ его И. Руднев наивно ссылагается на свое плохое умение читать и писать.

— Но вы же все-таки подписывались, и подпись ваша всюду написана хорошим почерком!

— Он подписывался в продолжение 8-ми лет, — заступает защитник, — и так привык, что немудрено, если в его подписи виден хороший почерк.

Утром пятого дня допрашивается многочисленная стая прихлебателей Рыкова, составлявших «неофициальный отдел» скопинской обжорки. Эти не состояли в числе служащих, но тем не менее жалованье получали. Илья Краснопевцев получал жалованье *из банка* за то, что был помощником церковного старосты. Из того же банка получал 50 руб. в месяц Н. Шестов за то, что был домашним письмоводителем Рыкова. Дьякону Попову полагалась ежемесячная мзда «за сообщение Рыкову ходивших по городу слухов». Защитники стараются доказать, что о. дьякон получал не за сплетни, а за молебны и зычный голос.

— Были ли у вас, о. дьякон, с Иваном Гаврилычем интимные разговоры?

— Может, когда и были, не помню-с. Всё больше насчет церковного благолепия...

Кроме дьякона Попова, получали от банка «благодарность» в форме аккуратно выплачиваемого месячного жалованья: почтмейстер Перов, сигналисты Водзинский и Смирнов, телеграфист Атласов, секретарь полицейского управления Карчагин, судебные пристава

Изумрудов и Трофимов и чиновники канцелярии местного мирового судьи...

Шпекинство почтмейстера Перова подтверждается показанием свидетеля Симакова, корреспонденции которого в редакциях «почему-то» не получались. Сам он не получил однажды «почему-то» двух писем, писанных на его имя. Замечал, что номера газет с корреспонденциями из Скопина не получались обывателями и в общественной библиотеке старательно прятались.

Рыков не отрицает своей боязни корреспонденции, не отрицает и некоторых антигазетных мер, принятых им «ввиду массы анонимных писем», в которых иксы и зеты угрожали пропечатать его во все корки. Слово «шантажные» срывается с его языка!

— И вы называете газеты шантажными, — говорит председатель, — за то, что они изображали истинное положение дел вашего банка?

— Нет-с... Я говорю о тех авторах писем, которые нахально требовали с меня денег...

Вызывается свидетель титулярный советник Изумрудов, бывший судебный пристав. Отворяется дверь, и, сильно стуча ногами и потряхивая головой, входит высокий брюнет в «спинджаке», в котором очень мало титулярного, в красной сорочке и ботфортах. Его большая черная голова украшена громадной, мохнатой куафюрой, которой, по-видимому, никогда не касалась целомудренная гребенка. Свидетель то и дело встряхивает головой, улыбается и шевелит бровями. Он заметно бравирует и кокетничает своим знанием «всего подноготного»... На вопрос, за что ему выдавал банк жалованье, он просит позволения начать с самого начала.

— Призывает меня однажды к себе Рыков, — начинает он басом, гордо вскидывая голову и придавая лицу таинственное выражение. — Предлагает мне жалованье...

Он великодушно принимает...

— Зовет он меня в другой раз. «Отчего же, спрашивает, вы мне ничего не доносите, что между купцами

говорится?» Меня, знаете ли, возмутило. Я, говорю, не за то получаю эти 25 руб., чтоб быть вашим шпионом!

— Однако же у следователя вы не то показывали!

Читают показание, данное им на предварительном следствии, и — увы! — находят там фразу: «Хотя роль эта и грязна, но я по бедности принял его предложение».

— Признаться, когда я давал показание у г. следователя, — улыбается Изумрудов, — была Масленица и я... тово... был выпивши, в беспамятстве...

— А у вас много было в городе знакомых купцов?

— Э-э-э... ходил в трактиры для чаепития, то да се...

Свидетеля отпускают. Он напоминает суду о прогонах, садится и самодовольно улыбается во все время до перерыва, когда он еще раз напоминает председателю о прогонах.

Все щедрые подачи из чужого кармана Рыков объясняет бедностью скопинских чиновников и стремлением своим к благотворительности.

— Отчего же вы не благотворили из собственного кармана?

Рыков отвечает, что удовлетворение бедняков было одной из функций банка, а если на все упомянутые жалованья не было журнальных постановлений и приходилось действовать самовольно, то на это были у него невинные приемы, в которых он не находит ничего дурного.

Жалованье неофициальным служащим выдавалось из двух источников. Одна половина получала из жалованья некоторых настоящих служащих, которые по «соглашению» получали гораздо меньше, чем то фиктивно значилось в ежемесячной росписи, на жертву другой половины были отданы купоны от имевшихся в банке серий.

— Купонами вы не имели права распорядиться! Они не ваши!

— Но зато я имел право вместо серий иметь в кассе наличные деньги, которые не давали бы банку процентов.

<6. 29 ноября>

На долю конца пятого дня выпадают «злоупотребления по операции покупки-продажи процентных бумаг». После бесшабашного учета векселей бумажные операции занимают самое видное место в ряду банковских «облупаций и обдираний», подкосивших скопинский храм славы у самого его основания.

Покупки бумаг, на которые скопинская простота вначале возлагала большие надежды, не принесли банку ничего, кроме страшных убытков. Чтобы замаскировать эти убытки и придать годовому отчету невинную физиономию, банковцы употребляли следующий паллиатив. В начале января каждого года какой-нибудь подставной мещанин, вроде глухого и ничего не смыслящего в политике Краснопевцева, совершал банку quasi¹-продажу известного количества процентных бумаг, которые в конце декабря фиктивно покупал он же у того же банка, но уже по высшей цене, и получаемая таким образом разница цен заносилась в счет прибылей. Во время таких продаж и покупок бумаги, конечно, лежали в банковском сундуке и на свет божий не показывались... Краснопевцев продал однажды банку процентных бумаг на 3 000 000, а купил их обратно за 4 000 000, и таким образом банк записал в прибыль миллион... (Действительная же продажа бумаг чрез банкирские конторы дала банку около 2 000 000 проигрыша.)

Спрошенный Рыков бумажных злоупотреблений не отрицает, но ссылается на крайнюю необходимость: «Дело дошло до того, что предстояли две крайности: или продать полгорода с молотка, или принять крайние, энергические меры, то есть показать в отчетах громадные убытки, а это было бы смертным приговором для банка...» Вообще, заметно, Рыков набирается храбрости и входит в роль... Он критикует нормальный устав, не дающий гарантий для вкладчиков и узды для правления... Он говорит «литературно» и даже философствует:

¹ Ложную (лат.).

— Кредит — это огонь, который, попав в руки взрослых людей, является очень опасным.

По его мнению, фиктивные бумажные операции производятся и в других банках.

Иван Руднев виновным себя не признает.

— Ничего я в этих бумагах не понимаю-с, — бормочет товарищ директора. — Подают мне подписывать, я и подписываю, а понять, что к чему, — не моего ума дело...

— Чем же, наконец, вы были в банке?

— Членом-с... (в публике смех).

— Что вы там делали?

— Подписывал-с...

Рыков находит нужным повторить свою «исповедь», для тех газет, «которые прокричали на всю Россию, что есть такой зверь Рыков, который проглотил 6 миллионов, упрямо и настойчиво не печатают теперь исповеди, а если печатают, то в извращенном и сокращенном виде».

Кстати говоря, об «извращенном и сокращенном виде» Рыков слышал от других. Газет он теперь не читает. Ему разрешено читать одни только «Московские ведомости», но и тех пришлось ему просить у одного пишущего, которому удалось побеседовать с ним на этот счет...

Покончив с разного рода фикциями, суд приступает к погрешностям по ежемесячному и ежегодному контролю «цветущего состояния банка» и его сундука... Тут Рыков поднимается и просит позволения сказать слово о годовых отчетах.

Опять умоляющее лицо, дрожание рук... Опять речь о миллионе, погубленном на уголь, о нормальном уставе, не дающем гарантии вкладчикам и узды правлению... Планы годовых отчетов высылались ему благодетелями из Петербурга, но кто высылал, он говорить не желает... Неправильности в контроле являлись необходимостью вследствие «недостатка мужества» ликвидировать дела банка...

— Прошу эти мои слова, — заканчивает Рыков, за-

дыхаясь от мучащих его сердцебиений, — стенографировать и напечатать...

Городские головы, члены управы и гласные, на обязанности которых лежал контроль банка, отчеты подписывали и похваливали, но не проверяли, хотя и знали о их злокачественности... У одних из них не хватило мужества, другие верили старшим, третьи действовали по неразумию...

Выясняется на суде, что отчеты подписывались разом за несколько месяцев, что они носились для подписи по лавкам и домам, а о собраниях и помину не было...

Защита невесела... Она чувствует себя в загоне и ропщет... То и дело слышатся председательские: «это к делу не относится!», «это уже разъяснено!», «не позволю!»... Какой-то защитник из молодых, обрезанный председательским veto¹, просит о занесении в протокол. С другим, у которого от непосильной работы и частых veto напряжены нервы *ad maximum*², делается в буфете что-то вроде истерики... Вообще вся защита, *en masse*³, повесила носы и слезно жалуется на свою судьбу, на прессу... Ни в одной московской газете, по ее мнению, нет ни порядочного отчета, ни справедливости, ни мужества...

<7. 30 ноября>

Седьмой день — день психологов, бытописателей и художников. Скучная бухгалтерия уступает свое место жанровой характеристике лиц, характеров и отношений. Публика перестает скучать и начинает прислушиваться.

Свидетелями подтверждается, что дума находилась в полной зависимости от правления банка. Городские головы, гласные и их избиратели всплошную состояли

¹ Запрещаю (*лат.*).

² До предела (*лат.*).

³ В массе (*лат.*).

из должников банка — отсюда страх иудейский, безусловное подчинение и попускательство... Город изображал из себя стадо кроликов, прикованных глазами удава к одному месту... Рыков, по выражению свидетелей, «наводил страх», но ни у кого не хватало мужества уйти от этого страха.

Свидетель Арефьев, мужичок, должный банку 170 тысяч, повествует, что один только Бог мог бороться с Рыковым. Все его приказания исполнялись думой и обывателями безусловно.

— Большое лицо был... Скажи он: «Передвинуть с места на место этот дом!» — и передвинули бы. *Никто* не мог прекословить... Человек сильный... Ничего не поделаешь...

По его мнению, товарищ директора и кассир Ник. Иконников — человек хороший, честный и состоятельный, поступил же в банк «по глупости».

— На его месте я никогда бы не пошел служить в этот банк... В банк шел тот, кто Бога не боялся...

Свидетель Котельников рассказывает, что перед каждым выбором агенты Рыкова ходили по дворам обывателей и советовали не выбирать «господ», которых Рыков недолюбливал, а выбирать городских, обязанных банку. По его мнению, Рыков сделал для города много хорошего. Построенная им дорога значительно повысила скопинскую торговлю.

Тут Рыков поднимается и просит позволения сказать несколько слов о построенной по его инициативе железной дороге. Он заявляет, что эта дорога, приносящая теперь Скопину «вековую» пользу, стоила ему частых и хлопотливых доездов в Петербург, издержек и проч. ...

На заседаниях думы *он* сидел обыкновенно рядом с головой и по каждому докладу подавал мнение первый... Это мнение и принималось, а всякие против него возражения отвергались. Составление собрания думы для рассмотрения годовых отчетов вызывало со стороны Рыкова и его верноподданных голов особые меры. Заседания эти зачастую назначались внезапно, вследствие чего люди вредные и подозрительные получали повест-

ки за полчаса до заседания или же, что проще, после заседания.

Свидетель А. Кичкин, человек «вредный», рассказывает, что перед одним заседанием, в которое гласные хотели избрать его кассиром, Рыков услал его из города «осмотреть железные и медные вещи» и что повестка была вручена ему в то время, когда он садился на поезд. В кассиры выбран он не был, потому что знающий законы Рыков заявил на заседании, что «отсутствующие» избираемы быть не могут, и таким образом «вредный дух» был выкурен. Каждый праздник Рыков посылал в Петербург поздравительные телеграммы и получаемые ответы приказывал печатать и рассылать по домам и лавкам. Действуя таким образом, он не мог не приобрести репутации человека «высоко стоящего». Подсудимый, городской голова Василий Иконников, которого, как сказывают, спаивал Рыков, по словам Кичкина, пил сильно и даже на заседания являлся в пьяном образе.

Интересное показание дает врач Пушкарев, скопинский старожил и теперешний голова... Он говорит с жестикуляцией, шеголяет образными, витиеватыми выражениями и старается объяснить самый «корень», но с трудом сосредоточивается на каждом вопросе...

Рыков, по мнению доктора, человек «особой характеристики», необыкновенный. Его нельзя мерить обыкновенным аршином. Польза, которую принес он городу, громадна. Город стал на высоту губернского, и, если отнять у него все данное Рыковым, он обратится в «пустыню». Богадельни, приюты и учебные заведения Рыков устраивал из честных побуждений...

— Вы знаете, что в Скопине был приют имени Рыкова. Не находите ли, что учебные заведения и библиотека были устраиваемы им из тщеславия?

— Нет, любил народное образование.

Остальных подсудимых доктор сравнивает с матросами...

— Все это корабль, а они матросы... Корабль плывет,

а матросы натягивают паруса, слушают приказания вождя, но не ведают, куда несет их корабль...

Бухгалтера Матвеева свидетели рекомендуют с хорошей стороны. Жил он тихо и скромно, слушался Рыкова и без предварительного доклада никаких дел не совершал. Кассир и товарищ директора Иконников, в дополнение к хорошим аттестациям, которыми свидетели украшают его нрав и характер, заявляет:

— Да ей-богу! Вот как перед Богом! Я и не хотел в банк поступать! Зовет раз меня к себе Рыков и приказывает: «Иконников, ты поступи на Василь Якалича место!..» Я Христом Богом... Ослабоните, я неграмотен! А он гырт: «Тебе, гырт, нет дела до твоей малограмотности, ты только подписывай!» Не послушаться нельзя было: вдребезги разрушит! Приказал, почему и сажу таперича на подсудимой скамье...

Свидетель Дьяконов, очевидно, ждал процесса, чтобы излить свою желчь, накипавшую годами... Давая свое показание, он нервно спешит и пускает в сторону Рыкова негодующие взоры...

— Я шел против банка, и за это он посадил меня в тюрьму! Я был должен 20 тыс. и сидел, другие же, которые были должны 500 тыс. и более, оставались в покое... Сидел я 11 месяцев, а он говорил всем в это время: «Так вот я поступаю со всеми, кто идет против меня! Со мной опасно ссориться!» Войдя со мной чрез поверенного в сделку, он выпустил меня, но, взяв мои дома, нажил 10 тыс., так как никого на торги не пустил и имущество оставил за собой. Кроме меня, за долги еще никто не сидел, потому что, кроме меня, никто не шел против него...

Показание Дьяконова Рыков объясняет мщением за 11-месячное тюремное заключение и просит не верить.

— Не я нажил 10 тыс., а банк... И как я мог не пустить на торги, если о них печатается?

Маленький черненький защитник с сильным еврейским акцентом спрашивает у одного свидетеля:

— Говорил ли когда-нибудь Рыков вместо головы?

— Это физически невозможно! — протестует Рыков. — Мне даже обиден подобный вопрос!..

Председатель призывает маленького защитника к порядку и советует ему «прежде подумать, а потом уже спрашивать».

<8. 1 декабря>

Вечер седьмого дня посвящен обвинению Рыкова, Руднева, Иконникова и прочих рыковцев в том, что они «составляли и скрепляли своими подписями заведомо фальшивые отчеты о состоянии банковской кассы для думы и министерства финансов...» Отчеты составлялись *lege artis*¹, но дело в том, что отчеты для думы разнились во многом от grossбуха, а отчеты для министерства тянули из разной оперы и с grossбухом, и с отчетами для думы, и таким образом одна «правда» подносилась думцам, другая — министерству...

Эта отчетная разноголосица подтверждается и признанием подсудимых, и показаниями свидетелей... Выясняется, что бухгалтер Матвеев, чуявший нюхом весь риск подобных отчетов, ежегодно перед составлением отчетов брал отпуск и уезжал на богомолье, оставляя все на помощников своих Швецова и Аляшева. Поездки Матвеева и его косвенный нейтралитет особенно усердно подтверждаются родственником его Феногеновым. По милости этого Финогенова происходит на суде маленький пассаж... Давши свое показание и севши на место, он вдруг поднимается, подходит к свидетельской решетке и заявляет о своем желании сделать дополнение к только что сказанному... Показание его для Матвеева благоприятно. Такое же свойство имеет и его дополнение...

— А вы ведь родственник Матвеева! — замечает председатель...

Г. Курилов, защитник Матвеева, весь состоящий из сладенькой улыбки, защитнический словарь которого

¹ По правилам искусства (*лат.*).

переполнен сладенькими словами «почтительнейше», «покорнейше», «осмелюсь заявить, ваше п-о» и проч., вдруг поднимается и, согнав с своего побледневшего лица обычную сладость, просит замечание г. председателя занести в протокол.

Перед концом заседания Рыков просит председателя о том, о чем просил вчера и третьего дня, о чем попросит завтра и послезавтра: начать завтра заседание его, Рыкова, исповедью. Наступает утро восьмого дня, и Рыков говорит то же самое, что говорил в продолжение всей истекшей недели и о чем не перестанет толковать и в дни будущие. Исповедь его приелась и суду, и публике.

Когда Рыков поднимается, чтобы завести свою машинку, его защитник г. Одарченко морщится...

— Садитесь! — оборачивается он к своему клиенту. — Слушайте председателя!

В составлении фальшивых отчетов и скреплении их подписью Рыков виновным себя признает.

— Я в этом деле был преступен, но...

И после «но» следует та же исповедь с повторением, что «говорю по совести, планы для отчетов я получал из Петербурга, а это (указывает на подсудимых) не счетчики, а только прикладчики!».

Засим новый пункт обвинения: начиная с 1874 года, ежегодно перед тиражом 1-го и 2-го займа рыковцы делали постановление о продаже подставным лицам, Рудневым и Краснопевцеву, выигрышных билетов, немало же погоды, когда миновало время выигрышей и тиражей, делалось постановление об обратной покупке этих билетов. Делалось это ради фиктивных прибылей, которыми замазывались отчетные дыры...

Рыков по этому пункту виновным себя признает и опять начинает исповедь.

Кроме Рыкова, никто другой виновным себя не признает.

— Приказывал-с... Мы даже не понимаем-с...

На долю того же дня выпадает и выпуск фиктивных вкладных билетов, и покушение на сбыт их. На сцену

выступают новые герои, новые дела и новые театры действий.

В 1882 году, когда, по выражению витийствующего Рыкова, его дом «окружали толпы вкладчиков с револьверами», Рыков начал проявлять особого рода деятельность, клонившуюся к достаче денег во что бы то ни стало и хоть сколько-нибудь. Что всего страннее, миллионер перестал брезгать даже грошами. Ему вдруг понадобились деньги, но не для удовлетворения «толпы с револьверами», как он силится доказать, ибо сотней тысяч этой толпы не удовлетворишь, а для чего-то другого.

Деятельность его по сбору крох так нервна и в ней столько хлопотливого спеха, что приходится подозревать в ней предчувствие «черного дня» и неизбежное с ним припрятывание... Он сдает в долгосрочную аренду свое имение в с. Ногайском, распродает в том же имении хлеб, сено, орудия и проч. ...Он совершает две закладные на имение в Рязанском уезде, продает мужу своей сестры имения, находящиеся в трех уездах... Но этих денег все-таки мало, и он старается изо всех сил продать, пока еще не поздно, фиктивные вкладные билеты своего банка.

Рыков виновным себя признает, но полагает, что от описываемых операций банку убытка не было... Цель — «толпа с револьверами».

— Все же остальные, которые участвовали в покушении на сбыт этих билетов, о фиктивности их ничего не знали и были только моим орудием...

— Но думали ли вы о тех, которые купят эти бланки?

— Утопающий хватается за соломинку... Надеюсь на субсидию...

И опять исповедь... Обвиняемый Виноградов, землемер, маленький, тощенький титулярный советник, ездивший в Витебск продавать билеты, виновным себя не признает.

— Я считал Рыкова богатым человеком и никак не мог думать, чтобы он из-за каких-нибудь 40 тыс. мог пуститься на такое дело!.. Не предполагал даже.

Подсудимый Донской, коллежский советник, тоже покушавшийся на сбыт, виновным себя не признает. Он не знал о фиктивности. Коммерции советник Попов говорит длинную речь о своем неведении свойства рыковских билетов и кончает рыданием со словами: «Очутился здесь! Легко сказать». И последний обвиняемый по этому пункту Семен Оводов, тип уездного кулачка в чуйке, сапогах бутылками и «суздальским письмом», виновным себя не признает и объяснений давать не желает...

При допросе свидетеля Грюнфогеля, к которому в Москве обращался Оводов за помощью, защитник Высоцкий получает замечание за то, что обзывает свидетеля «биржевым зайцем»...

— Это слово скверное... Вы должны относиться к свидетелю с уважением!

<9. 2 декабря>

Вечер восьмого и утро девятого дня знакомит публику с «Обществом каменноугольной промышленности московского бассейна», стоившим Рыкову, или, вернее, его вкладчикам, более миллиона рублей. Общество это создал скопинский «бонза» купно с действительным статским советником Евгением Бернардом. Насколько ценны были акции этого мертворожденного общества, можно видеть из показаний «директоров» правления Донского, Евтихьева, Матвеева и Кичкина, которые, чтобы иметь право на занятие должностей директоров и их кандидатов, получили от Рыкова и Бернарда по куче акций бесплатно.

В 1876—1877 годах, когда работы на шахтах уже были прекращены и самые акции были отданы домашнему потреблению, рыковцы учинили на петербургской бирже фиктивную сделку, установившую цену акциям, и этой сделкой ввели в заблуждение министерство финансов. В своем указателе оно разрешило принимать акции, над которыми в Скопине уже смеялись. Только благодаря местным органам министерства, подкупить которых Рыкову не удалось и которые воочию убеди-

лись в «воздушности каменноугольной промышленности», министерское разрешение было поспешно отобрано назад и рыковцы остались на бобах.

Девятое утро не избегает общей участи. Увы!.. и оно начинается речью Рыкова.

После рыковской речи серый фон, который видела доселе защита, делается черным, как сажа. Маленькие надежды, навеянные показаниями прошедших дней, лопаются и обращаются в пыль. Рыкову несдобровать.

Его лакей Филиппов показывает, что незадолго до краха Рыков в течение двух недель сжигал какие-то бумаги. Бумаги эти вынимались из двух кладовых, клались на телегу и отвозились в баню, где и сжигались.

— Я имел странную привычку собирать всякие бумаги, — объясняет это аутодафе¹ Рыков. — Сжигал я их отчасти с тою целью, чтобы они не могли скомпрометировать петербургских лиц.

Свидетель Альбанов, бывший акцизный чиновник, а ныне участковый мировой судья и гласный думы, дает в высшей степени интересное показание, сильно изменяющее шансы Рыкова и г. Одарченко. Он не повествует ничего нового, но все раньше бывшие показания собирает воедино и подносит их в одной сильно действующей дозе...

Он рассказывает, что деньги таскал из банка всякий, имевший руки... Ташили, сколько и когда хотели, не стесняясь ничем... Кассир Сафонов таскал деньги из банка в платке и носил их домой, как провизию с рынка. Дела банка стали пошатываться в 1876—1877 годах, отсюда желание поправить эти дела проделкой с акциями угольного общества... Засим дела банка стали поправляться, так как наступила война.

Деньги, которые наживались и клались на войне, высылались в банк, и было время, когда банк получал по 50 тысяч вклада ежедневно! Перед войной агенты Рыкова жили в Кишиневе и рекламировали там свой разбойничий вертеп («цветущее состояние и немедлен-

¹ Сожжение (португ.).

ная выдача по востребованию...»), на какую рекламу ответы последовали немедленно... Но это облегчение, принесенное войной, было скоропреходяще... В 82 году свидетель застает уже в банке картину краха со всем его хаосом... Спрошенный о думе и чтении отчетов, г. Альбанов смеется:

— Отчеты всегда читались так, что и понять нельзя было... Делалось ли это умышленно или нет, сказать наверное не могу...

Рыков признавал ее только как одно из своих орудий. Когда одному исправнику захотелось однажды в каком-то случае показать свою самостоятельность, Рыков срезал этот «центр уездной власти» такой фразой:

— Важная птица! Да ежели я захочу, так завтра же мне целый вагон исправников привезут!

Рыкова рекомендует свидетель как человека грубого, честолюбивого, мстительного; человеческого достоинства этот жировик не признавал. Призывая, например, к себе на дом кого-нибудь из служащих и уведомленный о его приходе, он говорил: «Пусть подождет!» Служащий ждал в передней час, два, три... день... до тех пор, пока лакей не уведомлял его, что «сам пошел спать»... Для служащих у него были: передняя и «ты»... Дальше этих двух выражений барствующего холуйства отношения его к людям не шли... Людей, которые ему почему-либо не нравились, он выживал всячески... На одних делал донос в неблагонадежности, других выпроваживал «административным порядком»... Некий Соколов, дерзнувший в его присутствии насвистывать, был выпровожен таким образом.

— Привезли его через полицию на вокзал, вручили билет III класса и — айда.

Той же участи подвергся и другой смельчак, игравший в отсутствие Рыкова на любительском спектакле... Рыкова не стесняли «ни время, ни пространство», и не верилось даже в существование власти, могущей сковырнуть эту титаническую силу или хотя бы сбить спесь...

— Олевался он в шитый золотом мундир и белые,

генеральские панталоны. Грудь его была увешана орденами, как русскими, так и иностранными. Между последними был также и персидский орден «Льва и Солнца».

— Вы на любительских спектаклях участвовали? — спрашивает Рыков г. Альбанова, во все время показания которого он сидит, как на иголках...

— Да, всегда.

— Вы считаетесь там хорошим актером, *оттого-то* так и показываете.

Председатель объявляет Рыкову, что если он будет оскорблять свидетелей, то его выведут из залы... Но Рыков не успокаивается:

— Он меня больше оскорбил своим показанием!.. Прошу занести его показание в протокол! Он оскорбил и министерство иностранных дел! «Льва и Солнца» я получил от самого шаха за собственную его подпись! — и т. д.

Засим показывает уездный врач Битный-Шляхто... Показание его по характеру однородно с предыдущим и режет Рыкова пуще ножа острого. Он рассказывает свои личные похождения в роли человека, обвиненного Рыковым в неблагонадежности... Чего только не пертерпел этот пожилой и заслуженный врач! И нечаянный перевод из нагретого места в Касимов, и требование знакомым исправником «паспорта», и приказание выехать «немедленно»... Проходя все тартары человека, желающего узнать, за что его гонят, он тут только понял, как силен и властен был Рыков!

— Если со мной проделывал он такие штуки, то что же стоило ему удалить какого-нибудь мещанина!

— Вы поляк? — силится Рыков скомпрометировать «политически» свидетеля...

— Но ведь вы русскоподданный? — парализует его некрасивый вопрос г. Муравьев.

— Да, и учился в московском университете...

Далее г. Шляхто описывает скопинские «предерживающие власти». Ныне умерший мировой судья Александровский, состоявший должным банку 100 тыс., был об-

разцом неправедного судьи. Судил он так, как хотел Рыков, и за это получил в народе прозвище «рыковского лакея». Однажды этот рыковский лакей решил какое-то дело так праведно, что на съезде товарищ прокурора Шереметьевский нашел нужным донести о действиях Александровского куда следует...

— Скажите Шереметьевскому, что его переведут! — постращал всесильный Рыков.

И этот судья держался на месте три трехлетия, благодаря «всеобщей уездной деморализации», как старается доказать волнующийся г. Одарченко, или благодаря «всеобщей денежной зависимости от Рыкова», как утверждает г. Шляхто.

Следующий свидетель г. Треммер рассказывает, что во время краха, когда в Скопин прибыл прокурор судебной палаты, Рыков не падал духом.

— Говорил о Гамбетте, Биконсфильде, но о положении дел ни слова...

Очевидно, всесильному тузу не верилось ни в арест, ни в тюрьму...

<10. 3 декабря>

Вечер девятого дня. Газетчики, предвкушая наслаждение, облизываются, а публика, охотница до пикантностей, притаила дыхание...

Дело в том, что к свидетельской решетке подходит Н. И. Пастухов, редактор «Московского листка». В обвинительном акте красуются следующие строфы: «Однако старания Рыкова были мало успешны: удовлетворительный исход получили лишь переговоры с редактором «Московского листка» купцом Николаем Пастуховым, который, по показанию Оводова, согласился не печатать компрометирующих банк и Рыкова статей, за что получил 700 руб. ...» Неудивительно же поэтому, что газетчики in согоре¹ прикладывают руки к ушам и, уве-

¹ В полном составе (лат.).

личивая таким образом свои ушные раковины, с жадностью ловят каждое пастуховское слово.

Г. Пастухов поясняет, что 700 рублей взяты им не за молчание и не за фимиамы, как хотелось бы любителям пикантного, а за заказ. Взяты они им авансом за напечатание объявлений о Скопинском банке, и потом, когда объявления эти в редакцию не присылались и банк стал лопаться, г. Пастухов почел за нужное отправить их в конкурсное правление, откуда и имеет в удостоверение квитанцию...

О, fallacem hominum spem!¹ Облизывающиеся физиономии антагонистов вытягиваются и принимают крайне разочарованный вид. Ожидаемое развлечение не состоялось, и таким образом единственное пятно, лежавшее на прессе, сослужившей такую блестящую службу в деле открытия скопинских дебоширств, стусывывается до нуля... Не отказавшись от показания (что сделали другие гг. редакторы), г. Пастухов оказал тем самым немалую услугу... Им было констатировано, что Рыкову, подкупавшему всех и вся, не удалось подкупить ни одного русского печатного органа.

Отпустив г. Пастухова, который был последним свидетелем, суд приступает к чтению различных документов. Прочитывается, между прочим, и рыковский формулярный список. Рыков находит его недостаточно полным.

— Там не обозначено еще, что под конец моей служебной деятельности я был пожалован Владимиром 3-й степени и орденом «Льва и Солнца». Не обозначено также, что я состоял попечителем скопинского реального училища.

Десятое утро начинается, конечно, речью Рыкова. Все придуманное за ночь новоиспеченный Цицерон выкладывает перед судом утром. Речи его, быть может, и искренни, но они так тяжелы и так часты, что Рыков, говоря их, только проигрывает.

¹О, превратная человеческая надежда! (лат.)

— Я говорю не как подсудимый, а как русский гражданин, обязанный исполнить свой долг...

Говорит он «пред лицом всевидящего Бога, пред лицом публики, жадно наполняющей эту залу, и в виду газет, разносящих по нашему необъятному отечеству все слова, которые здесь произносятся...»

— Говорю это пред лицом ходатая за моих вкладчиков, которого вся Россия справедливо считает самым красноречивым оратором...

Но Плевако не удастся скушать этот комплимент... Его еще нет в суде... Он приходит обыкновенно на заседания позже всех, около часа дня, бразды же правления оставляет своему союзу юному Дмитриеву.

За речью следует чтение бумаг, найденных при домашнем обыске у бухгалтера Матвеева. Бумаги эти писаны карандашом «для себя»... Матвеев, не обладающий хорошою памятью, записывал «на случай, ежели Иван Гаврилыч спросят», все свои деловые разговоры... Форму предпочитал он катехизическую, с вопросами и ответами:

В. Можно ли в отсутствие И. Г. учесть векселя Сафонова?

О. Иван Иваныч едва ли согласится.

В. Протестовать их можно?

О. Да...

И все в таком же роде. Характерного много, но компрометирующего ничего. Матвеев охотно дает объяснение каждой бумаге... Говорит он складно, с искренностью в тоне и не забывая своих любимых: «мотивируя» и «это не входит в круг моих действий». Вообще на суде держит он себя лучше всех подсудимых; не подпускает свидетелям «экивок» и не отказывается от необходимых объяснений.

По прочтении его бумаг для публики наступает «большая неприятность» в образе экспертизы... Эксперты изучили скопинское дело «насквозь», но говорят такую тарабарщину, что дамочкам делается дурно. Из 500 человек публики экспертов понимает разве только одна пятисотая часть, да и то по теории вероятностей.

В их тарабаршине я ничего не смыслю, но от знатоков дела слышал, что экспертиза исполнена добросовестно и с знанием дела, несмотря на ее выходящие из ряда вон трудности. Гг. Кожевников, Зарубин и Романов каждый день завалены работой, а вопросам, предлагаемым на их разрешение, нет числа...

Следствие окончено, и теперь очередь за прениями.

<11. 4 декабря>

Одиннадцатое утро.

Наступает самая интересная часть процесса — прения сторон. Г. Муравьев становится за свой стол, кладет на пюпитр большую тетрадь, но... прежде чем публика слышит его первое слово, ей приходится быть свидетельницей из ряда вон выходящего недоразумения.

Дело в том, что пунктуальный Рыков и это утро хочет начать своею речью...

— По-видимому, вы не знакомы с порядком судопроизводства! — останавливает его председатель. — Теперь вы должны слушать обвинительную речь и молчать...

Но Рыков настойчиво требует слова...

— Я хочу защищаться!

Председатель угрожает подсудимому выводом из залы заседания, но это еще больше вдохновляет речистого Рыкова. Он еще раз требует «пред лицом публики», и... его торжественно выводят из залы... Иван Руднев и Ник. Иконников остаются без соседа...

После этого председатель дает звонок, и г. Муравьев начинает прения...

Эти строки пишутся во время обеденного перерыва, а потому о речи г. Муравьева я могу судить только по ее плану и форме, так как содержание ее вступления есть только художественная перефразировка обвинительного акта.

Уже один план ее показывает, как блестящ талант г. Муравьева и сколько страшного труда потребовало от него рассеяние скопинского гордиева узла!

Манера говорить у г. Муравьева профессорская. Он

даже и жестикулирует, как профессор. Лекция его начинается с «истории предмета»... История эта коротка, но слушатель узнает из нее все необходимое для освещения последующей сущности... Привожу характерную оценку показаний самих подсудимых (приблизительно):

— Расхищены 12 миллионов. Кто же виноват? Рыков сваливает всю вину на неполноту нормального устава, на недостаток контроля... Он не виноват... Не виноваты также и его товарищи Рудневы и Иконников, потому что по неграмотности они подписывали все, что только им ни подавалось... Не виноват и бухгалтер Матвеев, уезжавший ежегодно перед каждым отчетом на богомолье... Не виноват Евтихийев, который был только письмоводителем... Городской голова В. Овчинников тоже не виноват, потому что у него в Скопине родственные связи, много знакомых и к тому же у него мягкий, уступчивый характер... Кто же виноват и где искать виновников?

Следует засим короткая, но тщательная диагностика... Г. Муравьев, вооруженный программой и знакомый с умственным цензом своих слушателей, считает также нужным пояснить им, что говорит «нормальный устав», что значит «учет векселей», «городской банк» и проч.

После первого перерыва опять недоразумение... Рыков, введенный в залу, опять требует «права защищаться». О том, что его требование нарушает порядок судопроизводства, он и слышать не хочет...

— В таком случае, — заявляет он, разгневанный отказом, — я сам не желаю сидеть здесь и освобождаю моего защитника от защиты! Я не хочу, чтоб он говорил за меня! Освобождаю!

И его опять выводят... Глаза всех обращены на г. Одарченко... Этот ни жив ни мертв...

На вопрос председателя, находит ли он, как доверенное лицо подсудимого, возможным после заявления Рыкова продолжать свое дело, г. Одарченко подходит к столу и заявляет, что чувство долга он ставит выше

своего личного чувства и в силу данной им присяги не находит резонным оставлять без защиты Рыкова, который к тому же сильно возбужден.

Рыков выходит из залы суда с сознанием, что он, уходя и освобождая от защиты г. Одарченко, дает повод к кассации...

— Первый случай за все время судебной практики! — слышится шепот. — Объясните, как же это? Почему? — и т. д.

Очевидно, Рыкова подучил кто-то... Сам он своими плебейскими мозгами не мог додуматься до такой штуки!!

Г. Муравьев продолжает... Присяжные глядят в его сторону и слушают. По мнению некоторых из публики и юристов, присяжные слушают «плохо». По-видимому, они, изучившие дело по следствию, уже «порешили»...

Коридоры суда и в особенности буфет полны народа... Буфет, выручающий в обыкновенные «рыковские» дни по 150—200 рублей ежедневно, сегодня выручит, наверное, вдвое больше.

<12. 5 декабря>

Одиннадцатый вечер начинается чтением заявления, в котором Рыков, смиряя свой «ндрав» и слагая оружие, поручает присутствовать во время чтения обвинительной речи своему защитнику г. Одарченко. Самого же его в зале нет. В силу каких-то, ему одному только ведомых, высших соображений он предпочитает отсутствовать.

Г. Муравьев продолжает свою речь... Вторая, вечерняя половина ее посвящена характеристике обвиняемых... Достается всем сестрам по серьгам... В особенности же достается Рыкову, Ивану Рудневу, Евтихиеву, Матвееву и Владимиру Овчинникову, «сквозь слезы которого, пролитые здесь на суде, слышались другие слезы» — слезы вкладчиков, обобранных чрез попускательство слабохарактерного городского головы... «Выигрышные билеты» выпадают на долю только Красно-

певцева и бывшего кассира Иконникова. Первого г. Муравьев рекомендует отпустить на все четыре стороны «за давностью лет». Ему 79 лет, и, кроме того, он перенес на своем веку такую массу превратностей, что прибавлять к ней еще одну превратность в форме наказания нет надобности... Он служил у Рыкова домашним полуграмотным атташе, служил потом в библиотеке, в церкви (помощником старосты), в приюте... делал миллионные вклады и ничего не получил, покупал на 4 миллиона билетов и ничего не выиграл... и в конце концов попал на скамью подсудимых. Иконникову же советует г. Муравьев дать снисхождение за чистосердечное сознание, сделанное им у исправника. Остальным — «ликвидация»...

Сегодня утром наступает очередь присяжных поверенных. Публики чуть ли не больше, чем вчера... До того тесно, что во время одной из нижеописанных речей двое из публики усаживаются на скамью подсудимых... Увидев этих двух оригинальных волонтеров, курьер становится в тупик: «Имеет ли право невинный человек сидеть на скамье подсудимых?» Не беря на себя смелости решения такого «юридического» вопроса, он обращается за разрешением к смотрителю зданий г. Филиппову, который советует «попросить встать — вот и все!»

Г. Плевако подходит к пюпитру, полминуты в упор глядит на присяжных, «словно выстрелить хочет», и начинает говорить... Речь его ровна, мягка, искренна... Образных выражений, хороших мыслей и других красот многое множество, но... слишком уж поверхностно и витиевато! Дикция лезет прямо в душу, из глаз глядит огонь, но соловья не накормишь пластическими устарелостями вроде «храмина», «скрижалъ», «начертание», «логовище»... которыми пестрит его речь, не накормишь его и общими местами... Речь продолжается час с четвертью, и г. Плевако, отходя от пюпитра, оставляет какое-то странное, смешанное впечатление... Публика долго не верит, что он уже кончил... Ждет она еще чего-то, ибо мало того, что изрек г. златоуст, до того мало,

что в голове после его речи не остается ничего, кроме отдельных выражений и афоризмов.

После мучительного для г. Одарченко перерыва второй гражданский истец, молодой Дмитриев, заявляет, что его слово после речей гг. Муравьева и Плевако «является лишним». Для начинающего таланта это признание себя «лишним» является подвигом, для утомленных же присяжных заседателей оно составило приятный сюрприз.

Речь свою г. Одарченко начинает не просто, а с ужимкой... Этот сын далекой Украины начинает чрезвычайно картинно... Если гоголевский Андрий именно так начинал свое объяснение в любви, то неудивительно, что его полюбила польская панна... Г. Одарченко делает шаг назад и откидывает назад правую руку, как бы желая кого-нибудь ударить... потом делает два шага вперед, картинно проводит в воздухе обеими руками, вытягивает по-гусиному шею и начинает поэтически-метеорологическую прелюдию: «...гремящий гром, блестящая молния, освежающий дождь... яркие лучи солнца!!» Брови его двигаются, голос дрожит... Он не говорит, а декламирует, жестикулируя и вибрируя голосом, как провинциальные донжуаны, декламирующие в туземных клубах некрасовское «Эх ты, страсть роковая, бесплодная»...

Говорит он по-хохлацки. Вместо Рыкова выходит у него «Рыкоу», вместо «похвала» — «пофала»...

— Рыкоу был галава, а остальные скопынцы — туловищэ. Галава уже отсэчена и валяется на пэске, обагрят песок кровью, туловища же еще живеть, и проч.

Говорит он горячо, нервно... Рука его то и дело протягивается к стакану с зельтерской водой, но не дотягивается до стакана и начинает рассекал воздух. Он силится подчеркнуть, что он не оправдывает, а разъясняет. «История одного города», в которой изображает он Скопин до и после грехопадения, изобличает в авторе и талант, и оригинальную точку зрения.

— Не все на долю злой воли, не все на долю безнравственности, отдайте многое и бестолковщине! — просит он присяжных.

<13. 6 декабря>

Попытка г. Одарченко очертить Рыкова как характер *suū generis*¹, не поддающийся аршину, которым измеряются обыкновенные смертные, остается попыткой. Мало у г. Одарченко силы, не мастер он на художественные взмахи, какими изобиловали речи его противников, и к тому же он достаточно холоден... Дела в его речи много, но силы, как говорится, кот наплакал... Вся сила ушла в жестикуляцию и голосовую дрожь... Нескольким раз перечисляет он блага, принесенные Рыковым г. Скопину, и всякий раз почему-то начинает с пожарной команды...

В заключение он просит у присяжных снисхождения человеку, который уже много выстрадал и которому остается теперь только одно:

— Боже, будь милостив мне, грешному!

Вслед за г. Одарченко говорят его многочисленные коллеги... Происходит нечто вроде экзамена. Один говорит, а другой сидит возле на очереди и, волнуясь, перелистывает жиденький конспектик. Во всех речах заметна прежде всего тщательность обработки и стремление к «шикам»... Один именуется Скопин «маленькой республикой», другой «восточным, деспотическим государством», третий производит Рыкова в «скопинские князья». У всех на языке вертится «темная туча», которую рассеивает луч солнца, и все пребывают в благополучной надежде, что их «он» выйдет «отсюда с верою и с сознанием, что»... и проч. ...то есть будет оправдан. Говорят они понемногу, но их самих так много, что не знаешь, кого и слушать. Никакой памяти не удержать всех тех изречений, афоризмов и цифр, которые они выпаливают, не скупясь на заряды, не удержать даже

¹Своего рода, своеобразный (*лат.*).

сушности их защиты, ибо, строя оправдания своих клиентов на вине других, они производят несосветимую путаницу.

Второго члена скопинской «директории» И. И. Руднева защищает г. Скрипицын, человек в сажень вышиною и тощий, как Сара Бернар... Худоба его еще более оттеняется его черной мохнатой головой, которую в публике невежливо именуют «патлами». Когда он, бледно-желтый, с впалыми глазами и костлявыми пальцами, поднимается говорить, то публика ждет замогильного голоса. Но голосом он мало похож на привидение. Из его груди выходит «медь звенящая», слышная даже в далеких коридорах.

Защищая своего Ивана Ивановича, он напирает на невежество его и на авторитет Рыкова. Иван Иванович 8 лет «подписывал», не ведая, что творит. Говорит г. Скрипицын неплохо, и публика ставит ему четверку.

За неинтересными гг. Фогелером и Швенцеровым следует г. Курилов, защитник бухгалтера Матвеева. Наружностью это самый солидный адвокат в свете. Статен, осанист и, как говорят его слушательницы, «интересен». Состоит в штате московских знаменитостей, в особенности с тех пор, когда пролил напрасные слезы за дедушку Мельницкого. Говорит он хорошо и без излишней жестикуляции. Что его речь за Матвеева хороша, свидетельствует уже одно то обстоятельство, что нижепоименованные защитники почти все в своих речах ссылаются на его речь. Публика ставит ему пятерку.

Г. Холщевников, защищающий помощника бухгалтера Швецова, проговаривает свою речь, как одну очень длинную скороговорку. Он говорит быстро, как хорошо заученный урок, изображая собою «колокольчик однозвучный». Постороннему уху кажется, что слово переоскакивает через слово и что из уст оратора вылетают по две, по три фразы одновременно, отчего и получается нечто похожее на «тру-ту-ту-ту».

Отзвонив и удаляясь с колокольни, защитник уступает свое место г. Гаркави, защищающему пятерых: Шамова, Лазарева, Ивана Овчинникова, Кистенева и

слепого Барабанова, гласных и членов управы, бывших рукоприкладчиками на ежемесячных отчетах банка.

Говорит он коротко, но ужасно горячо и так убедительно, что присяжным остается только согласиться с ним и перейти к слушанию г. Муратова, защитника помощника бухгалтера Аляшева. Г. Муратов хотя и плешив, но еще от юнцов не ушел. Состоит еще пока помощником присяжного поверенного. Речь его производит приятное впечатление своею ровностью, хладнокровием и отсутствием «темных туч», голосовой дрожи и других миндальностей. Зато следующий за ним г. Сазонов, маленький «аблакати́к», кучерявый, как барашек, и безусый, по части жалких и ядовитых слов затмевает всех и вся... Прежде чем начать говорить, этот юноша закрывает ладонью лоб, облокачивается о пюпитр и задумывается А 1а Печорин над трупом Бэлы... Подумавши и покачав головой, он гордо поднимает голову и движениями своего языка старается изобразить громы небесные... Глаза функционируют не как простые гляделки, а как молнии... Он говорит, как начинающие *jeune premier*'ы в мелодрамах, с тою только разницею, что *jeune premier*'ы правильно выражаются по-русски, шипучий же г. Сазонов вместо «бухгалтерия» говорит «булгактерия» и частенько забывает о согласовании слов, например: «шайка, цель которого была»... Коньки, на которых он выезжает против обвинения, прятничные...

— Что его долг в сравнении с 12 миллионами?! — восклицает он, забывая, что долг, взятый из большого кармана, подлежит такой же уплате, как и взятый из маленького.

В конце концов ссылка на силу Рыкова и трескучий финал с поднятием вверх правого указательного пальца.

Рыкову его речь понравилась...

— Хорошо, очень хорошо! — похвалил он его во время перерыва, встретясь с ним в коридоре. — Даже в газетах напечатать можно...

После Сазонова говорят гг. Высоцкий и Шубинский. Первый защищает В. Овчинникова, второй —

шестерых «печатников», которых сам Рыков назвал се-
дьюми детьми... Речи обоих, а в особенности второго,
изложению в сокращенном виде не подлежат. Их кра-
соты могут быть поняты только из прочтения подлин-
ников.

<14. 7 декабря>

Четырнадцатый день. Говорятся «вторые речи»...
Г. Муравьев разбирает речи всех говоривших вчера за-
щитников. Речь его, несмотря на короткую подготовку,
дышит такой же силой, как и первая. Более всех доста-
ется, конечно, г. Одарченко, который «с искренностью,
достойною иного применения» старался придать своему
клиенту, Рыкову, не принадлежащую ему физиономию.
Одарченко сравнил Рыкова с богатырем Буслаевичем,
г. же Муравьев находит, что скопинский атаман похож
более на Соловья-разбойника, сидящего на семи дубах
и подстерегающего путников, чем на Буслаевича. До-
стается Матвееву, Евтихиеву, Донскому и в особеннос-
ти Владимиру Овчинникову, который уже не нервничает,
как прежде, а, бледный и замученный двухнедель-
ным судом, очевидно, махнул на все рукой и с терпе-
ливой апатией ждет конца. Говорит г. Муравьев до 2-го
часа.

После него просит позволения говорить г. Плевако.
Он просит «только 10 минут», но говорит гораздо дол-
ше... Впрочем, сколько бы г. Плевако ни говорил, его
всегда «без скуки слушать можно»... Нового он ничего
не сказал. Ископаемые пластичности, вроде: «хранили-
ще», «скорпион», «тать» — пестрят и в сегодняшней
речи, рядом с текстами из Св. Писания.

Вслед за ним отвечает на речь прокурора и граждан-
ского истца г. Одарченко. Его речь напоминает газетное
опровержение... Чуть не плача и нервно жестикулируя,
он декламирует перед присяжными, что он и не думает
оправдывать Рыкова, как настаивают на этом гг. Мура-
вьев и Плевако, не разрушает закона, а просит только
понять «действительность». Попытка изобразить Рыко-
ва как нечто не от мира сего не удается вторично. После

его второй речи кумир поверженный все еще продолжает казаться не богом...

Защитник И. И. Руднева, бледнолицый Скрипицын, тоже считает себя обязанным вложить лепту в сокровищницу сегодняшнего дня... Он, по-семинарски повышая и понижая голос, говорит целую проповедь, говорит протяженно, с претензией на смиренномудрие... Он «и не думал говорить, что сами вкладчики были виновниками скопинского краха, как утверждает представитель обвинения»... Его не поняли... Он хотел только сказать, что слез вкладчиков, о которых было много говорено на суде, присяжные не видели, как не видели они здесь на суде ни одной сироты, ни одной вдовы, ни одной бесприданницы, хотя перед присяжными и прошел длинный ряд свидетелей... но зато они видят здесь другие слезы, видят представителей осиротевших семей... В конце концов г. Скрипицын так увлекается, что, забыв про своего Ивана Ивановича, вызывает к оправданию всех, кроме, конечно, Рыкова... «С одного вола двух шкур не дерут!» — восклицает он, разумея под одной шкурой муки, перенесенные подсудимыми в длинный период следствия и в эти две недели суда...

После него что-то громко, но невнятно проговаривает г. Швенцеров. Вслед за ним становится за пюпитр г. Курилов.

Г. Курилов говорит прекрасно, но длинно... очень длинно...

Публика утомлена *ad maximum*... Присяжные, по видимому, помирились с мыслью, что весь день пройдет в речах. На их лицах написана покорность судьбе, но если завтра начнутся «третьи речи», что весьма возможно, то эта покорность обратится в муку. Присяжные почти все люди семейные и служащие. Прошло уже две недели, как они днюют и ночуют в стенах суда... Не повинность это, а подвиг!

Подсудимые имеют замученный вид. Они заметно пали духом и глядят меланхоликами. Рыков тоже угрюм и бледен... и не слушает речей... Ведет он себя чинно...

<15. 8 декабря>

Наступает очередь подсудимых сказать свое последнее слово.

Рыков, ссылаясь на свое нездоровье, просит отложить его объяснение до другого дня.

Товарищ директора И. И. Руднев, обыкновенно неразговорчивый и угрюмый, на сей раз разговаривается и выказывает даже некоторую сметку:

— Вся вина моя в том, что я только подписывался, а что я подписывал — совсем не понимал... Ежели бы написали, чтобы мне голову снять, и то подписал бы...

Другой товарищ директора, он же и кассир, Никифор Иконников, говорит мало:

— Помилосердствуйте, господа присяжные заседатели! Простите!

Это же самое говорят Василий Руднев и Илья Заикин. Слово бухгалтера № 2, Швецова, не так коротко.

— Отчетов я не составлял, — говорит он, — и, стало быть, меня можно было бы обвинить только в том, что я не донес о всем, что видел. А как было донести? Ежели бы я донес, то сейчас бы от места отказали и из города бы выгнали.

Его помощник Аляшев говорит следующее:

— Я был служащим, должен был слушаться. Ради семьи пошадите!

«Последний козырь» городского головы В. Овчинникова длиннее.

— Я ужасно сожалею и страдаю, — говорит он дрожащим голосом, — что судьба поставила меня во главе городского самоуправления в то самое время, когда дела банка нельзя уже было поправить, а раскрыть злоупотребления у меня не хватило мужества! Здесь на суде меня упрекают в слезливости. И в самом деле смешно — не маленький! Да что же делать! Ведь эту пытку несу я с 1877 года!

И в заключение он, рыдая, просит оправдания.

На следующий, пятнадцатый день говорит сам Рыков. Он просит позволения выйти на середину залы

и стать за пюпитр защитника, чтобы иметь возможность «опереться».

Председатель соглашается. Рыков, сопровождаемый жандармом, становится за пюпитр и разворачивает перед собой кругом исписанные два-три листа бумаги. Он бледен и взволнован. Слово начинается обращением к суду и публике и клятвой, что он, каясь в своих преступлениях, будет говорить одну только сущую правду.

Банк создан им с благою целью, говорит он... Земледелие стало подниматься, город Скопин преобразился, торговля увеличилась... Но вся беда в том, что он слишком широко пустил кредит и увлекся.

— Меня ничто не могло сдержать... Рязань была озабочена другим делом: она учитывала векселя в Скопинском банке... Министерство только советовало, а не приказывало, и проч.

У самого же Рыкова не хватило храбрости закрыть лавочку, в которой, по выражению г. прокурора, «обмеривали и обвешивали».

— Прекративши дела банка, я должен был бы переступить через труп моего родного города. Если бы для уврачевания ран моих вкладчиков понадобилось бы мое сожжение, то я с восторгом взошел бы на костер и сам бы зажег его, но наложить руки на собственное детище я не в силах...

Он зовет в свидетели Бога, что у него нет ничего, кроме «этого армяка, умирающей жены и нищих детей».

— В тюрьме я жил частною благотворительностью. Мне подавали милостыню наравне с прочими арестантами!

Сказавши это, Рыков наклоняется к пюпитру и плачет.

— Вы сошлете меня в Сибирь, — продолжает он, утирая глаза и заглядывая в исписанные листы. — Я не боюсь Сибири, но ваш приговор разорвет и без того уж разорванное сердце.

Далее следуют «холодный труп», описание болезни и совет присяжным отпустить его... Он простится с умирающей женой, «поплачет на ее могиле, в последний

раз благословит детей и уединится в монашеской келье, где будет оплакивать свои грехи»...

— Сейчас я говорил, как... как... говорил, как... (заглядывает в исписанные листы)... как подсудимый, теперь же скажу несколько слов в качестве русского гражданина...

«Гражданин» обвиняет во всем банковый устав, министерство, которое советовало, а не приказывало, и учит, как удовлетворить вкладчиков.

Попугав историей, Рыков идет на свое место.

Суд удаляется для постановки вопросов. Всех вопросов 426, другие же утверждают, что их 475.

<16. 10 декабря>

В шестнадцатый и последний день после председательского резюме, которое читается от 9 1/2 час. утра до 1 часа дня, присяжные заседатели получают наконец вопросный лист и удаляются в совещательную комнату.

Но короткость совещания превышает всякие ожидания. В 7 ч. 35 м. вечера слышится вдруг звонок, извещающий, что участь 26 человек решена. Нужно видеть, какая бледность покрывает лица защитников, с каким волнением спешат они в залу! Что-то скажут присяжные!

Подсудимые бледны и взволнованны... Они еле ступают... Интеллигентный и нервный В. Овчинников своим несчастным видом производит тяжелое впечатление...

Но вот входят присяжные. Г. Боровков подает председателю вопросный лист. Палата, рассмотрев лист, находит, что не соблюдены некоторые формальности. Присяжные опять удаляются, и нервное напряжение увеличивается еще более.

В 8 ч. 10 м. наконец г. Боровков приступает к чтению.

На все 85 вопросов, относящихся к Рыкову, читается один ответ: *да, виновен!* Рыков сначала бледен... Но скоро бледность сменяется краснотой, и на большом лице его выступает пот... Руки его держатся за сердце...

Товарищ директора И. И. Руднев получает *да, вино-вен* на все относящиеся к нему 55 пунктов. Он бледен и глядит тупо, неподвижно, словно не понимает этого приговора. Об остальных известно из телеграммы.

Г. Боровков читает вердикт до 2-х часов ночи. За вычетом трех перерывов, в полчаса каждый, это чтение, которое слушали стоя, продолжалось *четыре с половиною часа...*

По прочтении вердикта г. Муравьев дает свое заключение, в котором требуется: для Рыкова — ссылка в не столь отдаленные места Сибири, для И. Руднева и В. Руднева — Иркутская губ., Матвееву — арестантские роты на 2 года и 8 месяцев, для Евтихиева — Томская губ., для Н. Иконникова — Тобольская губ., для городских голов В. Овчинникова и В. Иконникова — Томская губ., для Шамова, Лазарева и слепого Барабанова — Тобольская губ., Донскому и Попову — Олонецкая губ., Оводову — рабочий дом, остальным же — арестантские роты...

Г. Одарченко, ввиду болезни Рыкова и чистосердечности его показаний, просит палату смягчить наказание на 2 степени... Г. Плевако требует возложить на осужденных за взаимною порукою 9 1/2 миллионов...

15 человек осужденных, бывшие доселе на свободе, по требованию прокурора берутся под стражу. Их окружают жандармы... Это взятие под стражу людей, бывших доселе на свободе, из которых, быть может, многие надеялись на оправдательный приговор, производит впечатление... Одна часть из них в 3 часа ночи развозится по полицейским домам, другая в 6 часов утра уводится в тюремный замок. Объявление приговора отложено до 12 декабря.

Процесс закончился благодарностью присяжным заседателям за их более чем двухнедельный, тяжелый, непривычный труд.

ДОМ № 13

I

Я приехал в Кишинев спустя два месяца после погрома, но его отголоски были еще свежи и резко отдавались по всей России. В Кишиневе полиция принимала самые строгие меры. Но следы погрома¹ изгладить было трудно: даже на больших улицах виднелось еще много разбитых дверей и окон. На окраинах города этих следов было еще больше...

Настроение было напряженное, тяжелое... Газеты принесли известие, что в Петербурге еврей Дашевский ударил ножом г-на Крушевана и, что было еще страшнее, — другой еврей, врач, хотел подать раненому первую помощь. Г-н Крушеван в ужасе отказался от помощи и писал, что «душа Дашевского принадлежит ему»; вместе с г-м Комаровым он требовал для Дашевского смертной казни на том основании, что он, г-н Крушеван, не простой человек, а человек государственной идеи. А дня два или три спустя, уже во время пребывания моего в Кишиневе, три неизвестных молодых человека ринулись на шедшего из училища еврейского юношу, и один из них ткнул его в бок кинжалом; кинжал был направлен гораздо искуснее, чем у Дашевского, и только книга, которая была у юного еврея под застег-

¹ Писано в 1903 году. — *Авт.*

нутым пиджаком, ослабила удар, но не избавила его от раны. Еврейский юноша, мирно шедший из училища, не был, разумеется, «человеком государственной идеи», и потому о происшествии (по крайней мере за все время моего пребывания) не только г. Комаров и г. Крушеван, но и местная газета «Бессарабец» не говорили ни одного слова, только евреи передавали об этом с весьма понятной тревогой.

Говорили, между прочим, будто этот удар, нанесенный школьнику, есть ответ на покушение Дашевского. Как это ни нелепо, но все же похоже на правду. Впрочем, «все (теперь) похоже на правду», все может случиться в Кишиневе, где самый воздух еще весь насыщен дикой враждой и ненавистью. Жизнь города как бы притихла. Постройки приостановились: евреи охвачены страхом и неуверенностью в завтрашнем дне.

II

В такие дни я приехал в Кишинев и, стараясь разъяснить себе страшную и загадочную драму, которая здесь разыгралась так недавно, бродил по городу, по предместьям, по улицам и базарам, заговаривая о происшедшем с евреями и христианами.

Я, конечно, не имею претензии разъяснить здесь сколько-нибудь исчерпывающим образом этот потрясающий эпизод, этот изумительный процесс быстрого, почти внезапного исчезновения всех культурных задержек, из-под которых неожиданно прорывается почти доисторическое зверство. Нет ничего тайного, что бы не стало явным. Очень может быть, что и все пружины этого преступного дела когда-нибудь выступят наружу и все оно станет понятно, как механизм разобранных часов. Нет сомнения, однако, что и затем останется еще некоторый остаток, который трудно будет свести на те или другие обстоятельства данного места и данного времени. И это будет вечно волнующий вопрос о том, каким образом человек обыкновенный, средний, иногда, может быть, недурной человек, с которым порой

приятно вести дело в обычное время, вдруг превращается в дикого зверя, в целую толпу диких зверей.

Нужно много времени и труда, нужно очень широкое, внимательное изучение, чтобы просто восстановить картину во всей ее полноте. Для этого у меня нет возможности, да, может быть, для этого еще не наступило время. Хотелось бы думать, что суд сделает это, хотя есть основание опасаться, что и суд этого не сделает... Но мне хочется все-таки поделиться с читателем хоть бледным отражением этого ужаса, которым пахнуло на меня от моего короткого пребывания в Кишиневе спустя два месяца после погрома. Для этого я попытаюсь восстановить, по возможности точно и спокойно, один эпизод. Это будет история знаменитого ныне в Кишиневе *дома № 13*.

III

Дом № 13 расположен в 4-м участке города Кишинева, в переулке, который носит название «Азиатского», в том месте, где он соединяется с Ставрийским переулком. Впрочем, название этих узких, кривых и запутанных улиц и переулков даже кишиневцы знают довольно плохо, и еврей-извозчик (здесь очень много извозчиков евреев, и среди них тоже были раненые и убитые) сначала не понял, куда нам надо. Тогда мой спутник, который больше успел ориентироваться среди местных достопримечательностей, связанных с погромом, — пояснил:

— Дом тринадцатый... Где убивали...

— А... знаю, — сказал извозчик, мотнув головой, и хлестнул свою лошадь, тощую, как и он сам, и, как он, невзрачную и унылую. Лица его мне не было видно, но я слышал, как он бормотал что-то в бороду. Мне казалось, что я расслышал слова: «Нисензон» и «Стекольщик».

Нисензон и Стекольщик — это еще недавно были живые люди. Теперь это только звуки, воплощающие ужас недавнего погрома.

Ехали мы долго и, миновав людные широкие и срав-

нительно культурные улицы нового города, долго вертелись по узким, кривым, очень своеобразным переулкам старого Кишинева, где камень, черепица и известка глушат тощие деревца, растущие тоже из камня, и где, кажется, носятся еще тени каких-то старых историй времен боярства, а может быть, и турецких набегов. Дома здесь малы, много каменных стен, как бы маскирующих входы во дворы; кое-где сохранились узкие окна, точно бойницы.

Наконец, по одному из таких переулков мы спустились к искомому дому. Невысокий, крытый, как все кишиневские дома, черепицей, он стоит на углу, в соседстве с небольшой площадью, как бы выдаваясь в нее тупым мысом. Кругом виднеются убогие домики под черепицей, значительно меньше и невзрачнее. Но между тем как все они производят впечатление жилых, дом № 13 похож на мертвеца: он зияет на улицу пустыми окнами с исковерканными и выбитыми рамами, с дверьми, заколоченными кое-как досками и разными обломками... Нужно отдать справедливость кишиневской полиции, — хотя она не особенно противилась погрому, но теперь принимает энергичные меры, понуждая евреев к скорейшему приведению в порядок разрушенных и поврежденных зданий. Но над хозяином дома № 13 она уже не имеет никакой власти...

Двор еще носит выразительные следы разгрома: весь он усеян пухом, обломками мебели, осколками разбитых окон и посуды и обрывками одежды. Достаточно взглянуть на все это, чтобы представить себе картину дикого ожесточения: мебель изломана на мелкие щепки, посуда растоптана ногами, одежда изодрана в клочья; в одном месте еще валяется оторванный рукав, в другом — обрывок детской кофточки. Рамы с окон сорваны, двери разбиты, кое-где выломанные косяки висят в черных впадинах окон, точно перебитые руки.

В левом углу двора, под навесом, у входа в одну из квартир, еще виднеется ясно большое бурое пятно, в котором нетрудно узнать засохшую кровь. Она тоже смешана с обломками стекла, с кусками кирпича, известкой и пухом.

— Здесь убивали Гриншпуна... — сказал кто-то около нас странным глухим голосом.

Когда мы входили в этот двор, все было здесь мертво и пусто. Теперь рядом с нами стояла девочка лет десяти-двенадцати. Впрочем, это казалось по росту и фигуре. По выражению лица можно было дать гораздо больше, глаза глядели не по-детски... Этот ребенок *видел* все, что здесь делалось еще так недавно. Для нее вся эта картина разрушения на молчаливом дворе под знойными лучами солнца была полна незабываемого ужаса. После этого она ложилась много раз спать, просыпалась, вставала, делала все, что делала и прежде, и, значит, «успокоилась». Но ужас, который должен был исказить это детское лицо, весь не исчез. Он оставил по себе постоянный осадок в виде недетского выражения в глазах и какой-то застывшей судороги в лице. Голос у нее был как бы придушенный, а речь ее было тяжело слушать: звуки этой речи выходили с усилием, как у автомата, и, становясь рядом, образовали механически слова, не производившие впечатления живой речи.

— Он вот тут... бежал... — говорила она, тяжело переводя дыхание, показывая рукой по направлению к навесу и луже крови.

— Кто это? Стекольщик? — спросил мой спутник.

— Да-а... Стекольщик. Он бежал сюда... и он упал вот здесь... и тут они его убивали...

С невольным ощущением дрожи мы отошли от этого пятна, в котором кровь перемешалась с известкой, грязью и пухом.

В доме все было разрушено с таким же старанием, как и во дворе: сорваны обои, выломаны двери, разломаны печи, стены пробивались насквозь. Эта чрезвычайная тщательность дикого разрушения породила в городе рассказ, будто перед погромом один из полуинтеллигентных и довольно влиятельных «антисемитов» заготовил целую партию ломов с крючками, розданную погромщикам и отобранную затем обратно особыми «агентами».

Не могу сказать, сколько тут правды, но в самом слухе немало характерности. Как бы то ни было, трудно представить, что еще недавно в развалине, которую мы рассматриваем, текла обычная мирная жизнь.

Дом № 13 состоял из семи квартир, в которых, по обыкновению, скученно и тесно жило восемь еврейских семей, всего около сорока пяти человек (с детьми). Хозяин его был Мовша Маклин, комиссионер и владелец скромной лавки в городе. На всех своих предприятиях, то есть в качестве домовладельца, комиссионера и лавочника, он получал тысячу пятьсот рублей в год. Среди остальных обитателей дома он, конечно, должен был считаться богачом и счастливцем. Сам он, впрочем, в доме № 13 не жил, но одну из квартир занимала дочь его с мужем и детьми.

Один из видных жильцов был мелкий лавочник, Навтула Серебрянник. Лавка его была в самом углу. Теперь ее можно узнать по обломкам деревянных ларей, составлявших прилавки и валяющихся на грязном полу среди ободранных стен.

Затем в доме жили еще: приказчик галантерейной лавки Берлацкий с женой и четырьмя детьми. Он зарабатывал сорок восемь рублей в месяц. Нисензон, человек лет сорока шести, был бухгалтером, то есть ставил бухгалтерские книги и заводил денежную отчетность. Эту, отчасти ученую, профессию он выполнял сдельно, вырабатывая рублей двадцать пять — тридцать в месяц. Мовша Паскар служил приказчиком, получал рублей тридцать пять. У него была жена Ита и двое детей. Ицек Гервиц был служителем больницы, но в последнее время, кажется, бедствовал, оставшись без места. Мовша Туркениц имел столярную мастерскую, в которой держал трех рабочих, а Бася Барабаш торговала мясом. Наконец, стекольщик Гриншпун ежедневно отправлялся с оконными стеклами и возвращался вечером домой со своим заработком.

Цифры взяты из показаний потерпевших и их родственников. Из них видно, какими богачами был населен дом № 13. Между тем показания, данные при заяв-

лении убытков, можно скорее заподозрить в преувеличениях, чем в утайке...

Так мирно и тихо жил этот дом до 6 апреля. Нисензон ходил по лавкам и «ставил в них бухгалтерию», Берлацкий и Мовша Паскар продавали товары в чужих лавках, Навтула Серебрянник отпускал соседям евреям, молдаванам и русским свечи, мыло, спички, керосин, дешевый ситец и дешевые конфекты, Ицек Гервиц искал места, а стекольщик Гриншпун вставлял разбитые стекла... И никто не предчувствовал того, что должно было случиться.

Шестого апреля, в первый день величайшего из христианских праздников, в городе начались погромы. Вести о них, конечно, распространились по всему Кишиневу, и легко представить, какие часы пережили жильцы тесно набитого евреями дома № 13 при рассказах о том, что происходит в городе и как относится к этому православное общество и начальство. Впрочем, говорили, что происходит это потому, что губернатор ждет какого-то «приказа». Ночью приказ должен прийти непременно, и значит — утром все будет спокойно.

К вечеру беспорядки сами собой затихли, и ночь прошла в страхе, но без погромов.

V

То, что произошло на следующее утро, бывшие жильцы № 13 и их соседи описывают следующим образом.

Около десяти часов утра появился городской «бляха № 148», человек хорошо, конечно, известный в данной местности, который, очевидно заботясь о судьбе евреев, громко советовал всем им спрятаться в квартиры и не выходить на улицу. Евреи, конечно, исполнили этот совет, и тесные еврейские квартирки наполнились испуганными жильцами. Двери, ворота и ставни были заперты, и вся площадь около Азиатского переулка замерла в пугливом ожидании.

Я имею основание думать, что эта картина: запертые ставни, опустевшие улицы и пугливое ожидание того,

что должно случиться, является характерной для предместий Кишинева в начале второго дня погрома. Я имел печальную возможность видеть и говорить с одним из потерпевших в другом месте. Это некто Меер Зельман Вейсман. До погрома он был слеп на один глаз. Во время погрома кто-то из «христиан» счел нужным выбить ему и другой. На мой вопрос, знает ли он, кто это сделал, — он ответил совершенно бесстрастно, что точно этого не знает, но «один мальчик», сын соседа, хвастался, что это сделал именно он посредством железной гири, привязанной на веревку. Этот Зельман жил около бойни на Магале (предместье). Совершенно так же, как и жильцы дома № 13, в этом предместье все слышали с большой тревогой о том, что происходило в городе, так же ждали приказа, который придет в ночь и не допустит дальнейших беспорядков. И так же на следующее утро в предместье, еще не испытывавшее погрома и только ожидавшее со страхом и недоумением, — из города явился местный же городской, состоявший около бойни. Его тотчас же окружили жители предместья — молдаване, соседи евреев. Меер Вейсман не слышал, что им говорил городской. Я не предполагаю, что городской говорил что-либо дурное или прямо подстрекательское, я думаю, что он только не чувствовал себя официальным лицом и говорил, как с добрыми соседями, одну чистую правду. А правда состояла в том, что он вернулся на свой пост без всяких специальных приказов и в городе видел, как погром идет с усиливающейся жестокостью в присутствии войск и полиции. Из этого сообщения молдаване, жившие около бойни, сделали свои выводы. Они стали держать совет, который исходил из общего положения, что им, живущим около боен, очевидно, нужно делать то же, что делают в других местах города. Из этого совещания Вейсман передает одну подробность. Вопрос шел о двух братьях, евреях: толпа решила, что одного из них можно «оставить»...

Затем евреи стали прятаться, где кто мог. Меера Вейсмана с семьей скрыл у себя добрый человек, сосед-молдаванин, но жена его пришла с улицы и сказала, что толпа грозит за это расправиться и с ними. Тогда, гово-

рил Меер Вейсман, «мы стали бегать». Ему пришлось потерять много времени для того, чтобы пристроить хоть маленьких детей в семье одного зажиточного соотечественника, принявшего христианство. Его дочери принимали малюток, но отец три раза выбрасывал их обратно через забор. Пришлось скрываться вместе с детьми; Меер Вейсман бежал на салотопный двор. Через некоторое время «туда пришли молдаване с дрючками и стали бить». Больше ничего он не помнит... Хотя история Вейсмана составляет некоторое отступление от прямой нити моего повествования о доме № 13, но я хочу досказать ее. Когда он очнулся в больнице, то первый вопрос его был о семье и о дочери.

— Ита! Где моя Ита?

— Я здесь, — ответила Ита, стоявшая у постели. Но больной заметался сильнее и позвал опять:

— Ита, Ита, где же ты?..

Когда она наклонилась к нему и опять повторила, что она здесь, — Меер Вейсман, не понимая еще, что случилось, стал шарить в воздухе руками и жаловаться, что не видит дочери.

Он ее не видел потому, что «христианский мальчик» выбил ему гирей другой глаз, вероятно, для симметрии. Впрочем, многие думают, что Меер Вейсман «сам виноват» и уже «с избытком вознагражден» за то, что никогда не сможет увидеть любимую дочь... Что же касается христианского мальчика, совершившего над евреем операцию с гирей, то он, конечно, не заслуживает слов укоризны. Он скорее является «жертвой»...

Что ж, может быть, это и правда. Войти в жизнь с таким делом на совести... Какой ужас, если христианский мальчик поймет, что он сделал. Если же не поймет, то он, действительно, жертва, еще более несчастная. Только... действительно ли это Меер Вейсман повинен в этой жертве?

VI

Совершенно так же, как около боен, начиналась, по-видимому, трагедия дома № 13. Городовой «бляха № 148» так же, как его сослуживец, вернулся утром из

города, где, вероятно, ждал ясных и точных приказаний, так же не получил их, так же явился в свой квартал и так же не мог дать другого совета, кроме: «Эй, жида, прячьтесь по домам и сидите тихо!» И так же, как около бойни, в числе громил явились соседи из окрестных улиц и переулков.

Городовой «бляха № 148», отдав свое благожелательное распоряжение, сел на тумбу, так как ему явно больше ничего не оставалось делать, и, говорят, просидел здесь все время в качестве незаменимой натуры для какого-нибудь скульптора, который бы желал изваять эмблему величайшего из христианских праздников в городе Кишиневе.

А рядом в нескольких шагах от этого философа — трагедия еврейских лачуг развертывалась во всем своем стихийном ужасе. Толпа явилась около одиннадцати часов, в сопровождении двух патрулей, которые, к сожалению, тоже не имели никаких приказаний. Она состояла человек из пятидесяти или шестидесяти, и в ней легко можно было заметить добрых соседей с молдавanskими фамилиями. Говорят, они прежде всего подступили к винной лавке, с хозяином которой, впрочем, поступили довольно благодушно. Ему сказали: «Дай тридцать рублей, а то уьем». Он дал тридцать рублей и остался жив, — конечно, спрятавшись куда было можно, чтобы все-таки не быть на виду и не искушать снисходительность дикой толпы... Последняя же приступила к погрому. Площадь в несколько минут покрылась стеклом, обломками мебели и пухом.

Вскоре, однако, все почувствовали, что самое главное должно произойти около дома Мошки Маклина.

Почему — сказать трудно. Был ли действительно у этих громил какой-нибудь план, руководила ли ими какая-то тайная организация, как об этом многие говорят в городе, или ярость толпы — это слепой призрак с закрытыми глазами, устремляющийся вперед с чисто стихийной бессознательностью, — это вопрос, который, может быть, разрешит (а может быть, и не разрешит) предстоящее судебное разбирательство. Как бы ни

было, в доме № 13 к грохоту камней, треску стен и звону стекол вскоре должны были присоединиться крики убийства и смерти...

Налево от ворот, в углу, около которого сохранилась лужа крови до сих пор, есть несколько небольших деревянных сараев. В один из них спрятались от толпы громил стекольник Гриншпун, его жена с двумя детьми, Ита Паскар, тоже с двумя детьми, и еще девочка четырнадцати лет, служанка. Изнутри сарай не запирался, и вообще все эти сараи напоминают картонные ящики. Преимущество их было только то, что в них нечего было ломать и грабить, и евреи рассчитывали, что здесь они будут не на виду. О защите нечего было и думать: в доме было только восемь мужчин; городской № 148, не получив никаких приказаний, сидел на тумбе, а два патруля стояли в переулках выше и ниже разрушенного дома. А в толпе уже совершилось загадочное нарастание стихийного процесса, при котором из-под тонкого налета христианской культуры прорываются вспышки животного зверства. Разгром был в разгаре: окна были выбиты, рамы сорваны, печи разрушены, мебель и посуда обращены в осколки. Листки из священных книг валялись на земле, горы пуху лежали во дворе и кругом дома, пух носился по воздуху и устилал деревья, как иней. Среди этого безумного ада из грохота, звона, дикого гоготания, смеха и воплей ужаса — в громалах просыпалась уже жажда крови. Они бесчинствовали слишком долго, чтобы остаться людьми.

Прежде всего кинулись в сарай. Здесь был только один мужчина: стекольник Гриншпун. Сосед с молдавнской фамилией, которого вдова Гриншпуна называла по имени, как хорошего знакомого, первый ударил стекольщика ножом в шею... Несчастный кинулся из сарая, но его схватили, поволокли под навес и здесь dokonчили дубинами именно на том месте, где теперь сохранилось кровавое пятно.

На вопрос, действительно ли вдова убитого знает убийцу и не ошибается, что это был не захожий разбой-

ник, не албанец из Турции и не беглый каторжник из тюрьмы, еврейка сказала с убеждением:

— Я его держала ребенком на свои руки. Дай бог так жить, как хорошие были знакомые.

Этот «хороший знакомый» и нанес первый удар ножом в доме № 13. После этого положение определилось: первый предсмертный стон стекольщика, — и евреям, а быть может и самой толпе, стало ясно, чего от нее следует ожидать дальше. Евреи заметались, «как мыши в ловушке», — выражение одного из кишиневских «христиан» — веселого человека, который и в подобных эпизодах находил поводы для веселья...

Некоторые из них кинулись на чердак... В том самом навесе, под которым был убит Гриншпун, есть сверху темное отверстие, представляющее ход на чердак. Ход тесный и неудобный. Первый кинулся туда Берлацкий с дочерью, за ними последовал домохозяин Маклин. Маклин, как было уже сказано, не жил в этом доме. Но здесь жила его дочь, и, обеспокоенный ее судьбой, он явился на место трагедии. Дочери он не застал. Она уже ранее уехала в город с детьми... Теперь ему приходилось спасаться самому.

Все трое проникли на чердак беспрепятственно. Из этого следует, конечно, заключить, что далеко не вся толпа была проникнута жаждой крови, иначе, несомненно, их бы не допустили скрыться в этом темном отверстии, куда приходилось пролезать с трудом, на виду у погромщиков, находившихся на дворе. Они скрылись, — значит, их допустили скрыться люди, которые считали для себя удовольствием (или обязанностью) громить имущество, но не убивать людей. Однако вскоре за беглецами кинулись на чердак и убийцы...

Чердак дома № 13 — мрачное, полутемное помещение, загроможденное балками, боровыми труб и подпорками крыши. Несчастные беглецы, сделав несколько поворотов (дом расположен покоем), увидели все-таки, что здесь, в полутьме чердака, душного и тесного, им не скрыться. Слыша сзади крики погони, они в отчаянии стали ломать крышу.

Два черных отверстия с разметанными вокруг черепицами еще видны на крыше дома № 13 в то время, когда я пишу эти строки. У одного из них лежал во время нашего посещения синий железный умывальный таз. Нужно было много отчаяния, чтобы в несколько минут смертельной опасности голыми руками пробить это отверстие. Но это им удалось: они хотели во что бы то ни стало взобраться наверх. Там был опять свет солнца, кругом стояли дома, были люди, толпа людей, городской «бляха № 148», патрули... И они проломали в крыше два отверстия. Первым пролез в одно из них Мовша Маклин, так как он был человек «маленький и легкий» (характеристика одного из очевидцев). Берлацкому же предстояло сначала посадить дочь Хайку. Затем, когда он полез сам, то один из преследователей был уже тут и схватил его за ногу.

И вот на глазах у всей толпы началась отчаянная борьба. Дочь тащила отца кверху, снизу его держал один из преследователей. Борьба, конечно, была не равная, и, разумеется, Берлацкому не увидеть бы еще раз солнечного света... Но тут Хайка Берлацкая перестала тянуть отца и, наклонившись к отверстию, *попросила* громилу отпустить его.

Он отпустил...

Пусть этому человеку отпустится часть его вины за то, что хотя на одно короткое мгновение, среди этой тьмы иступленного зверства, он допустил в свою душу луч человеческой жалости, что страх дочери-еврейки за жизнь еврея-отца все-таки проник в его омраченную душу... Он отпустил жида.

Что он сделал после этого? Может быть, ушел с побоища, устыженный и прозревший, вняв голосу Бога, который, как об этом говорят все религии, проявляется в любви и братстве, а не в убийстве беззащитных... А может быть, он очнулся от мгновенного порыва и «раскаялся», но не в порыве зверства, а в движении человеческой жалости к убиваемым евреям, как это мы видели и на других примерах.

Как бы то ни было, а три жертвы оказались на по-

верхности крыши. Еще раз они увидели свет божий: и площадь, и дома, и соседей, и синее небо, и солнце, и городского «бляха № 148» на тумбе, и патрулей, ждавших приказа, и, может быть, еще того священника, который, руководимый христианским сознанием, пытался один и безоружный подойти к рассвирепевшей толпе громил.

Этот священник случайно проходил по площади, и евреи, которые смотрели с соседних домов на то, что творилось в доме № 13, стали просить, чтобы он заступился. Имени священника я, к сожалению, не знаю. По-видимому, это был добрый человек, который не думал, что есть на «святой Руси» или где бы то ни было такой народ, который заслужил, чтобы его людей убивали за какие-то огульные грехи, как диких зверей. Не думал он, очевидно, и того, что могут быть на Руси люди, которые имеют право убивать толпой беззащитных евреев, не стыдясь света и солнца. Непосредственное первое, самое правильное побуждение заставило его подойти к толпе с словом христианского увещания. Но громилы погрозили ему, и... он отступил. Это, очевидно, был простой добрый человек, но не герой христианского долга. Хочется думать, что, по крайней мере, он не стыдится своей попытки и своего первого побуждения.

В эту ли самую минуту или в другую произошел этот эпизод, во всяком случае, три жертвы очутились на крыше, среди города, среди сотен людей, — без всякой защиты. Вслед за ними в те же отверстия показались убийцы.

Они стали бегать кругом по крыше, перебегая то в сторону двора, то появляясь над улицей. А за ними бегали громилы. Берлацкого первого ранил тот же сосед, который нанес удар Гриншпуну. А один из громил кидал под ноги бегавших синий умывальный таз, который лежал на крыше еще два месяца спустя после погрома... Таз ударялся о крышу и звенел. И, вероятно, толпа смеялась...

Наконец всех троих кинули с крыши. Хайка попала

в гору пуха во дворе и осталась жива. Раненые Маклин и Берлацкий ушиблись при падении, а затем подлая толпа охочих палачей добила их дрючками и со смехом закидала горой пуха... Потом на это место вылили несколько бочек вина, и несчастные жертвы (о Маклине говорят положительно, что он несколько часов был еще жив) задыхались в этой грязной луже из уличной пыли, вина и пуха.

VII

Последним убили Нисензона. Он с женой спрятался в погребе, но, услышав крики убиваемых и поняв, что в дом № 13 уже вошло убийство и смерть, они выбежали на улицу. Нисензон успел убежать во двор напротив и мог бы спастись, но за его женой погнались громилы. Он кинулся к ней и стал ее звать. Это обратило на него внимание. Жену оставили и погнались за мужем; он успел добежать до дома № 7 по Азиатскому переулку. Здесь его настигли и убили. При этом называют две фамилии, одна с окончанием польским, другая молдавнская. Перед Пасхой шли дожди, в ямах и по сторонам улиц еще стояли лужи. Нисензон упал в одну из таких луж, и здесь убийцы, смеясь, «полоскали» жида в грязи, как полощут и выкручивают стираемую тряпку.

После этого толпа как бы удовлетворилась и уже только громила дома, но не убивала. Евреи из ближайших домов вышли, чтобы посмотреть несчастного Нисензона. Он был еще жив, очнулся и попросил воды. Руки и ноги у него были переломаны... Они вытащили его из лужи, дали воды и стали отмывать от грязи. В это время кто-то из громил оглянулся и крикнул своим. Евреи скрылись. Нисензон остался один. Тогда опять тот же человек, который убил Гриншпуна и первый ранил Берлацкого, ударил несчастного ломом по голове и покончил его страдания...

Затем толпа продолжала работать дальше. Площадь была загромождена обломками мебели, обрывками всякого старья и выломанными рамами до такой степени,

что проходить по ней было очень трудно. Одна еврейка рассказывала мне, что ей нужно было пробраться на другой конец, где остались ее дети; на руках у нее был грудной ребенок, и она напрасно дважды пыталась пройти. Наконец знакомый христианин взял у нее ребенка, и только тогда она кое-как прошла через эти беспорядочные баррикады...

В пять часов этого дня стало известно, что «приказ», которого с такой надеждой евреи ждали с первого дня, наконец, получен...

В час или полтора во всем городе водворилось спокойствие. Для этого не нужно было ни кровопролития, ни выстрела. Нужна была только определенность.

А теперь нужны будут годы, чтобы хоть сколько-нибудь изгладить подлое воспоминание о случившемся, таким грязно-кровавым пятном легшее на «совесть кишиневских христиан»...

И не только на совесть тех, которые убивали сами, но и тех, которые подстрекали к этому человеконенавистничеством и гнусною ложью, которые смотрели и смеялись, которые находят, что виноваты не убийцы, а убиваемые, которые находят, что могут существовать огульная безответственность и огульное бесправие...

Я чувствую, как мало я даю читателю в этой заметке. Но мне хотелось все-таки выделить хоть один эпизод из того спутанного и обезличенного хаоса, который называется «погромом», и хоть на одном конкретном примере показать, что это было «в натуре». Для этого я пользовался живыми впечатлениями очевидцев, переданными отчасти мне лично, частью же моему спутнику, который помог мне восстановить черта за чертой эту картину. Правда, это основано на показаниях евреев, но нет основания сомневаться в их достоверности. Факт несомненен: в доме № 13 убивали толпой беззащитных людей, убивали долго, среди людного города, точно в темном лесу. Трупы налицо... А затем, — не все ли равно евреям, как именно их убивали? Для чего им выдумывать подробности?..

Мораль ясна для всякого, в ком живо человеческое чувство... Но во многих ли оно живо?..

Этот тяжелый вопрос встает невольно, когда увидишь то, что мне пришлось увидеть в Кишиневе.

VIII

А впрочем... Подавленный этим ужасающим материалом, я кончал свои беспорядочные наброски, когда прочитал в газетах о смерти нотариуса Писаржевского. Имя этого человека было у всех на устах в то время, когда я был в Кишиневе. Молодой, красивый, богатый, вращавшийся в «лучшем обществе», он искал еще новых впечатлений. Десятки людей говорили мне о том, что Писаржевский, несомненно, лично участвовал в погроме, поощряя громил. Говорили также много о том, какие сильные средства пускались в ход, чтобы затушевать это вопиющее дело и скрыть прямое участие в погроме кишиневского светского льва. Хотелось бы думать, что не все верно, что рассказывали по этому поводу, но и то, что верно, составило бы очень подходящее прибавление к странной истории кишиневского погрома...

Эти усилия не удались. Истина была слишком очевидна, и в газетах появилось известие о привлечении Писаржевского к делу.

После этого он продолжал прежний образ жизни: вращался в свете, кутил, играл в карты. В роковую ночь ему очень везло в игре, он был очень весел, а на заре ушел в сад, написал на скамье: «Здесь умер нотариус Писаржевский», — и застрелился.

В газетных комментариях сообщают, что он был наследственный алкоголик, что его угнетала перспектива суда, что ему не удалось какие-то любовные комбинации...

Все ли это?... Теперь факт уже совершился, печальная расплата закончена... Мне кажется, я не унижу памяти несчастного человека, если предположу, что в том счете, итог которого сам он вывел на скамейке, могли участвовать еще некоторые цифры. Что на заре его пос-

ледного дня перед ним встало также сознание того, что сделал он, интеллигентный человек, — по отношению к евреям, которых убивали христиане, и по отношению к христианам, которые убивали евреев.

Я не имел в виду создавать проекты решения еврейского вопроса. Но если бы я был один из тех еврейских миллионеров, которые заняты этим вопросом, я бы, признаюсь, не устоял против соблазна произвести один социальный опыт: я бы переселил, чего бы это ни стоило, если не всех, то огромное большинство евреев из места погрома. Я вернул бы богачу его богатство и сделал бы бедняка зажиточным человеком, под условием немедленного переселения. И когда из-под снятого таким образом пласта еврейского капитала выступил бы в данном месте свой отечественный и даже патриотический капитал без примеси и без усложняющих обстоятельств, когда г. Крушевану не на кого было бы взводить мрачные небылицы о ритуальных убийствах, а ростовщики и скупщики щеголяли бы не в еврейской одежде, — тогда, надо думать, стало бы ясно, в чем тут дело и можно ли решать эти вопросы погромами и убийством «бухгалтеров» Нисензонов, несчастных стекольщиков Гриншпунов, извозчиков-евреев, добывающих свой горький хлеб трудом, таким же тяжким, как и труд их христианских собратьев...

И действительно ли гнет ростовщика легче, если он не носит еврейскую одежду и называет себя христианином?..

БЫТОВОЕ ЯВЛЕНИЕ

Заметки публициста о смертной казни

I

12 МАЯ 1906 ГОДА

Ни одно из заседаний всех трех Государственных дум не оставило во мне такого глубокого впечатления, как заседание 12 мая 1906 года.

Прошло полгода со дня знаменитого манифеста. Назади осталась ужасная война, Цусима, московское восстание, кровавый вихрь карательных экспедиций. Двадцать седьмого апреля открылась первая Государственная дума; она должна была отметить грань русской жизни, стать в качестве посредника между ее прошлым и будущим. В ответном адресе на тронную речь Дума почти единогласно высказалась против смертной казни.

Это было последовательно. Во всеподданнейшем докладе гр. Витте, приложенном к манифесту, признавалось открыто и ясно, что беспорядки, потрясавшие в это время Россию, «не могут быть объяснены ни *частичными* несовершенствами существующего строя, ни одной только организованной деятельностью крайних партий». «Корни этих волнений, — говорил глава обновляемого правительства, — лежат, несомненно, глубже». И именно в том, что «Россия пережила формы существующего строя» и «стремится к строю правовому на основе гражданской свободы». «Положение дела, — говорилось далее в той же записке, — требует от власти приемов, свидетельствующих об искренности и прямоте ее намерений». На докладе, котором были эти слова, государь император написал: «Принять к руководству всеподданнейший доклад ст. секретаря С. Ю. Витте».

Такова была компетентная оценка положения, среди которого созывалась первая Дума. Исторический строй, признанный свыше отсталым и не удовлетворяющим назревшим потребностям современной русской жизни, открыто брал на себя свою долю ответственности за волнения и смуту, охватившие Россию. Ни «организованные партии», ни общество не были повинны в политической отсталости России. Вина в этом падала на единственных хозяев и бесконтрольных распорядителей. Первая Дума сделала из этого вывод: оставьте же старые приемы борьбы, смягчите кары за общую вину всей русской жизни. Это и будет доказательство той искренности и прямоты намерений, о которых вы говорите.

Казалось, историческая власть стоит в раздумье

перед новой задачей. «С 27 апреля, — говорил в одной из своих речей депутат Кузьмин-Караваев, — ни один смертный приговор не получил утверждения. Напротив, постоянно приходилось читать, что приговор смягчен и наказание заменено другим...» В течение двух недель виселица бездействовала, палачи на всем пространстве России отдыхали от своей ужасной работы. Среди этого затишья историческая Россия встречалась с Россией будущей, и обе измеряли друг друга тревожными, пытливыми, ожидающими взглядами.

Двенадцатого мая получилось известие, что виселица опять принимается за работу. Раздумье кончилось.

В Думе происходило обсуждение кадетского законопроекта о неприкосновенности личности. У проекта были, конечно, свои недостатки. На него нападали с разных сторон: для одних он был почти утопичен, для других — слишком умерен. Теперь едва ли можно сомневаться, что, будь он действительно осуществлен хоть в значительной части, Россия вздохнула бы, точно после мучительного кошмара. Весь вопрос состоял в том, может ли Дума осуществить что бы то ни было, или все ее пожелания останутся красивыми отвлеченностями. Призвана ли она для реальной работы, или ей суждено представить из себя законодательную фабрику на всем ходу, с вертящимися маховиками и валами, но только без приводных ремней к реальной жизни.

Случай для ответа на этот вопрос скоро представился, и притом в самой трагической форме. Обсуждение законопроекта о неприкосновенности личности было прервано спешным запросом трудовиков: известно ли главе министерства, что в Риге готовится сразу восемь смертных казней?

Еще 11 декабря 1905 года, в разгар преддумских беспорядков, восстаний, усмирений и карательных экспедиций, в Риге был убит пристав Поржицкий. Как известно, в Остзейском крае вообще, в Риге в частности, кризис, вызванный переломом застоявшейся русской жизни, проявлялся особенно резко. С одной стороны, ужасающие газетные известия о пыточных застенках и

приемах полицейских репрессий, с другой — убийства сыщиков и агентов власти. Здесь более, чем где бы то ни было, нужно было внимательное отношение к двусторонним проявлениям общей вины и общей ответственности. Искренность, о которой говорил С. Ю. Витте, несомненно требовала передачи дела общему суду при обоюдных гарантиях. Притом же этого требовал и формальный закон.

Убийство было совершено 11 декабря. Усиленная охрана заменена военным положением 24 декабря. Предание суду состоялось 15 апреля. Случилось так, что *формально* был промежуток, когда в Риге перестала действовать усиленная охрана, а военное положение еще не вошло в силу. Поэтому военный генерал-губернатор, при изъятии дела из общей подсудности, вынужден был мотивировать это «усиленной охраной», которая в то время уже не действовала. Это было незаконно: главный военный суд уже кассировал такой же приговор по делу Иогансона и Зегала, передав дело гражданскому суду.

Еще недавно министр юстиции на обращение депутатов по поводу казней забронировался *формальной* законностью: пока смертная казнь не отменена, она действует в законном порядке. Теперь такой же формальный закон защищал восемь жизней. Стоило только применить его, дело было бы рассмотрено общим судом, и восемь рижских виселиц остались бы пустыми.

Тем не менее явно незаконный военный суд состоялся и вынес восемь смертных приговоров. Защитники подали кассационные жалобы, исход которых не мог возбуждать сомнения. Тогда генерал-губернатор *собственной властью не дал хода кассации*.

Общее значение этого эпизода было совершенно ясно. Раздумье кончалось. Исполнительная власть отстраняла общесудебные гарантии и даже на место гарантий военно-судных выдвигала личное усмотрение рижского администратора. Иначе сказать: администрация опять выступала судьей в собственном деле и на основании этого суда, глубоко чуждого самому духу новых учреждений, уже готовила казни.

На этой своеобразно «легальной» почве, около этих восьми жизней, закипела бескровная, но полная глубокого драматизма борьба новой Думы со старой исторической властью. Были пущены в ход заявления, ходатайства, просьбы.

Апеллировали к человеколюбию, к великодушию, к справедливости, к простой формальной законности. Защища подала жалобу в Сенат на приостановку кассации и в то же время обратилась с ходатайством на высочайшее имя. Думе, в целом, оставалось только принять запрос. Шестьдесят шесть ее членов подписали отдельное личное ходатайство...

Двенадцатого мая я сидел в ложе журналистов и запомнил навсегда сумеречный час этого дня, предъявление запроса, речи депутатов, смущенные, полные предчувствий. Среди водворявшейся временами глубокой тишины как будто чуялось веяние смерти и невидимый полет решающей исторической минуты. Это была своего рода мертвая точка: вопрос состоял в том, в какую сторону двинется с нее русская политическая жизнь, куда переместится центр ее тяжести. Вперед, к началам гуманности и обновления, или назад, к старым приемам произвола, не считающегося даже со своими собственными законами...

К трибуне подошел В. Д. Кузьмин-Караваев. Речь его была простая, короткая, без громких слов. Раздалось несколько нерешительных рукоплесканий и тотчас смолкли. Председатель поставил на баллотировку предложение: препроводить запрос к председателю совета министров немедленно, без соблюдения обычных формальностей, с указанием на необходимость приостановки исполнения приговора до решения вопроса о кассации, до ответа на ходатайства...

— Кто возражает против предложения, — говорит председатель, — прошу встать.

Не поднялся никто.

В первой Думе тоже были принципиальные защитники смертной казни, и еще недавно высказался в этом смысле екатеринославский депутат Способный. Но еще

не было откровенной кровожадности нынешних «правых», требующих виселиц даже для своих думских противников. Решение принято единогласно. Кто не хотел видеть в этом простой справедливости, те чувствовали все-таки милосердия и останавливались перед ужасом восьми казней...

И помню, что тотчас по объявлении этого постановления, когда Дума перешла опять к законопроекту «О неприкосновенности», зажгли электричество. Свет залил весь думский зал, председательскую трибуну, фигуру докладчика на кафедре, амфитеатр думских скамей с фигурами депутатов... И у меня было такое ощущение, как будто тут, в зале, есть еще что-то невидимое, но жутко осязательное, почти мистическое. Может быть, это была неуверенность в спасении восьми жизней, а за ней и во многом другом, что роковым образом сплелось с судьбой этих безвестных восьми людей в Риге... *Дума сделала все, что могла. Но она не сделала ничего*, — кажется, так следует истолковать это странное ощущение. Здесь могут только негодовать, надеяться, скорбеть и высказывать пожелания. А там могут вешать...

Прошло шесть дней. Восемнадцатого мая на трибуну вошел докладчик Набоков, чтобы сообщить ответ председателя совета министров на думский запрос. Ответ был краток и формален. Сущность его, впрочем, была уже известна из газет: рижский генерал-губернатор не пожелал ожидать исхода жалоб на приговор заведомо незаконного суда и распорядился 16 мая спешно казнить всех восемь приговоренных...

Смысл сообщения был осязательно ясен; на сообщения о законности отвечали заявлением о силе. В Думе полились речи, полные негодования и горечи. «В ответ на наш запрос, — сказал депутат Ледницкий, — нам кинули восемь трупов». «Некоторые из них малолетние», — прибавляет депутат Локоть. Кузьмин-Караваев оглашает звучащую горькой иронией телеграмму Леруа-Болье. Просвещенный француз, знаток и друг России, поздравляет Думу с предстоящей отменой смертной казни. «Этим русский парламент совершит

акт милосердия и ускорит прогрессивное развитие человечества». Депутат Родичев еще пытается протестовать против «маловерия», которое темной волной хлынуло в Таврический дворец от этой мрачной генерал-губернаторской демонстрации.

«Вы напишете закон об отмене смертной казни, — утешает он депутатов, — его утвердят, его не могут не утвердить. Неужели вы сомневаетесь, что смертная казнь уже корчится в предсмертных судорогах?»

Увы! Самые оптимистические каламбуры бессильны перед фактом. А факт состоял в том, что против потока превосходных слов и проектов рижский генерал-губернатор, разумеется в полном согласии с правительством, выдвинул восемь виселиц. Это было так убедительно, что через десять дней в той же думской зале тот же депутат Родичев говорил с горьким унынием: «Если мы и признаем обсуждаемую статью (об отмене смертной казни) за закон, в чем же изменится положение дела? Вы убеждены, что этот параграф станет законом и казни прекратятся?.. Но, господа, каждый из нас понимает, что это не так...»

И действительно, это оказалось не так. Кто теперь вспоминает на Руси, что в заседании 19 июня 1906 года в первую Государственную думу внесен законопроект, состоявший из двух статей:

Статья первая: Смертная казнь отменяется.

Статья вторая: Во всех случаях, в которых действующими законами установлена смертная казнь, она заменяется непосредственно следующим по тяжести наказанием...

И что этот законопроект Государственной думой принят... И что он облечен в форму закона... Новый закон унесен потоком событий, смывших первую Думу, а факт остался. Виселица опять принялась за работу, и еще никогда, быть может со времени Грозного, Россия не видала такого количества смертных казней. До своего «обновления» старая Россия знала хронические голодовки и поварьные болезни. Теперь к этим привычным явлениям наша своеобразная конституция прибавила

новое. Среди обычных рубрик смертности (от голода, тифа, дифтерита, скарлатины, холеры, чумы) нужно отвести место новой графе: «от виселицы». Почти ежедневно, в предутренние часы, когда над огромною страшной царит крепкий сон, где-нибудь по тюремным коридорам зловеще стучат шаги, кого-нибудь поднимают от кошмарного забытья и ведут, здорового и полного сил, к готовой могиле...

Да, как не признать, что русская история идет самобытными и необъяснимыми путями. Всюду на свете введение конституций сопровождалось хотя бы временными облегчениями: амнистиями, смягчением репрессий. Только у нас вместе с конституцией вошла смертная казнь как хозяйка в дом русского правосудия. Вошла и расположилась прочно, надолго, как настоящее бытовое явление, затяжное, повальное, хроническое...

В последующих очерках, далеко не систематических и не претендующих на исчерпывающее значение, мы постараемся присмотреться к этому новому бытовому явлению... Нужно же знать то, от чего пока (и, может быть, надолго) нет силы избавиться...

II

СМЕРТНИКИ В N-СКОЙ ТЮРЬМЕ

До сих пор быт русских тюрем знал определенные категории заключенных. Это были «высидочные», отбывавшие срочное заключение по суду, подследственные, пересыльные и каторжане.

«Обновление» принесло еще новую категорию, которой тюремный жаргон присвоил зловещее название: «смертники».

Интеллигентный человек, закинутый превратной судьбой в одну из провинциальных тюрем (называть которую он не желает), имел случай наблюдать, хоть не систематически и отрывочно, быт этих людей, ждущих в заключении смертного приговора, конфирмации, казни. Материал, добытый таким образом из случайных

встреч, разговоров, урывками и секретно пересылавшихся писем, он предоставил в наше распоряжение, и я хочу познакомить с ним читателя.

Губернская тюрьма провинциального города. Архитектура обыкновенная. По углам главного корпуса четыре башни. Ход в каждую башню из тюремных коридоров, на которые смотрят в два ряда молчаливые «глаз-ки» камер. В конце коридора крепко запертая дверь, ключ от которой хранится у особых надзирателей. Один из них постоянно караулит вход в башню. За этим входом небольшой темный коридор, ведущий еще к одной двери. За нею круглая башенная камера.

Камера представляет цилиндр, аршин трех или четырех в диаметре. Вверху — небольшое окно, забранное двумя решетками. Решетки скрадывают свет, а зимой, когда вставляются двойные рамы, в камере становится так темно, что даже днем читать или писать становится невозможно. Вечером вспыхивает электрическая лампочка, подвешенная к потолку. Она подвешена высоко, и, даже стоя под нею, читать можно лишь с большим напряжением. Ни косяк, ни нар в камере нет. Маленький столик и два-три табурета уносятся на ночь. Спать приходится прямо на полу. Стены вверху бледно-серые. Внизу, аршина на два от пола, идет траурная черная полоса.

Камеры верхнего этажа каждой башни лучше. Они суше, светлее; из окон можно видеть город, площадь за тюрьмой, проходящих по площади людей. Нижние камеры врыты глубоко в землю, так что их полукруглые окна помещаются на уровне тюремного двора. Люди тут как будто опущены в колодец, траурно-темный, холодный и сырой. Из окон они могут видеть ноги гуляющих по двору арестантов. Против каждой башни стоит надзиратель с ружьем.

Тут помещаются «смертники».

В том году, к которому относятся наблюдения нашего случайного корреспондента, их перебывало свыше сорока. Это были все сравнительно молодые люди, преимущественно рабочие местного крупного железозедел-

тельного завода, осужденные по делам об экспроприациях.

Тюремная администрация употребляет все усилия, чтобы изолировать их от остальных заключенных. Для прогулки смертников отведено особое место. В баню их тоже водят отдельно. Но, разумеется, полная изоляция невозможна. На допросы, в суд, на прогулку или на свидания их проводят все-таки общими коридорами, и арестанты смотрят в «глазки» на этих обреченных, уже отмеченных печатью смерти людей. Теми же коридорами ведут их в темные предутренние часы на казнь, и тогда спящие в камерах арестанты тревожно вскакивают, слушая гулкие шаги, порой стоны и предсмертные крики человека, прощающегося таким образом с доступным ему и сочувствующим арестантским миром. Потом шаги и жалобные крики смолкают. В глубокой тишине на заднем дворе совершается последнее действие страшной трагедии... В камерах не спят и гадают, кого это повели только что к открытой могиле...

Порой в часы прогулок гуляющие арестанты слышат откуда-то, точно из-под земли, голоса, громко разговаривающие или спорящие. Порой, особенно в первой половине того года, к которому относится наш материал, из «смертных» камер раздавалось пение. Тогда стоящий у башни караульный начинал волноваться, стучал ружьем и кричал:

— Башня, перестань петь! Башня! Тебе говорят: перестань!

Если это заклинание не действовало, на сцену являлся помощник начальника, и кого-нибудь из людей, ждущих казни, вдобавок сажали в карцер...

Карцер — темная коробка, помещающаяся прямо под тюремную церковь, низкая, сырая, холодная, с отвратительным воздухом. Многих после трех-четырех дней заключения из карцера выносили на рогожах прямо в больницу.

В башнях порой в одиночку, иногда группами люди ждут приговоров или их исполнения... Ждут дни, недели, иногда месяцы, каждый вечер спрашивая себя, уви-

дят ли они завтрашнее утро. В прежнее, еще недавнее, «доконституционное» время один военный судья говорил мне, что продолжительная отсрочка казни являлась огромным шансом за ее отмену: нельзя казнить человека, пережившего такой продолжительный ужас, хуже самой смерти. Теперь этими психологическими тонкостями не стесняются...

III

БУДНИ СМЕРТНИКОВ

Всем еще памятно то одушевление, с которым шли на смерть приговоренные к казни или расстреливаемые без суда в первом периоде нашей «революции». Так умирали интеллигентные люди, молодые девушки, железнодорожные рабочие, матросы. Группа матросов, восставших вместе с лейтенантом Шмидтом, шла на казнь дружным строем и пела известную народную рекрутскую песню:

Последний радостный денечек
Гуляю с вами я, друзья!
А завтра рано чуть светочек
Заплачет вся моя семья...

В этом зрелище было столько одушевления и веры в значение жизни перед лицом неизбежной смерти, что, говорят, эта песня на юге приобрела значение марсельезы.

Теперь многое изменилось, и по мере того, как смертная казнь превратилась в будничное бытовое явление, от нее удаляется и обволакивавшее ее прежде одушевление. Должно быть, труднее умирать за то, за что люди так часто умирают в наше время.

Впрочем, наш корреспондент отмечает, что в первые дни после приговора многие смертники чувствуют себя сравнительно бодро. В свои мрачные башенные камеры они вносят еще возбуждение недавней борьбы, полной если не возвышенных, то сильных ощущений и крайнего напряжения нервов. Суд и приговор — только последний размах той же волны. В большинстве писем,

относящихся к первым дням после приговора, звучит еще своеобразная бодрость, даже ирония. Иные из этих писем чрезвычайно характерны, и мы приведем их в тех отрывках, какие дает нам наш корреспондент.

«Я напишу вам, — так начинается одно письмо, — но предупреждаю, что я человек малограмотный, неразвитой и малоначитанный. *Я чувствую себя очень хорошо*¹. Смерть для меня ничто. Я знал, что это рано или поздно, но должно быть. Я был уверен на воле, что меня повесят или застрелят где-нибудь на деле. Так вот, товарищ, может ли мне казаться страшной смерть? Да, конечно, ничуть. Я не знаю, как другие, но до суда и после суда я был в одном настроении. Только обидно: со мной приговорили одного невиновного. Я в суде не утерпел и крикнул судьям...² За это мне попало от «сознательного конвоя»...»

Еще через некоторое время тот же автор писал: «Вы спрашиваете, как я провожу время. Определить трудно. Я сам себя не могу учесть в этом случае. Одно могу сказать, что *душевно я спокоен*. Очень даже спокоен. Наружный вид, можно сказать, веселый. С утра до ночи смеемся, рассказываем различные анекдоты, конечно юмористические. Конечно, вопрос о жизни приходит иногда в голову. Задумаешься на несколько минут и стараешься забыть это все потому, что все уже кончено для меня на сей земле. А раз кончено, то такие мысли стараешься отогнать и не поднимать в своей голове. Я вижу, что времени для жизни осталось очень мало, и в такие короткие минуты ничего не могу разрешить. Чем понапрасну ломать голову, лучше все это забыть и последнее время провести веселее. Я сам себя не могу определить: я как будто ненормальный. Иногда хочется отравиться. Отравиться тогда, когда мне этого захочется. Уж очень не хочется идти помирать на задний двор, да еще в сырую погоду, в дождик. Пока дойдешь, всего измочит. А мокрому и висеть не особенно удобно. Да

¹ Курсивы и далее наши. — *Авт.*

² Многоточие в присланной нам рукописи. — *Авт.*

еще и то: берут ночью. Только разоспишься, а тут будят, тревожат... Лучше бы отравиться...»

Читатель видит, что здесь у человека еще хватает настроения для какого-то жуткого юмора над своей страшной судьбой... «Измокнешь, а мокрому и висеть неудобно... Только что разоспишься, а тут — тревожат...»

«Чувствую себя ничего, — пишет другой приговоренный. — Даже удивлен, что в душе не сделалось никакого переворота. Точно ничего не случилось...» Повидимому, жизнь обладает своей инерцией движения, и человек еще органически не может себе представить, что она скоро оборвется без внутренних, органических причин. Он *знает* о приговоре, но еще не может его *почувствовать*...

Поддержать в себе возможно дольше, до самой смерти, это настроение продолжающейся жизни, не дать ужасной истине пустить в душу отравляющие ростки — такова теперь задача, к которой приспосаблиется весь быт своеобразного общества, населяющего мрачные камеры. «Забыть и дать забыть другим» — это как будто правило его социальной нравственности.

«Спать ложимся мы в три часа ночи, — пишет один приговоренный. — Это постоянно. Р. научил нас играть в преферанс, и мы до того им увлеклись, что играем, как будто бы за интерес. Увлеклись сильно. Тут есть и сожаление от проигрыша, и маленькие радости от выигрыша. *Упадка духа ни в ком как будто и не замечается.* Если посмотреть со стороны и не знать, что мы приговорены к смерти, то можно счесть нас просто за людей, отбывающих наказание. Если же наблюдать нас, зная, что нас ждет смерть, то, вероятно, можно подумать, что мы ненормальны. Действительно, и самому приходится удивляться тому, что мы так хладнокровны. По одной фразе вашей я заметил, что предполагается у нас тяжелое настроение духа. Представьте себе, что нет. Даже, напротив, бывает неестественно веселое настроение. *Часто смех, шутки, песни и рассказы не сходят у нас с уст.* О том, что ждет нас, буквально забываешь. Это, по

моему мнению, происходит от того, что сидишь не один... Чуть кто пригорюнится, так другой старается, может быть ненамеренно, оторвать его от тяжелых мыслей и вовлечь в разговор или во что-нибудь другое... Находят минуты какой-то беспричинной злобы, хочется кому-нибудь сделать зло, какую-нибудь пакость. Насколько я наблюдал, если такому человеку поволноваться и вылить свою злобу в руготне, то он понемногу успокоится. На некоторых в такие моменты действует пение. Затяни что-нибудь — он поддержит».

В такие-то минуты из наглухо закрытых башен несутся звуки песен, и стража во дворе начинает тревожиться, стучать ружьями и кричать: «Башня, тебе говорят, замолчи!» Но заставить замолкнуть такую песню, конечно, нелегко...

«Теперешнее мое состояние удовлетворительно, — читаем мы еще в одном письме «из башни», — только в голове какой-то хаос. Хотелось бы на день, на два остаться одному с самим собою; но это невозможно. Жаль погибающую молодость! К тому, что скоро придется умирать, отношусь не то чтобы хладнокровно, но все-таки эта мысль не смущает меня: *я не вдумываюсь в нее*. Чем объяснить это — я не знаю!»

Автору этого письма хотелось бы остаться одному; но именно одиночество в этом положении ужасно. «Как начинает лезть что-нибудь в голову, — пишет другой «смертник», — так я тотчас же отвлекаю себя разговорами с товарищами, лишь бы только это удалить. А то, как только почувствую, что могу заснуть, стараюсь лечь спать. Мне кажется, что если бы я... сидел один, то давным-давно покончил бы с собою».

По мере того как идет время, спокойствие тоже уходит. «Жизнь приходится считать минутами, она коротка, — пишет один из приговоренных, по-видимому проводящий последние дни в одиночестве. — Сейчас пишу эту записку и боюсь, что вот-вот растворятся двери и я не dokonчу. Как скверно я чувствую себя в этой зловещей тишине! Чуть слышимый шорох заставляет тревожно биться мое сердце... Скрипнет дверь... Но

это внизу. И я снова начинаю писать. В коридоре слышались шаги, и я бегу к дверям. Нет, снова напрасная тревога, это шаги надзирателя. Страшная мертвая тишина давит меня. Мне душно. Моя голова налита как свинцом и бессильно падает на подушку. А записку все-таки окончить надо. О чем я хотел писать тебе? Да, о жизни! Не правда ли, смешно говорить о ней, когда тут, рядом с тобой, смерть. Да, она недалеко от меня. Я чувствую на себе ее холодное дыхание, ее страшный призрак неотступно стоит в моих глазах... Встанешь утром и, как ребенок, радуешься тому, что ты еще жив, что еще целый день предстоит наслаждаться жизнью. Но зато ночь! Сколько она приносит мучений — трудно передать... Ну, пора кончить: около двух часов ночи. Можно заснуть и быть спокойным: за мной уже сегодня не придут».

«Я давно не писал вам, — говорится в новом письме (другого лица). — Все фантазировал, но ничего не мог сообразить своим больным мозгом. Я в настоящее время нахожусь в полном неведении, и это страшно мучает меня. Я приговорен вот уже два месяца, и вот все не вешают. Зачем берегут меня? Может быть, издеваются надо мной? Может быть, хотят, чтобы я мучился каждую ночь в ожидании смерти? Да, товарищ, я не нахожу слова, я не в силах передать на бумаге, как я мучаюсь ночами! Что-нибудь скорей бы!»

Это писал тот самый человек, который вначале удивлялся, что приговор не произвел на него впечатления, и говорил, что смерть его нисколько не пугает... Два его письма — это два полюса в настроении «смертников»: вначале возбуждение и бодрость, потом возрастающий ужас перед развязкой, тупой и безмолвной.

IV

ИЛЛЮЗИИ И САМОУБИЙСТВА

Впрочем, в промежутках часто являются мечта и надежда. «У каждого, — говорит один из авторов писем, — есть какая-нибудь надежда, и у каждого фантазия дохо-

дит до геркулесовых столбов. Хотя мы и знаем, что каждого из наших товарищей берут и вешают, но все-таки [собственная] предстоящая казнь кажется невероятной. Кажется невероятным: как это меня, здорового, полного сил человека, поведут и повесят... У каждого есть розовая надежда на что-то, чуть не на чудо. Некоторые ждут помилования. Другие мечтают о подаче прошения на высочайшее имя и думают как-нибудь провести администрацию. Говорим иногда об усыпительных веществах. Как бы уснуть так, чтобы когда похоронят, то пришли бы товарищи и откопали бы из могилы. Мечтали о сделке с доктором во время смертной казни» и т. д.

Но и надежда в положении смертника, как гашиш, обманчива и ядовита. «Я думаю, — пишет один из них, — что для нас вредны мечты в большом размере, так как чересчур тяжки разочарования. Для примера приведу X-ва. Он вполне был уверен, что ему отменят смертный приговор, так как об этом хлопотал сам суд, да и дядя его имел большие связи. Когда пришли ночью и сказали, что пришло помилование, то он поверил этому и с радостью пошел в контору. Что же ему пришлось пережить, когда вместо помилования его потащили на виселицу?.. Мне могут сказать, что все это неважно, так как страданий здесь всего ведь на час, да и то, быть может, меньше. Но я не хочу месяца иллюзий, чтобы пережить и час таких страданий. Лучше я буду внушать себе, что мне скоро придется умереть. Я не скрою, что и я тоже мечтаю и строю иллюзии, но только я не позволяю мечте вкорениться глубоко. Против мечты о воле, о том, как хорошо было бы очутиться в кругу близких людей, против этой мечты я принимаю свои меры.

Теперь приведу другой пример — П-ва. У него совершенно не должно было быть никаких надежд. Но вот почему-то одних берут, а его, хотя и вышел срок, оставляют. У него являются надежды. И вот он, который раньше соглашался умереть с большими страданиями, чем от доставленного ему яда, теперь уже не реша-

ется [отравиться] и ждет последней минуты. Яд он принимает только тогда, когда пришли и сказали: «Собирайся на виселицу». От яда он падает без чувств. Его выносят на тюфяке на свежий воздух и качают... Он приходит в себя. Под воротами его рвет. Он приходит потом в контору, пишет письма и идет на виселицу».

«И таких примеров много, — прибавляет автор письма. — Это все последствия иллюзий...» П-в ждал решения своей участи без двух дней пять месяцев! И «хотя, по-видимому, у него были хорошие, благодаря иллюзиям, минуты, но в конце концов — тройные мучения... Каждый из нас хватается за соломинку, и тогда логика и рассудок — все летит к черту».

Удалось ли в конце концов писавшему вышеприведенные строки удержаться в пределах «логики и рассудка» — мы не знаем. Но те, кто пассивно поддаются иллюзиям, легко превращаются в маниаков. «Из всех приговоренных к смертной казни, — говорится в одном письме, — такого, как NN, я вижу впервые. Он хотя и не говорит, но, видимо, ему жаль порвать с жизнью. Он все ждет помилования. Прощения он не подавал, но подала его мать от своего имени. Теперь он постоянно гадает на картах, будет или не будет он помилован. Он отказался покончить с собой. Если бы я захотел описать его последние дни, то едва ли мог бы многое описать. Жизнь его течет чрезвычайно однообразно и монотонно. Вечером он ложится спать часов в шесть, а встает в два, три, четыре часа. И как только встает, так берется за карты и начинает гадать. Днем иногда ляжет полежать и на мой вопрос: «О чем вы думаете?» — обыкновенно отвечает: «Я и сам не знаю о чем». Почти все время проводит он за картами и в какой-то меланхолической мечте. Может быть, он мечтает о чем-нибудь ценном, но только не желает с нами этим поделиться. Не знаю».

Автор заметок, которыми мы пользуемся при составлении этого очерка, пишет, что ему удавалось по временам видеть NN, о котором идет речь в предыдущем письме. «Это еще молодой человек, лет двадцати, с продолговатым лицом и голубыми, чем-то затуманен-

ными и как будто ничего не видящими глазами. В серой, плотно облегавшей его фигуру арестантской куртке шел он медленно со своим провожатым на прогулку и устало и равнодушно смотрел куда-то вдоль длинного коридора. Больше всего привлекали внимание его смертельно усталые, рассеянные, ничего не видящие глаза». В то время, когда автор записывал в тюрьме свои впечатления, ему уже редко приходилось видеть NN. Говорили, что он обещал властям выдать несколько человек, если ему дано будет помилование, и что ему подали надежду на избавление от казни...

Не все, конечно, отдаются так всецело во власть безграничных иллюзий. Желания многих приговоренных не идут дальше добровольной смерти. Мы уже встречали выше выражение этого настроения: «Умереть, когда захочу сам». И в то время, как обыкновенное население тюрем стремится всеми мерами добыть «с воли» водку, табак или карты, смертники со всевозможными ухищрениями добывают яд или нож.

Газеты отмечают то и дело случаи самоубийства перед казнью. Больше всего прибегают осужденные к цианистому калию, реже к морфию или ножу. «Любопытно, — пишет автор наших материалов, — что ни один из присужденных при попытках к самоубийству не прибегал к помощи шнура или веревки, хотя достать их гораздо легче». Газеты отмечали случаи самоповешения, но действительно они реже других способов самоубийства. Смерть от руки палача кажется позорнее и страшнее. Приговоренные прежде всего предпочитают добровольную смерть, «когда сам захочу», и если можно, то она должна быть другая, не та, которую назначит им человеческий суд. В течение того года, к которому относятся наблюдения нашего корреспондента, один из приговоренных отравился стрихнином и кончил жизнь в страшных мучениях. Другой нанес себе удар ножом в сердце. В третьем случае удар ножа не оказался смертельным, четвертый вскрыл себе рану на руке обломком стекла, он тоже остался жив. Было также несколько случаев неудачного самоотравления...

Эти попытки и самоубийства происходят на глазах у остального населения камеры. «Смерть товарища Я-ва, — говорится в одном из писем, — произвела на меня ужасное впечатление. Громадная сила воли, потрясающая картина героической смерти. Перед смертью он был весел, курил, разговаривал, смеялся. Волнения не было заметно. Потом нащупал сердце, приложил нож одной рукой, а другой ударил: раз! два... Потом сказал: «Вот хорошо! Выньте». И начал хрипеть, и умер, не издав ни одного громкого стога».

Он оставил записку: «Кончаю жизнь самоубийством. Вы меня приговорили к смерти и, быть может, думаете, что я боюсь вашего приговора, нет! Ваш приговор мне не страшен. Но я не хочу, чтобы надо мной была произведена комедия, которую вы намерены проделать со своим формализмом. Мне грозит смерть. Я знаю и принимаю это. Я не хочу ждать смерти, которую вы приведете в исполнение. Я решил помереть раньше. Не думайте, что я такой же трус, как вы».

Для этого мужественного человека смерть, очевидно, явилась последним актом если не прямой борьбы, то хоть полемики с врагами.

V

ПОСЛЕДНИЕ СВИДАНИЯ

Два раза в неделю у тюремных ворот собирается толпа народу и терпеливо ждет, пока откроются двери. Это отцы, матери, братья, сестры, сыновья, дочери и жены заключенных, явившиеся на свидание. Двери, наконец, отворяются. Их пропускают.

Длинная, узкая и грязная комната с одним окном. Во всю длину она перегорожена двумя перегородками: внизу перегородки — деревянные, сплошные, вверху до потолка — из частой проволочной сетки. Между перегородками расстояние в два аршина. На этом расстоянии арестанты и их родные переглядываются и переговариваются через две сетки... Так как говорить приходится всем вместе и общий говор заглушает слова, то

через несколько минут «свидальная комната» переполняется шумом и криками. Каждый старается перекрычать других и закинуть другому человеку свое слово за эти перегородки. Комната полна нестройных отчаянных выкрикиваний. Визг женских голосов, судорожно напряженные лица и бессильный, никому не слышный плач под звон кандалов... Вот старая крестьянка. Она притащилась в город за пятьдесят верст и теперь судорожно вцепилась скрюченными пальцами в проволочную сетку. Она пытается несколько раз что-то выкрикнуть сыну, но ее старческий голос тонет в этом нестройном грохоте, звоне и шуме. Она машет рукой и уже только смотрит старыми заплаканными глазами... А через пять—семь минут свидание прекращается. Всех выгоняют и за проволочные решетки пускают новые партии арестантов и пришедших к ним «с воли». Прежние уходят, унося с собой чувство неудовлетворенности и печали. Хотелось сказать дорогому человеку так много. Не сказал ничего. Казнены уже в России тысячи человек. Приблизительно столько же матерей, и еще столько же отцов, и, может быть, столько же сестер, братьев и жен смотрели через такие решетки на дорогих людей, которым грозила смерть. Если это были простые рабочие или крестьяне, то прощаться с ними, как с умирающими, приходили и другие родственники, каких только допускали. И сколько тяжелого, незабываемого и порой непрощасмого страдания разнесут эти простые люди по предместьям городов и по дальним деревням и селам.

Когда приговор уже состоялся, смертник получает привилегию: с него снимают кандалы и на свидание к нему близких родственников допускают в тюремную контору. И опять по дорогам тянутся телеги, а в них — матери и отцы, едущие на последнее свидание. Военное правосудие по большей части совершается стремительно, и, пока старая мать бредет пешком или тащится на заморенной клячонке, — дело часто бывает кончено. Тюремный привратник деловито и бесстрастно, как русский мужик вообще умеет говорить о смерти, сообщ-

щает, что сын повешен на рассвете, в то время, когда они тащились в темноте по плохим дорогам. «Недавно, — рассказывает наш корреспондент, — одна из таких матерей подошла к тюрьме и стала просить прощального свидания. Вместо разрешения из тюремной канторы ей вынесли клочок волос — все, что ей осталось от сына. Перед виселицей сын попросил ножницы, отрезал прядь волос и передал их для матери. Последняя воля его была добросовестно исполнена».

В прошлом году газеты сообщали о случае еще более печальном. Приговоренный к смертной казни в Балашове Шуримов послал к отцу письмо с просьбой приехать попрощаться перед смертью. «Элементарная гуманность, — говорит сообщивший об этом случае корреспондент, — если о гуманности может быть речь около виселицы, — требовала чего-либо одного: или отказа передать письмо, или разрешения этого последнего свидания. Третьего, казалось, тут быть не может... Но именно это, третье, мучительное и безобразное в своей бесчеловечности, и вышло». Отец, бедный и больной старик, собрав последние гроши, отправился в Саратов, захватив с собой и младшего сына. Прежде всего, конечно, обратился в суд. Здесь ему посоветовали «навести справку» у командующего войсками. На вопрос: жив ли еще его сын, сухо отвечали: не знаем. Старик съездил в Казань, но и тут ему «справки» не дали. Вернулся в Саратов и три-четыре дня обивал разные пороги. Ходил к прокурору, к тюремному попу, в тюремную кантору. Наконец, кто-то (добрая душа!) сжалился над тоской и слезами старого отца и сообщил ему, что... сын его уже повешен.

«Этот старик, — заключает корреспондент, — уедет домой, в семью, в круг своих близких, знакомых, друзей... И от него, от множества таких стариков, от всех им близких — будут требовать любви к родине, уважения к ее учреждениям, патриотических чувств...»

Конечно...

Однако вернемся к нашему «бытовому материалу».

Контора, в которой смертным даются последние

свидания с родными, разделена на две неравные части деревянной перегородкой в половину человеческого роста. Смертный вводится за перегородку, дверца за ним закрывается, по обеим сторонам становятся надзиратели. Родственники, пришедшие на свидание, остаются на другой стороне перегородки.

Надзиратели равнодушно слушают разговоры. Человек ко всему привыкает, а они многих приводили уже к этой решетке и к виселице. Их дело смотреть, чтобы смертному не передали чего-нибудь, и главное, ножа или яду, и они смотрят равнодушно и бесстрастно. На человека свежего эти свидания производят неизгладимое впечатление, как все, в чем вопросы жизни и смерти стоят в такой осязательной близости. Нашему корреспонденту пришлось случайно быть в конторе во время последнего свидания с матерью того самого Я-ва, который так мужественно покончил с собой. Это было незадолго до самоубийства. Высокий, с болезненно желтым лицом и лихорадочно блестевшими глазами, стоял он у перегородки, за которой были две женщины. Одна, сгорбленная, закутанная в шаль, все время плакала и постоянно вытирала глаза концом шали. Другая не плакала; глаза у нее были воспаленные и сухие. Это была мать. Она не спускала глаз с сына, но слов для него у нее не находилось. Таких слов, которые бы тронули, смягчили, утешили, которые просто были бы у места.

— Ну, как же ты теперь? — все-таки спрашивала она тоскливо. — Как здоровье?..

— Что здоровье? Повесят скоро, — хрипло ответил сын и попробовал засмеяться. Но смех не вышел и резко оборвался. Опять молчание.

— Сны страшные видишь? — опять спрашивает старуха.

— Да, разное снится, — ответил он задумчиво и потом сказал легче и проще: — Там у меня поддевка осталась. Ее нужно бы продать...

Заговорили о поддевке, и оба обрадовались предмету, не имевшему прямого отношения к тому главному, что занимало обоих. Свидание скоро прекратилось.

Смертного надзиратели увели в башню, а мать ушла «на волю», которая ей была, вероятно, не лучше этой башни. Говорили, что она после казни сына сошла с ума.

«Когда родители приходят на свидание, — говорится в одном из писем, — то хочется все, все им передать. Но этого никак не могу сделать: ничего не выходит. Вот сейчас чувствую, что много наговорил бы им ласкательного, хорошего, успокоил бы их, но в конторе этого сделать не могу, потому что там рядом со мной стоят люди, противные мне. При них я не могу выговорить ни одного ласкового слова. Я чувствую, что надо сказать что-нибудь ласковое, хорошее, но язык не повинуется. Когда идешь на свидание, то думаешь сказать то, другое, но когда придешь, то как будто все позабудешь. Все из головы уйдет. Смотришь только на них и слушаешь, что они говорят, а сам ни слова».

«Жду приезда своих, — говорит другой приговоренный, — они прислали мне десять рублей, но я отдал их жене. Вот человек, слепо преданный и любящий! Мне положительно стыдно перед ней. Но сказать ей, втолковать, поднять до себя у меня нет возможности. А так тяжело! Говорим мы на разных языках».

Человек, написавший эти строки, приписывает это тяжкое отчуждение от близких людей разности умственных уровней. Но едва ли это верно. «На разных языках» говорят, по-видимому, все обреченные с теми, кто остается после них на этом свете. Человеческий язык не приспособлен для *таких* разговоров. Обычные понятия робко смолкают в сознании своей ненужности, неуместности, оскорбительности. Что, в самом деле, значит вопрос о здоровье для человека, которого скоро повесят... И сны ему, конечно, видятся всякие... Разговоров о будущем мире, о Боге и вечной жизни наш корреспондент тоже не приводит. Об этом, наряду с другими «формальностями», перед виселицей скажет ему тюремный священник, который за это получает казенное жалованье...

И, конечно, рад бы был получать его за что-нибудь другое...

«АВТОБИОГРАФИЯ»

Смертники пишут, если только есть возможность, довольно охотно. Это — один из способов скоротать страшные часы ожидания и, кроме того, оглянуться, обращаясь к сочувственному слушателю, на себя и свою уходящую жизнь. В случаях, когда рукой пишущего продолжает водить одушевление идей, за которую человек сознательно отдал свою жизнь, — такие письма отливаются в формы, изумляющие и трогаящие даже противников. Русская печать в последние годы нередко имела случай оглашать на своих столбцах такие обращения мертвых к живым, и эти голоса из-за могилы читались в самых глухих и прозаических закоулках жизни, заставляя забывать о противоречиях и несогласиях и напоминая только о душевной силе, побеждающей и освящающей ужас смерти.

В этих «бытовых» очерках мы имеем дело не с такими освещенными вершинами. Наш материал именно бытовой, обыденный, прозаический. Авторы не выдающиеся люди, письма их не согреты одушевлением какой-нибудь веры. Это скорее печальные сумерки мысли и гражданского сознания. Но и здесь условия, в которых рождаются эти предсмертные излияния обреченных людей, налагают на них печать серьезности, придают им особое печальное значение. Пишутся они без всякой задней мысли, как бог положит на душу, даже без надежды, что письмо проникнет дальше тесного круга родных или соседней тюремной камеры. Близость смерти делает людей искренними — и серьезными. Тому, что говорится в таких условиях, приходится верить.

В нашем распоряжении есть целая автобиография такого заурядного человека, приговоренного к смерти и теперь, вероятно, уже казненного. Мы приводим ее здесь целиком в том виде, как она списана нашим корреспондентом.

«Вы спрашиваете о детстве. Да, о нем я вспоминаю отчасти с хорошей стороны, отчасти с сожалением. Ро-

дился я и вырос в очень богатой аристократической семье. Все детство было сплошным удовольствием. Был окружен няньками, репетиторами. Зимой жил в городе, летом — в прекрасном имении. Имел ружье, лошадь, вообще все, что можно дать мальчику моего возраста. Потом началось учение. Учился в трех гимназиях, года полтора в кадетском корпусе на казенный счет, благодаря заслугам отца перед отечеством и престолом. Нигде не кончил и сделался в конце концов оболтусом. Мать по-своему любила меня. Отца я помню мало. Он через несколько лет после турецкой кампании скончался. Нас было четверо братьев и одна сестра. Должен вам сказать, что, несмотря на имеющиеся в нашей семье большие средства, ни один из братьев нигде не окончил. Вырастающая, каждый стал отделяться от семьи и кое-как устриваться. Один из братьев отравился лет восемнадцати от безнадежной любви. Другой женился девятнадцати лет на горбатой девушке, дочери крестьянина, чем, по мнению матери, осрамил всю фамилию. Служит он теперь обер-кондуктором на юго-западных железных дорогах. Третий женился на артистке провинциального театра и, сколько я помню, всегда был на полицейской службе. Теперь он где-то служит приставом или помощником полицмейстера. Помню я, что он был несколько раз под судом за растрату и дебоширство, но, благодаря протекции, всегда выходил сухим из воды. Четвертый — я, ваш покорнейший слуга, мерзавец порядочный, в особенности по отношению к женщинам. Был, впрочем, таковым только до ознакомления с политикой. Вот эта самая штука, «политика», захватила меня целиком. У меня явилась жажда к учению, и я, хотя и бестолково, начал читать все, что попадалось под руку. Не забудьте, что до этого ничего, кроме бульварных романов, не читал. В детстве у меня проявлялся, хотя бессознательно, какой-то вольный дух, из-за чего у меня выходили со своими крупные ссоры. Летом крестьянам разрешалось собирать в нашем лесу грибы, но только тем, которые за это выходили на работу. Таким выдавались билетки, а остальным не разрешалось. Не выходили на работу, по-видимому, потому, что было невыгодно. И

вот на таких-то и делались облавы, причем собранные грибы, конечно, отбирались. Меня это возмущало, и я отдавал грибы обратно, а с братьями по этому поводу вступал в драку. Как ни старались втолковать мне, я все-таки стоял на своем. Когда из-за этого произошла крупная ссора, я написал записку приблизительно такого содержания: «Когда будете читать эту записку, меня уже не будет в живых. Умираю потому, что не позволяют возвращать крестьянам грибы». Затем я взял револьвер, оставил эту записку на столе и ушел с сознанием, что ровно себе ничего не сделаю. Тут же за мной была погоня. Я не успел добежать до лесу и был пойман. Но с тех пор прекратились облавы на крестьян, и я торжествовал. Этот случай является одним из приятных воспоминаний. Старших — матери, теток и дядей — мы все, дети, избегали и старались поскорее скрыться из глаз, несмотря на то что я ни разу не был наказан ими. Нас выводили, как дрессированных щенят, к столу. Говорили мы заученные французские фразы, целовали руку матери, пили чай и удалялись. То же самое проделывали мы, когда были гости. От такого воспитания ничего хорошего для нас не получилось. Меня, да, вероятно, и других братьев, ничто не тянуло к родному углу. Мать и другие родственники, по-настоящему, чужие для меня люди, и у меня нет к ним любви. Если бы даже была у меня возможность поговорить по душе и приласкаться, то я отказался бы: не даст она мне той ласки, которая мне нужна, да и не займет она меня. Я с ними никогда не ссорился. Письма с поздравлениями писал аккуратно, так как знал, что это для них важно. Никогда я не обращался к ним с просьбами. Всегда им писал, что здоров, живу хорошо, хотя на самом деле мне и приходилось сидеть без еды дня по два и по три. Почему я не обращался, — не отдаю [себе] отчета. Я не сказал о сестре. Она кончила в Киеве гимназию, вышла замуж за доктора, но не по любви, а потому, что муж представлялся ей выгодной партией. С супругом, сыном и матерью она и теперь живет в N. Муж ее уже профессор, имеет громадные связи и безусловно мог бы сделать для меня очень многое. За два года тюремного заклю-

чения я ни разу не писал им. Не писал потому, что не знал их взглядов, и думаю, что их скомпрометирую. Теперь мне хотелось бы послать им письмо, но то, что хотелось бы написать, — нельзя, а писать так — не стоит. Да думаю, что на меня и на брата-кондуктора смотрят как на нравственных уродов. Но теперь ввиду смерти мне хотелось бы знать, пожелают ли они хлопотать за меня. Если да, — то я отложил бы свою смерть. Повторяю: одна мысль безотвязная мучает меня: умру ли тогда, когда захочу того сам...

Но я уклонился от рассказа о своей жизни. Лет пятнадцати-шестнадцати я, после долгих пререканий с матерью, добился согласия на отъезд, получил рублей триста денег и укатил в Одессу. Моя мечта была поступить на море. Через несколько месяцев я добился своего и поступил на пароход «Платон» Российского Общества и совершал поездки до Батума и обратно. Прослужил я в качестве ученика около двух лет, затем заболел, пролежал месяца четыре в больнице и потом вышел. Под руководством одной особы, довольно опытной, вскоре после этого занялся торговлей. Три года с лишком родные не знали, где я и что со мной. Я, наконец, написал. За мной приехала жена брата (которого из братьев, автор письма не сообщает) и уговорила уехать обратно. Возвратившись в Киев, я познакомился с институткой, очень хорошенькой, закрутил с ней любовь, и в результате — роды. Я хотел было жениться, но родные увезли ее и выдали замуж, как я это узнал потом...»¹

Так началась и так шла эта странная сумеречная жизнь в такой же странной сумеречной семье, выделяющей в одну сторону типичного полицейского-взяточника и преступника, пользующегося протекцией, чтобы избежать суда, в другую — кандидата на виселицу. Все здесь как будто на своем месте, все формально прилично: семья собирается за чайным столом, дети подходят к ручке и говорят заученные фразы. Но все так глубоко чужды друг другу, что даже в минуту смертельной опас-

¹ Здесь мы опускаем личное указание. — *Авт.*

ности, перед возможностью казни (и притом, как увидим, казни по ошибке) у человека, написавшего эту удивительную автобиографию, нет решимости пробить брешь в ужасающем семейном отчуждении. Здесь нет ни слова о взаимной любви, ни слова о религии, ни слова об общем Боге... Ниоткуда также не проникло еще сюда и отрицание религии или семьи. Ее никто не отрицал. Ее просто не было. В таком состоянии, уже взрослым, уже отцом, но все еще бродягой, не членом общества — автор встречается с «политикой».

«Политику», — говорит он, — я сначала считал простыми переговорами одного государства с другим, но к политическим преступникам питал вообще глубокое уважение и считал их чуть ли не сверхчеловеками...» Как могли явиться политические преступники при условии, что политика — только переговоры одного государства с другим, автор не объясняет, и это, конечно, тоже характерно для того умственного хаоса, в каком бродит гражданская мысль даже сравнительно «культурного» русского человека. Совершенно понятно, что разобратся в многообразном брожении политических идей при таких условиях нет никакой возможности. «Политика» тут обращается в простое «отрицание существующего строя», и беззащитный ум влечется туда, где это отрицание последовательнее и проще.

«В первый раз, — пишет автор, — я был арестован в Киеве, когда жандармский ротмистр изнасиловал в петербургской крепости политическую, кажется, И-ую¹. Студенты в Киеве решили отслужить по сгубленной панихиду, но им было в этом отказано. Студенты все-таки собрались, человек триста. Был тут и я. Нас всех пере-

¹ Автор имеет, очевидно, в виду громкую и памятную историю в девяностых годах, когда молодая девушка, курсистка, заключенная в крепости, облила себя керосином и зажгла на себе платье. В городе много говорили о причинах этой смерти, и во всяком правовом государстве невозможно было бы оставить мрачную загадку без всестороннего освещения. Самодержавное правительство того времени предпочло заглушить ее, сделав таким образом тайну какого-то служебного преступления своим общегосударственным делом. Волнения молодежи по этому поводу обошли все высшие заведения России. Фамилия покойной девушки была, если не ошибаюсь, Ветрова. — *Авт.*

писали, но тут же и выпустили. Мы собрались вновь, опять были переписаны и посажены по тюрьмам. Через четыре месяца выслали на один год из Киева».

После этого молодой человек поступил счетоводом на Юго-Западную железную дорогу, где его дядя служил инженером. Устроился сносно, но местность была лихорадочная, и он заболел. Пришлось уехать в Самару, где ему удалось поступить конторщиком на железную дорогу. Конторщик он был, вероятно, самый обыкновенный, и едва ли за ним последовала даже репутация неблагонадежного. Таких маленьких «протестов» тогда было очень много. Но если бы вскрыть в это время душу этого обыкновенного самарского конторщика, то в ней можно было бы обнаружить представление о государстве как об учреждении, под покровом которого совершаются гнусные насилия в глухих казематах над беззащитными девушками. Оно покрывает эти насилия и наказывает за выражение негодования. С такой психологической подготовкой он знакомится в Самаре с фельдшерицами-ученицами, к которым ходили неблагонадежные лица. «Тут-то я и стал познавать всю премудрость».

Какую именно «премудрость», автор не объясняет, считая это понятным...

«Вот моя жизнь, — так заканчивает он свое жизнеописание. — За что я иду на виселицу? Скоро наступит смерть, и я даю вам слово, что не только в этой, но и ни в какой экспроприации я никогда не участвовал. Да, вероятно, я и не способен убить кого бы то ни было. По натуре я очень мягок и добр до идиотства, так что буквально не способен на такие дела. В этом же деле, за которое меня приговорили к смерти, я виноват только в том, что не донес. Да я и не знал точно, как они хотят обработать это дело. Да если бы и знал, то мои убеждения не позволили бы мне сделать донос. На суде мне пришлось удивиться существованию мелких улик против меня. Теперь я говорю вполне искренне: в данном случае простое совпадение. *Ну, да черт с ними! Не хочется об этом и толковать.* Добавляю, впрочем, интересный факт: суд признал меня виновным только в подстрекательстве и все-таки дал мне виселицу...»

Если припомнить, что это письмо из одного казема-та в другой, в расчете на тайную передачу помимо начальства, что это простая исповедь приговоренного перед временным товарищем по тюрьме, — то страшная правдивость его станет вне всяких сомнений. В одном из цитированных выше писем мы видели, как приговоренный к смертной казни обругал суд не за себя (себя он признавал виновным в том, что ему приписывали), а за то, что вместе с ним был приговорен невинный... Очень вероятно, что этот протест вызван приговором именно над этим юношей.

Теперь, — когда из тюремных камер эта автобиография выбралась на волю, — вопрос об этой жизни давно, конечно, решен. Как? Этого мы сказать не можем. Более чем вероятно, что «правосудие сделало свое дело». И того, кто писал эти строки, и другого, который один только, звеня кандалами, по-своему за него заступился (за что вдобавок к смертной казни попал еще в карцер), — уже, надо думать, нет на свете. Сумеречная жизнь закончилась среди сумеречного правосудия, не дающего себе труда отличить виновных от невинных. Едва ли последние минуты этой жизни осветились вспышкой какой-нибудь веры. «Черт с ними!» — такова формула, которую, уходя, он кинул на прощание...

Но те, кто его судили, вели на казнь и напутствовали к предсмертными поучениями, как будто во что-то верят сами и требуют веры от других. Думают ли они о том, какой ужасный иск этот сумеречный и неверующий юноша мог бы представить против «существующего строя» в той признаваемой ими инстанции, которая должна быть выше всякого земного суда?

VII

ЭКСПРОПРИАТОРЫ

В сентябре 1909 года в Киевском окружном суде (с присяжными заседателями) разбиралось дело эстонского журналиста Экарта (Энделя) Хорна. Ранее он был приговорен к каторжным работам за политическое пре-

ступление, совершенное в Прибалтийском крае, где, как известно, революционное движение было особенно интенсивно и местами действительно принимало характер массовой борьбы. В киевской лукьяновской тюрьме, где он отбывал наказание, в соседней с ним камере содержалась «смертница», Матрена Присяжнюк, бывшая сельская учительница. В августе 1908 года она была приговорена Киевским военно-окружным судом к смертной казни. Двенадцатого сентября приговор был утвержден, но исполнение почему-то затянулось. Перед казнью Матрену Присяжнюк перевели в камеру рядом с Хорном. Он слышал ее шаги и звон кандалов. Ночью светила луна. Через стену было слышно, как приговоренная, звеня кандалами, подошла к своему окну. Два товарища, осужденные вместе с нею, уже раздобылись ядом. Хорн вскрыл замазанное глиной отверстие в стенке и передал девушке цианистый калий в носке чайника. Она приняла яд, и Хорн до конца разговаривал с нею, утешал ее. В письмах к невесте, сидевшей в той же тюрьме, он описал последние минуты Матрены Присяжнюк (кружковая кличка ее была Рая). Письмо странно и не вполне связно. Видно, что писал человек, потрясенный до глубины души. О себе он иной раз говорит в женском роде, о своей невесте и Рае — в мужском.

«Я ждал вечера. Какой это был длинный, мучительный день... Когда все у нас ложились спать, я открыл ножиком замазанное глиной отверстие... Через несколько минут я увидел свет из ее камеры... Открывается отверстие, и она называет меня по имени. О боже! Я должен был передать ей... Я чувствовал, как она сняла с палочки мое послание... Затем передал ей два письма. Все время с жадностью смотрел я в отверстие. Она читала.

В это время спрашивает Степа из каземата, чтобы спросить у Раи, когда она думает принять, чтобы уйти вместе... Какая любовь! Они любили ее... Звон кандалов. Значит, прочитала...» «Милый, я долго говорил с нею, я дополнил словами письмецо. Наконец, я просил ее немного отступить от отверстия, чтобы я мог ее увидеть.

И я увидел ее красивое, чистое личико. Какой я был счастливеец! Она смотрела на меня и смеялась тихо, тихо... «Эндель, ты слышишь, я смеюсь?» — «Да, Раичка, слышу... Что с тобою?..» — «Мне смешно, что мы здесь увидимся, что мы сумеем еще говорить»... Затем она спросила, что с тобою? Где Анатолий, где «земляк»?.. «Передай моей Надюшке мои приветы и поцелуи». Здесь она уходит. Через некоторое время опять подходит. Степа спрашивает: «Когда?» «Сегодня, после смены, — ответила она. — Действует ли калий?» — «Да, дорогая. Больше ничего не могу тебе дать!» Здесь я страшно волновался. Передать из рук в руки другу, которую так любишь, смерть, когда так хочется жить. Это ужасно... «Не волнуйся, Эндель», — ответила она. Я молчал, а она говорила что-то. Наконец, она спрашивает, каким образом принять. — «Разотри в порошок. Можно немного воды. «Хорошо, я возьму так». Она ушла.

После смены стук в стенку, — я подошел. «Сейчас приму, Эндель, я без воды. Что парни?» — спрашивает она. «Кажется, уже». — «Прощай». — «Прощай, дорогая». — Я слышал шорох платья, звон кандалов. Затем тишина. «Раичка, приняла?» — «Уже, прощай». — «Прощай, дорогая...» Несколько секунд была глубокая тишина. Затем она сильно задышала. Вздохи... Опять слабое дыхание... наконец, сильные вздохи... тишина. Тише, человек умер... не стало дорогой Раички. Тише, человек умер, но жизнь идет своим чередом... «Я говорил с нею, я слышал все, был с нею до последней минуты. Все это навсегда запечатлелось в моей душе... Нет Раи, говорите вы... неправда! Я говорю, — она есть и теперь со мною, со всеми нами, которые любили ее. Мы будем жить ею. Через некоторое время послышались стуки в стенку, но отвечать было незачем. То пришли тюремщики».

Это письмо попало из тюрьмы на волю, ходило по рукам и, спустя полгода, было взято при обыске у некоего Кинсбургского. Оно послужило основанием для возбуждения против Хорна нового дела «о пособниче-

стве самоубийству», которое разбиралось 10 сентября 1909 года Киевским окружным судом. Почему оно было направлено в порядке общей подсудности, с присяжными и даже при открытых дверях, — сказать трудно. Если правительство рассчитывало показать обществу «чудовищ», которых военные суды келейно приговаривают к смертной казни, то расчет оказался ошибочным. «Медленно и страшно, — говорит автор судебного отчета, — приподнялась завеса над одним из ужасов жизни. Наступающие сумерки, сухое и отчетливое чтение письма среди мертвой тишины производило глубокое впечатление». В коротком последнем слове Хорн, признавая факт, отрицал вину. «Она приговорена была к смертной казни, приговор был утвержден, и я помог дорогому товарищу освободиться от нее. Я ничего безнравственного не совершил». Дальше он не мог говорить от волнения и сел... Присяжные удалились в совещательную комнату только на одну минуту. Приговор был *оправдательный*.

В значении его едва ли можно ошибиться. Присяжные — это люди из того самого общества, которое правительство защищает от экспроприаторских налетов посредством военных судов и смертных казней. Хорн — революционер, анархист, стоявший очень близко к экспроприаторским кругам... И тем не менее во всем эпизоде нет ни одной черты, которая бы говорила о «кровавой свирепости» или «глубокой испорченности», невольно возникающих в воображении в связи с таким отвратительным явлением, как экспроприация, вдобавок еще частная. Для присяжных она осталась в тумане. Перед ними и перед обществом встал только образ интеллигентной девушки довольно распространенного в России типа, с знакомой издавна психологией прямолинейной готовности на борьбу и жертву. А обстановка этой смерти дала картину такого нечеловеческого страдания и атмосферу такого взаимного сочувствия, что присяжные, как мы видели, даже не колебались. Их приговор явился непосредственным откликом общественной совести. Несомненно, что Хорн помог жертве

правосудия ускользнуть от виселицы. Он содействовал самоубийству... Да, но для того, чтобы устранить казнь. И присяжные, люди среднего русского типа, сказали: *не виновен*. Не знаю, конечно, вспоминали ли они знаменательное признание гр. Витте относительно «отсталого строя». Можно думать, что и без гр. Витте у среднего русского человека, поставляющего контингент присяжных заседателей, есть представление о связи явлений, которая в последнее время становится особенно ясной. И если даже в миазмах экспроприаторской эпидемии перед удивленным взглядом такого среднего русского обывателя встают черты душевной красоты и чувствуется психология самоотвержения, — то тут есть повод задуматься о причинах этого угара... Общественная совесть не мирится, конечно, с экспроприациями. Но она не может примириться и с прямолинейным решением трудного вопроса посредством нерассуждающей «упрощенной» процедуры, в конце которой — веревка и виселица...

Временная связь между экспроприациями и традициями политических партий, проявленная в бурном периоде движения, не могла удержаться долго. Она была вызвана неверной оценкой данного момента. По существу, как длительная тактика борьбы, она противна психологии революционных партий. Антагонизм проявился сразу и с тех пор только усиливался. Случайные идейно-революционные элементы уходили из отравляющей душу полосы, экспроприация все больше приближалась к простому разбою, иногда в самых отвратительных и жестоких формах. Но для правительства и для вульгарной «благонамеренности» вообще выгодно смешивать эти явления. Репрессии против *всех* оппозиционных партий оправдываются существованием экспроприации. Борьба мнений, партийное самоопределение, партийные споры и сталкивающиеся внутри оппозиций программы составляют в глазах всякого политически просвещенного правительства элемент *социальной рефлексии*, которая уже сама по себе ослабляет дикую страстность борьбы, обращая ее от непосредственных

импульсов в сферу мысли, колебаний, сомнений, изучений. Свобода мнений выставляет самые крайние из них под свежие веяния критики. Наша власть продолжает считать своим успехом и признаком своей силы то обстоятельство, что ей удалось загнать работу оппозиционной мысли и воли в душные подполья, оставив на поверхности жизни одно только властное предписание, один только голос «организованного беспорядка» и стихийную анархию об руку с разбоем...

В этом правительство достигло значительных внешних успехов. Одного только оно устранить не в силах, это — общего, можно сказать, всенародного сознания, что *так дальше жить нельзя*. Сознание это властно царит над современной психологией. А так как самостоятельные попытки творческой мысли и деятельной борьбы общества за лучшее будущее всюду подавлены, то остается непоколебленным одно это голое отрицание. А это и есть психология анархии. Ни уважения к «отсталому строю», раз уже признавшему всенародно свою несостоятельность, ни самоуважения, как к членам организующегося по-новому общества... «Вы говорите о каких-то возможных еще приемах легальной или хоть не вполне легальной партийной борьбы. Где они? Вот. Только *эти люди* еще борются *при всяких условиях*. Итак, долой социальную рефлекссию, долой всякую организацию, всякие положительные программы и принципы. Мы принимаем только ясное, простое, очевидное: неорганизованное, не связанное никакими ограничениями выступление анархической личности. Насилие индивидуальное — на насилие легализованное, тайное убийство — против казни по упрощенному суду или совсем без суда, грабеж — против разорения «административным порядком», личная кровавая месть — против истязаний в участковом застенке, партизанская анархия — против того, что цензор Никитенко назвал так метко «организованным беспорядком». Общий фон — глубочайшее презрение уже не только к одной стороне жизни, а ко всей жизни: к правительству, к обществу, к себе и к другим. Мы видели, как один из

смертников прощался со всем этим краткой формулой: черт с ними.

Этому процессу нельзя отказать в последовательности. Он последователен, как любая болезнь в организме, пораженном маразмом застоя, как воспаление там, где есть невынутая заноза, как заражение крови...

Среди материалов, сообщенных нашим корреспондентом, есть одно письмо, поразительное по цельности и интенсивности стихийно анархистского настроя.

«Вы спрашиваете, к чему я стремился? И действительно, — к чему? Я не могу объяснить. Я не нахожу тех слов, которыми мог бы все это объяснить. Но я вижу и чувствую, что *не то в жизни, что должно бы быть*¹. А как должно быть по-настоящему, я не знаю, или, пожалуй, знаю, но не умею рассказать. Когда я был на воле, то наблюдал, что *люди делают не то, что нужно делать*, а совсем другое. Несколько лет назад и я сделал не то, что нужно, а потом махнул рукой на всех и стал делать то, что хочу и что мне нравится».

Себя он характеризует с беспощадной откровенностью:

«Я страшный эгоист и любил только себя во всю свою жизнь. Я одно ясно сознавал: я живу, а раз живу, то для этого нужны деньги (!). Своих денег у меня не было, и я брал, где только они есть. Я не знаю, — быть может, это и худо, но я ни на кого не смотрел. Мне нет дела до людей, какого они мнения о моих поступках. Ты и сам знаешь, что я не буду подставлять свою жизнь, а скорее сам отниму. Я всегда старался угнетать слабых и брать у них все, что мне надо. Если бы понадобилась их жизнь, я отобрал бы ее, но в жизни других я не нуждался. Ты не думай, что под слабыми я разумею бедных людей. Нет. *У нас и богач слабое существо. Я на воле был сильнее богача, но теперь я слаб*, у меня отняли все, что я имел, и *мне остается умереть*».

Правда, среди всего материала, которым я располагаю в настоящее время, это письмо является единствен-

¹ Курсивы всюду мои. — Авт.

ным по своему безнадежно мрачному, беспросветному цинизму. Другие только в большей или меньшей степени к нему примыкают. В них это настроение смягчается по большей части проблесками признания где-то существующей, но недоступной правды и глубокой, за душу хватающей печалью о погибающей жизни.

«Придется умереть, — пишет восемнадцатилетний юноша. — А как хочется жить, если бы ты понял! Страшная жажда жизни. Подумай: мне ведь только восемнадцать лет. *А как я прожил эти восемнадцать лет? Разве это была жизнь?* Это были сплошные страдания. Ведь у нас семейство семь душ. Работник почти один брат. Я еще какой работник! Обо мне и говорить нечего: много ли я мог заработать? *Плохо было жить. Так я жизни и не видел*».

«Жизнь прошла бледной, как в тумане, — пишет другой смертник. — Является чувство жалости к прожитому. Почему я был так темен и не знал другой жизни? Почему я не учился?.. Жалеешь, почему так поздно узнал то, что узнал теперь. Почему жизнь была так пуста? Что меня занимало? Какая-то ерунда, за которую теперь стыдно».

«Впрочем, — заканчивает он безнадежно, — успокаивает мысль, что рано или поздно, но не избежать бы мне этого. Если бы и выбрался я на волю, то пришлось бы жить нелегально. Это легко только тому, кто не испытал этого. Пришлось бы заниматься тем же. Значит, и опять явился бы кандидатом на виселицу».

«Все хорошее, — пишет третий, — заслонялось дурным, *и я видел только зло во всю свою хотя и короткую жизнь*. Видел, как другие мучаются, и сам с ними мучился. При таких обстоятельствах и при такой жизни *можно ли любить что-нибудь, хотя бы и хорошее?* Прежде я работал на заводе, и мне это нравилось. Потом я понял, что работаю на богача, и бросил работу. С вооруженного восстания стал грабить с такими же товарищами, как я».

«Да и стоит ли выходить на волю? — спрашивает четвертый. — Нашел ли бы я там людей, с которыми

стоило бы жить? *Я знаю, что где-нибудь есть хорошие, честные люди, но я их не найду, а сойду с какими-нибудь негодями. Пожалуй, и не стоит выходить на волю и жить так, как я жил раньше. Лучше уже умереть, чем сплошная мука*».

Порой встречаются попытки реабилитации и оправдания экспроприаторской «деятельности». «Я напишу вам о том, что меня мучает в данную минуту, — пишет один из экспроприаторов-смертников политическому заключенному. — Я знаю, что большинство людей считают меня, как и других экспроприаторов, простым вором. Но я не для себя грабил, а помогал тому, у кого ничего не было. Об этом знают многие. Я делал это не от лица какой-нибудь партии, а от себя лично, и мне так обидно, когда обо мне говорят так. Когда я прежде сидел в общей камере с уголовными, то все говорили, что экспроприаторы грабят только для себя. Я спрашиваю вас: неужели те, которые сидят с вами в одной камере (речь, очевидно, идет о политических), думают так же, как уголовные? Я говорил прежде уголовным, что есть люди, которые берут не для себя, а для других. Лично о себе я ничего не говорил, но мне всегда было так горько при таких отзывах об экспроприаторах».

Но общий уровень экспроприаторской среды падает гораздо ниже и этих наивных попыток своеобразной идеологии. «Я грабил с такими же экспроприаторами, как и я, — печально признается еще один автор, — но и тут подлость: товарищ у товарища ворует. Я участвовал во многих грабежах, но редко проходило без подлости. Разве это не обидно? Ведь свой у своего берет? *А снаружи все хорошие люди. И как жить после этого?*»

Читатель, вероятно, заметил горькую, хотя, может быть, и несознательную иронию этих заключительных слов. О том, чтобы найти правду в обычных условиях общества, этот погибающий юноша уже и не говорит. Остались еще, по-видимому, немногие хорошие люди. Это экспроприаторы, которые одни дерзают активно восставать против торжествующей несправедливости. Но и они хороши только «снаружи», по своему, так

сказать, «почетному званию». Как жить после того, когда даже среди них настоящей правды не оказывается!..

VIII

«ПРИГОВОР УТВЕРЖДЕН»

Этим исчерпывается автобиографический, так сказать, материал, доставленный самими смертниками нашему корреспонденту.

Эти интимнейшие, откровенные и совершенно бескорыстные признания-исповеди разными способами, но почти всегда неофициально пробирались из камеры смертников в другие тюремные камеры к людям, которые не имели ни малейшей возможности повлиять на участь приговоренных. В каждой строчке звучит поэтому одна предсмертная правда. Многие авторы писем откровенно говорят о том, что для них при данных условиях нет уже никакого исхода, и сомневаются, стоит ли им даже мечтать о жизни. И тем не менее только в одном (первом) письме можно, пожалуй, увидеть признаки настоящего цинизма и нераскаянности. Во всех остальных сквозит горькое раздумье и тоска по какой-то другой жизни, по какой-то труднодоступной правде. Можно ли, положи руку на сердце, сказать, что для тех, кто писал эти исповеди, не может быть места среди людей и что рука, утверждавшая эти приговоры, удаляла из жизни извергов, недоступных ни раскаянию, ни исправлению?

А ведь все это писано по большей части профессиональными экспроприаторами, дышавшими разедающей атмосферой вульгарно-анархической психологии. Таково ли, однако, большинство жертв военной юстиции? Экспроприаторство — это эпидемия. Нередко она захватывает людей просто среднего типа, не думавших за месяц до преступления, что они могут в нем участвовать, и просыпающихся от закрутившего их вихря, точно после тяжелого сна. В газетах появлялись не раз письма смертников к родным, ярко выражавшие это

пробуждение от кошмара, проникнутые страстным чувством раскаяния. Вот несколько примеров.

Некто Карамышев служил в экономии Орлова-Давыдова, в Аткарском уезде, Саратовской губернии. Был обыкновенный служащий, нажил на службе увечье и должен был получить за это увечье деньги. Но в промежутке принял участие в нападении на купца, причем никому никаких ран причинено не было. Самый обыкновенный грабеж, окрашенный современным колоритом «экспроприации». Тем не менее он был приговорен к смертной казни. Вот его предсмертное письмо к родителям:

«Дорогие мои родители, папаша и мамаша, и сестрица Феня! Пишу я свое любезнейшее письмо к вам со слезами на глазах; извещаю я вас в том, что я присужден к смертной казни через повешение. То прошу, дорогие мои родители, простите меня и все мои преступления перед вами. Перед смертью я исповедовался и причастился, отклонить этого я не мог.

Прощай, родной ты мой отец, прощай, родная моя мать, прощай, сестрица моя родная, прощайте все мои братья и любезные мои друзья; вы больше меня не увидите, до гроба будете вспоминать. Прошу, дорогие мои родители, отслужите панихиду по мне. Ах, как трудно такой смертью помирать. Сообщите брату моему Ване, что меня уже нет на свете. Дорогие мои папаша и мамаша! Когда писал это письмо, у меня сердце кровью обливалось, слезы катились с моих глаз и капали прямо на стол. Передайте моей жене, чтобы и она отслужила панихиду. Жена моя и братья мои навещали до самой смерти моей. Прошу еще, скажите моим дядям и теткам и также крестной и бабушке, что я уже помер. Передайте смертный мой поклон Федору, Петру, Василию, Мише и всем моим знакомым. Еще прошу, напишите в Баку тетке и брату Василию о том, что меня нет в живых. Папаша и мамаша, если вы получите деньги за увечье, то прошу вас сердечно построить на эти деньги хороший дом, и меня не забывайте. Папаша и мамаша! Не плачьте обо мне, так как у вас осталось еще четыре сына;

довольно вам и этих, без меня обойдетесь. Ну, дорогие мои родители, прощайте же еще раз. Прощай, мое село родное, где я родился и провел свою молодость. Прощай, все общество мое. *Простите меня, злодея окаянно-го.* Бог, может быть, не оставит меня и простит грехи мои все.

Письмо это я писал перед смертью, рука дрожала, сердце билось. Извините, что так плохо написал, тороплюсь. Прощайте, прощайте. Нет уже меня. Еще раз прощай, жена моя родная, милая моя. Прощайте. Некогда. Меня ждут. Любящий сын ваш Василий Максимов Карамышев».

Читатель видит, что здесь нет и намека на характерную психологию экспроприаторов-анархистов, нет также и тени какой бы то ни было оторванности от среды и ее отрицания. Эта расстающаяся с миром душа — душа крестьянина, крепко связанная с семьей, с обществом, со своим миром.

За экспроприацию в Балашовском уезде Саратовской губернии был приговорен к смертной казни Шуримов. Его отец, слепой старик, проживающий в Цимлянской станице (области Войска Донского), получил от него следующее письмо:

«Здравствуй, дорогой папа! Шлю тебе свой последний прощальный привет и желаю много... много... счастья. Прости, дорогой, что я так долго тебе не писал. Ты подумаешь, что я вконец забыл тебя. О милый папа, не обвиняй меня так жестоко. Все это время нашей разлуки с тобой было сплошное мученье для меня. Я только тем и жил, что думал, *настанет время, когда я навсегда со-единюсь с тобой, когда я буду в силах преклонить твою седую голову к себе на грудь и залечить душевные раны, что нанес твоему бедному, истерзанному сердцу.* Но это время не настало, мечты мои разлетелись, и осталась горькая действительность. Я с 29 мая 1908 года сижу в тюрьме. Двадцать третьего января я был на суде и приговорен к смертной казни. Приговор послан на утверждение командующему войсками, но надежды мало, чтобы смерть заменили каторгой. Мне осталось жить

дней тридцать. Если можешь, дорогой папа, то приезжай, тебя допустят увидеть меня. Теперь я сижу на имя Шуримова. Напиши письмо матери и скажи ей, что последняя моя просьба, чтобы она не покидала тебя и успокоила бы твою бедную голову. Поцелуй Пашу и Мишу. Всем родным поклон. Прощай, папа!»

Как и ожидал присужденный, приговор был приведен в исполнение.

Еще более яркие, по покаянному настроению, письма написал восемнадцатилетний юноша, Евгений Маврофриди, приговоренный к смерти военно-окружным судом в Новочеркасске в декабре 1908 года.

«Здравствуйте, дорогая мамочка.

Я, по воле Всевышнего, еще жив, но в будущем не знаю, что со мной будет, приведут ли в исполнение приговор или же нет, но я, дорогая мамочка, чувствую, что я живу последние дни, а может быть, даже и часы, вот уже десятки сутки ожидаю смерти и ночью не сплю и прислушиваюсь, как заяц, к каждому шороху, и как только проходит мимо какой-нибудь надзиратель, так мне все кажется, что это за мною, то есть мне кажется, что легче будет умирать на виселице, нежели ожидать вот так каждую минуту то, что откроется дверь и скажут: выходи! Но, дорогая мамочка, на все его святая воля, я надеюсь на него. Он сам страдал, но он страдал за наши грехи, то есть за грехи всего народа, а я страдаю за то, что не слушал вас, дорогая мамочка, и не молился ему, который умер за наши грехи. Да, дорогая мамочка, грешен я перед Богом и перед вами. Каюсь, ну что, теперь, мне кажется, уже поздно, да, дорогая мамочка, слушался бы я вас, молился бы почаще Богу, ничего бы подобного не было; а то я послушал совета товарищей и оставил службу в банке, не бросил бы я служить, не сидел бы я теперь и не ждал бы каждый час смерти, а ожидал бы, как каждый христианин, среди вас, дорогие мои, праздника Рождества Христова, ну, на все воля Всевышнего. Суждено мне умереть, я умру, если нет — значит, буду жить.

Дорогая мамочка. Смотрите лучше за Колей, вра-

зумляйте его, пусть он молится Богу за всех вас, а также пускай помолится за своего грешного брата, может, Бог услышит его, а обо мне, дорогая мамочка, забудьте, я недостойн, чтобы из-за меня мучились люди, а тем паче вы, дорогая мамочка, а также Маруся, она вас слушалась, и училась, и молилась за своего грешного брата Богу. Мамочка, смотрите за ними, то есть за Колей и Марусей. Скажите им, чтобы они вас слушали, а не *подруг и товарищей*.

Дорогая бабушка, я знаю, что я вам приношу много горя, так как я горячо вами любим, но вы, дорогая, не обижайтесь на меня, а помолитесь лучше за меня Богу. Да, дорогая бабушка, тяжело умирать в таких летах, как я, ведь мне только восемнадцать лет, и я должен умирать, ну, раз так хочет Бог, то пусть так и будет. Если Господь нас, то есть меня с вами со всеми, дорогие мои, разделяет здесь на земле, то он нас соединит там, где дорогой мой папа, да, бабушка? Я иду до папы. Вы успокойте мамочку, скажите ей, что у нее есть еще Коля и Маруся; я молю Бога, чтобы она нашла в них себе утешение.

Ну, покамест до свидания, а может быть, прощайте, это Бог знает. Целую вас всех крепко, поцелуйте за меня тетю Шуру, Колю, Марусю и всех остальных. Евгений Маврофриди».

В том же тоне написано и письмо к брату, тому самому Коле, о котором этот юноша несколько раз упоминает в предыдущих письмах. Он просит его не оставить мать и сестру: «...у них одна надежда на тебя. Оправдай все это, береги их, выучи ты Марусю, чтобы из нее вышла порядочная барышня, а не какая-нибудь потаскуха... Не оставляй службы, служи, терпи и боже тебя сохрани послушать совета товарища без совета матери... Дорогой Коля, если мне придется умирать, то я оставлю свой крестик золотой на серебряной цепочке, ты его получишь в тюремной конторе, надень его и носи до конца своей жизни, я тебя прошу ради Бога, это будет благословение твоего грешного брата».

В Таганрог, где жили родные Маврофриди, письма

пришли с прокурорской пометкой: писаны они 18 декабря. Мы не знаем, что предпринимала несчастная мать, но приговор был утвержден, и 29 декабря 1908 года *восемнадцатилетний* Маврофриди казнен.

И сколько таких матерей, и сколько отцов, и братьев, и сестер, и бабушек получали в последние годы такие письма. Сколько тут еще косвенного, непоправимого и незабываемого страдания людей уже совершенно невинных. Слепой старик Шуримов, получивший в Цимлянской станице от своего сына цитированное выше письмо, захотел исполнить его просьбу и отправился в Саратов, чтобы получить прощальное свидание. В первой статье я уже рассказывал об его «хождениях по этому делу». Чтобы добиться простой справки — жив ли еще его сын, или его уже казнили, — ему пришлось путешествовать из Саратова в Казань, и только по возвращении оттуда «справку», наконец, дали: сын уже повешен. Что теперь с этим слепым стариком? Жив ли он, или не выдержал тяжкого удара и последовал за сыном? Мы не знаем. Это знают, вероятно, в Цимлянской станице. «Были случаи, — говорит сотрудник «Нашей газеты», описавший мытарства Шуримова-отца, — покушения на самоубийство лиц, близких к казненным: люди не выдерживали ужаса такой потери. Во всех таких случаях общество, несомненно, казнит невинного вместе с виновным».

А вот еще бытовая картинка в современном вкусе, которую господин А. П. нарисовал с натуры в газете «Речь». Автору случилось 3—4 января 1909 года ехать с вечерним поездом из Ставрополя Кавказского. Ехали, как обыкновенно ездят в вагонах третьего класса, и разговоры шли обычные. На первой остановке в то отделение, где помешался автор, вошел мужчина в опрятном костюме, который на Кавказе носит название «хохлацкого» и всегда выдает переселенцев из малорусских губерний. Ничего особенного на первый взгляд в этом переселенце никто из пассажиров не заметил. Фигура тоже бытовая, обычная, и ее тотчас же, по обыкновению, приобщили к обычному вагонному разговору: кто?

откуда? куда? по какому делу? торговля? покупка или продажа хлеба, скота, яиц или масла?

Оказалось, что едет он в Таврию и дела у него не торговые... А какие?

— Да так... несчастье маленькое вышло...

Что ж. И это дело обычное. «Со всяким человеком случаются несчастья». «Без этого невозможно. Дело житейское».

— Болен кто-нибудь?..

— Никто и не болен... *Сына повесили.*

Всех поразил спокойный, по-видимому, тон этого ответа. Известие было неожиданное и не совсем обычное. К такому «бытовому явлению» даже наша российская публика еще не совсем притерпелась, как к обычному предмету вагонного разговора... Кое-кто, может быть, сразу и не поверил. Но «спокойный» незнакомец вынул из кармана «документы», и господин А. П. прочитал их. Документов этих было два. Первый гласил:

«Здравствуйте, дорогие родители, дорогие папа и мама и дорогие братья и сестры. Я в настоящее время сижу в одиночке в последнюю минуту повели меня. Нас на казнь пять человек Котеля, Воскоб[ойникова], Лавренова и Киценка. Вы хорошо знаете кажется кто был я и умру не первый и не последний. Привели меня в темную так называемую одиночку так что я писать не вижу, ни буквы ни линеек, которые находятся на этой бумаге. Дорогие папочка и мамочка и дорогие братики и сестрички читай[те] это письмо, но прошу не плачьте и [не] тратьте своего здоровья и сил и так слабы прошу не плачьте. А гордитесь своим сыном я умираю гордо и смело смотрю смерт[и] в глаза я нисколько не боюсь ее я очень рад что кончено мое мученье меня судили 29 октября, а 22 ноября ночью приблизительно часов у 12 или в час я очень весел, этим я горжусь, что умер не трусом. Это последнее прощальное письмо. Целую вас папу, маму, васю, ваню, катю, маню, варю. Прощайте, прощайте Коля Котель».

Другой документ было письмо защитника в чисто деловом тоне.

«Милостивый государь. Сын ваш был осужден судом к смертной казни, *причем суд постановил ходатайствовать перед Каульбарсом* о замене смертной казни каторгой. Сегодня в тюрьме случайно узнал о том, что *Каульбарс не уважил просьбы*, и смертный приговор приведен вчера в исполнение. Присяжный поверенный В. Гальков».

Читатель легко представит себе «вагон третьего класса» после оглашения этих документов. Поезд несется по русской равнине, гроыхая и лязгая цепями, светя в темноту ночи своими окнами. В одном вагоне третьего класса все притихло. Кто не спит, слушает чтение документов и (теперь уже не совсем спокойные) речи «переселенца» в хохлацком костюме.

— Лучше бы меня повесили, — так передает господин А. П. общее содержание этих речей, — чем его, молодого, в расцвете сил. Добрый был. Ласковый. Никому зла не сделал. Ну, хоть бы в каторгу послали, все-таки был бы жив... Растили... радовались... Мать пропадает от горя, у меня точно сердце из груди вынули... Пусто...

В публике слушают, качают головами. «Бытовое явление» повернулось необычной стороной: перед глазами этих людей уже не экспроприатор и не революционер, а отец, такой же, как и все эти отцы, у которых тоже есть дети. И они тоже разошлись по белому свету в учение, на заработки, на службу... Кто их знает? Из семьи тоже уходили добрые, любящие, ласковые. Писали письма: «Дорогая мамочка и папочка. Посылаю я вам с любовью низкий поклон...» И вдруг вот так же внезапно напишут: «Сижу в одиночке. Через полчаса повесят». А защитник прибавит: «Суд ходатайствовал, но Каульбарс не уважил». И мать станет пропадать от горя, у отца вынут сердце. За что? Они ли виноваты, что всюду вне их семьи свирепствует эпидемия «волнений и расстройств», вызванная, между прочим, и тем, что современный строй уже «не удовлетворяет стремлениям общества к правовому порядку...» Почему же за это так тяжело приходится расплачиваться матерям и

отцам? Разве «отстала» одна только семья, а не государство?..

И почему генерал Каульбарс казнил Колю Котеля, когда даже суд перед ним ходатайствовал о смягчении его участи? Кто этот генерал, такой строгий и непреклонный? Кто-нибудь даже и в вагоне третьего класса, пожалуй, знает кое-что про этого доблестного генерала. О нем много писали и продолжают писать. Например, генерал-адъютант А. Н. Куропаткин, останавливаясь на причинах наших неудач в минувшую войну, говорит: *«Указать хоть на то, что командующий второй армией генерал Каульбарс не исполнил приказаний главнокомандующего, чем много способствовал японцам в обходном движении»*. Получив войска и приказание наступать, *он отступал*; вместо того чтобы идти вправо, шел влево и т. п. ... Военный совет нашел действия генерала Каульбарса неправильными, установил факты неисполнения приказаний главнокомандующего и решил предать генерала Каульбарса... *военному суду. Суд, по высочайшей милости, не состоялся»*.

Неужели это тот самый?... Да, тот самый. Он пощадил японцев от своей грозной атаки и даже «много способствовал неприятельскому обходному движению». Почему же теперь он так беспощаден к «Коле Котелю», его отцу и матери? Самому ему грозил военный суд. Он избег его только *благодаря милости*... Почему же теперь сам он так немилостив, что отверг даже ходатайство суда?..

А русский поезд все дальше мчится русскою степью, унося с собой этот клочок ужасной русской современности «послеконституционного периода»... И на каждой маленькой станции кусочек «бытового явления» отщепляется от громяющего поезда, и какой-нибудь из слушателей «спокойного рассказа» пробирается проселком в село, или в деревню, или в городское предместье, в крестьянскую лачугу или в рабочую казарму. Что он несет туда? Какие впечатления, какие чувства, какие мысли? Уважение к силе власти? Страх перед нею?.. Перед генералом Каульбарсом, тем самым, который...

Или, может быть, шемящее сочувствие к горю отца и матери, к сотням и даже тысячам отцов и матерей, постигаемых этой доблестной генеральской беспощадностью? Или, чего доброго, сочувствие к неведомому юноше, написавшему перед смертью:

«Умру не первый и не последний. Не плачьте, а гордитесь своим сыном. Умираю гордо, смело гляжу в глаза смерти...»

Трудно угадать, кто и что именно вынес с собой из этого вагона и от этого рассказа. Трудно точными словами передать чувства и мысли безгласной страны, которая, говорят, уже успокоилась, но в которой под конституционные речи все еще не хочет успокоиться виселица... Ведь и этот случайно встреченный господином А. П. пассажир в костюме кавказского переселенца казался тоже спокойным. Но все-таки он хранит на груди свои «документы» и готов предъявить их по первому запросу...

Когда, при каких обстоятельствах, в какую инстанцию он их предъявит?.. Кто знает. Будущее темно. Русский поезд мчится в темноте дальше и дальше по старым, износившимся рельсам...

IX

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ?

Прежде, еще не так давно, это делалось иначе, чем теперь. До последнего времени, до периода «обновления», казнь была явлением исключительным, необычным. Она волновала, потрясала, пугала человеческую совесть. В ней чувствовался ужас, над ней витала мрачная, почти мистическая торжественность.

Можно было бы привести много примеров. Мы удовольствуемся одним. В благонамеренном «Историческом вестнике» (за апрель 1909 года) были помещены воспоминания господина Георгия Черенкова, рисующие картину казни пяти солдат дисциплинарного батальона. Всем более или менее известно, что такое дисциплинарные батальоны. Они были ужасны в «никола-

евские времена», быть может, еще ужаснее теперь. Доведенные до отчаяния преследованиями унтер-офицеров, эти пятеро солдат их убили. Военный суд приговорил их к казни. Автор описывает, как очевидец, самую картину казни, и мы приводим это описание *in extenso*¹.

Ночь перед экзекуцией остальные штрафные солдаты провели без сна. Еще с вечера, когда всех заперли на ночной отдых, в окна, выходившие на плац, были заметны какие-то приготовления. Бегали люди с заступами и фонарями... Все поняли, что они делают...

Еще не рассеялся предрассветный мрак, как на плац стали выводить войска. Их расставили в несколько рядов вокруг плаца по стенам ограды. Вслед за ними вывели из казарм и штрафных и расположили покоем. У открытой стороны этого покоя, впереди, шагов на двадцать, стояли в одну линию пять столбов. Появилось начальство — сначала свое, потом приезжие — губернский воинский начальник, военный прокурор и еще кто-то. Кругом царила тишина раннего утра.

Но вот раздался шум многих шагов и странный звон железа. Слева в распахнувшиеся ворота ограды вышла масса людей, двигавшаяся сконцентрированным кольцом. В середине этого кольца виднелось несколько закованных фигур. Впереди, с крестом в руках, шел баталионный священник Иаков Стефановский. Он шел быстро, почти бежал, боязливо озираясь назад, как бы стараясь уйти от того страшного, что гремело назад.

В воздухе пронеслась команда:

— К эк-зе-куции!

Загремели барабаны. Двухтысячная толпа вздрогнула. Сердца забились. Каждый слышал удары сердца своего соседа.

От группы властей отделился военный прокурор с бумагой в руках. Нервным шагом он вышел на середину и стал лицом к осужденным. Бой барабанов умолк.

— «По указу его императорского величества», —

¹ Полностью (лат.).

громко и торжественно начал прокурор, а затем продолжал чтение, закрыв бумагой свое лицо от осужденных.

— На-пут-ствие! Расковать! — крикнул командовавший *смертным парадом* Масалитинов.

К осужденным подбежали кадровые и разомкнули ручные оковы. Появился кузнец с наковальней и молотом. Нетвердой рукой медленно он разбивал ножные железа. Потом подошел трепещущий священник и начал предсмертное напутствие.

А сзади, у столбов, уже мелькали, разворачиваясь, белые саваны... Вправо в стене ограды тихо открылись черные ворота, выходившие в степь, в сторону кладбища, и в них въезжали, громыхая, дроги с огромным черным ящиком.

— Проститься! — крикнул командующий «смертным парадом».

Чурин (один из осужденных) встрепенулся. Он повернулся на север и, простирая руки в пространство, крикнул:

— Прости, север!

И, соответственно поворачиваясь, продолжал:

— Прости, юг! Прости, восток! Прости, запад!

Тем временем другие осужденные что-то невнятно говорили к народу. Повернулся к толпе и Чурин. Не опуская рук, он закричал своим могучим голосом:

— Простите, братцы! За вас погибаем!

Раздался страшный крик:

— Эк-зе-куция!

Грохот десятка барабанов заполнил воздух, землю и небо.

Мы не выписываем дальнейшей процедуры вплоть до того момента, когда загремел залп, после которого три фигуры у столбов упали. Две продолжали шевелиться. Оказалось, что двое приговоренных помилованы и их заставили только психологически пережить ужасный момент казни. «К ним подходил, весь в слезах, доктор... Все облегченно вздохнули».

Это было в половине восьмидесятых годов. Россия, в которой казнь давно якобы отменена законом, в это

время пережила все-таки немало казней, даже над женщинами. Но *бытовым явлением* казнь еще все-таки не была. Она совершалась всенародно и носила характер мрачного «смертного парада». Момент расставания с жизнью, хотя бы и преступников, признавался еще чем-то торжественным и священным. Чурин на глазах тысячной толпы прощается с севером и югом, западом и востоком, прощается с товарищами, за которых отдал свою жизнь. Священник дрожит, прокурор закрывает лицо бумагой, в «страшном крике» командующего чувствуется содрогание человеческого сердца, доктор подходит к столбам весь в слезах. Над всем витает сознание торжественности, живое ощущение ужаса и ответственности.

В наши времена казнь вульгаризировалась. С нее сорваны все торжественные покровы. Да и могли ли они уцелеть, когда суды выносят сразу по тридцать смертных приговоров, когда казнь назначается «за нападение, сопровождавшееся только похищением четырех рублей, пары башмаков и колец», как это было совсем недавно в Севастополе, или за «ограбление пятнадцати рублей без всяких убийств или даже поранений», как это случилось в прошлом году в Уфе. Таких примеров можно бы привести десятки. По мере того как «бытовое явление» ширится, сознание исполнителей тупеет. Казнь становится вместо «смертного парада» простым и будничным делом. Людей начинают вешать походя, кое-как, без ритуала, даже просто без достаточных приготовлений. 13—14 декабря 1908 года в городе Уральске, по приговору военно-полевого суда, совершена казнь над Лапиным, обвиненным в убийстве генерала Хорошкина. Палач, нанятый для этого случая за пятьдесят рублей, был в маске. Заплатили ему довольно дешево, вероятно потому, что это был еще новичок в своем деле. *Приготовленная веревка оказалась негодной*; послали за другой, принесли опять чересчур толстую. Пришлось разыскивать третью (где? может быть, бегали по смотрительским чердакам?). *Все это происходило в присутствии осужденного.* Неопытность дешевого палача вы-

нудила осужденного помогать ему прилаживать петлю и оттолкнуть скамейку... Во все время этой затянувшейся процедуры осужденный утверждал, что в убийстве Хорошкина он не виновен.

В одной из южных губерний товарищ прокурора подал характерный протест: явившись для присутствия при казни приговоренного к виселице, он застал другую процедуру: за неимением палача обвиненного расстреляли, находя, очевидно, что «не все ли равно». Был бы человек убит, а как именно — это в значительной степени предоставляется усмотрению и инициативе исполнителей. Двадцать шестого ноября 1908 года в газете «Новая Русь» была напечатана телеграмма: «Сегодня на рассвете во дворе четвертой части по приговору военного суда повешены: Аристофиди, *Котель*, Воскобойников, Лавронов и Киценко. Во время казни веревка оборвалась. Котель упал на землю, испустив страшный крик. Палач, желая прекратить этот крик, *наступил ему на горло ногой*. Издевательства палача над Котелем и другими осужденными прекращены товарищем прокурора».

Если знакомый уже нам «кавказский переселенец», которого господин А. П. встретил в ставропольском поезде, читал эту телеграмму, то, наверное, он присоединил ее к тем «документам», которые он носит с собой на груди. Потому что этот Котель — тот самый «Коля», его сын, письмо которого он показывал пассажирам, тот самый, о смягчении участи которого суд ходатайствовал перед непреклонным генералом Каульбарсом. Вот как она была «смягчена» в действительности...

Впрочем, пусть это только «исключение». Не всегда нанимаются неопытные палачи «подешевле», не каждый раз обрываются веревки, не при каждой казни осужденному приходится ждать, пока новую веревку разыскивают по чердакам, и не каждую жертву вместо одного раза казнят двойными казнями... «Опытных» палачей, имевших много практики, становится теперь все больше. Не во всякой также тюрьме происходят и те ужасающие зверства над казнимыми, которые такими

потрясающими чертами обрисованы бывшим депутатом Ломтатидзе в его письме, адресованном в социал-демократическую фракцию третьей Думы. Я избавлю читателя от нового воспроизведения этой картины, которая предназначалась для думского запроса и обошла в прошлом году все газеты... Обратимся от исключений к общему правилу и посмотрим, как это делается *обычно*, в средней, бытовой обстановке.

Совсем недавно к депутату Гегечкори обратился Рудольф Глазко, томящийся в рижской тюрьме уже *несколько лет* без суда и следствия. Он умоляет добиться для него суда, который так или иначе должен прекратить его физические и нравственные истязания. Как и Ломтатидзе, самыми тяжкими из них он считает соседство смертников. «Посадили, — пишет он, — в одиночную, рядом с камерой «смертников». По ночам не спал. В стенку торопливо стучат «смертники»... В ранние утренние часы по коридору раздается звяканье шпор, шорох... душу раздражающий крик: «Прощайте, товарищи!..» На дворе погашают фонари. Смертных ведут на казнь».

Эта картина, данная в самых широких и общих чертах, составляет фон, на котором другие доступные нам источники выводят «бытовые» узоры. Мне лично была доставлена следующая копия с письма заключенного к сестре или невесте, в котором описываются впечатления тюремного населения (то есть сотен людей!!) во время казней.

«Дорогая NN... Не знаю, дойдет ли до тебя это письмо. Не знаю потому, что посылаю его не обычным путем, да еще и без марки... Опишу тебе подробно казнь четырех наших товарищей в ночь с 5 на 6 ноября. Вечером, 5-го, к нам в камеру заходил начальник тюрьмы и уверял нас в том, что приговоренные к смертной казни наши товарищи помилованы. Мы начальнику почти поверили, тем более потому, что перед этим приговоренные подавали прошение на имя главнокомандующего Московским военным округом, и очень могло быть, что главнокомандующий заменил им смертную

казнь бессрочной каторгой. На деле оказалось, что это со стороны начальника было хитрой уловкой. Он знал, конечно, что в эту ночь должна была произойти казнь, и старался нас успокоить. Осужденные тоже ничего не знали до того момента, когда их начали вешать, так что не могли даже проститься со своими родными. Но некоторые из нас не поверили начальнику и решили ночь не спать. Я заснул часов в двенадцать ночи, и ничего не было заметно. Часа в три ночи просыпаюсь и слышу крики: «Повели!» Бужу всех товарищей и подбегаю к «волчку». Вижу, что в коридоре стоят солдаты (обыкновенно их не бывает). Потом послышался лязг кандалов и шарканье многих ног по асфальтовому полу коридора. Через несколько времени мимо «волчка» промелькнули фигуры солдат. Среди них шли четверо осужденных. Осужденные шли в одних рубашках, без верхнего теплого платья. Их взяли прямо с постелей, не дав одеться в теплое платье. Лязг кандалов, шарканье ног по полу, сдержанный шепот надзирателей — все это покрывали громкие рыдания. Плакал один из приговоренных Сурков, молодой парень, лет двадцати. Осужденных вывели на двор и расковали там, а потом повели к месту, где они должны быть повешены. На дворе была морозная ночь. Дул холодный ветер. Вокруг всех стен с внутренней стороны были расставлены солдаты, а с наружной казаки. Место для вешания выбрали такое, что оно не видно было из окон камер. Виселицы не было никакой, роль ее исполняла простая *пожарная лестница*, приставленная к стене тюрьмы. Осужденных привели, поставили, прочли им приговор и предложили им причаститься и исповедаться. Двое отказались, а двое причащались. Сурков продолжал рыдать; другие трое его успокаивали, как могли. Один из осужденных, Ножин, несмотря на свой возраст (семнадцать лет), держался замечательно спокойно. Ну-с, потом начали вешать. Вешали по одному, а другие осужденные должны были ждать, пока тот совсем окоченеет. Говорят, что палачами были двое надзирателей из нашей тюрьмы. Для того чтобы их не

узнали, им надели маски. Впрочем, наверное еще неизвестно, кто был палачами...»

«...Нам не видно было, как происходила казнь, и потому мы, от нечего делать, костили офицеров, которые стояли с солдатами вокруг стены... Одного из товарищей пришлось стаскивать с окна, потому что офицер уже направил на него револьвер. По окончании казни повешенных свалили на телегу и увезли из тюрьмы. Казнь сильно подействовала на товарищей. Раздался из одной камеры похоронный марш, и через некоторое время все пели. Мы не сговаривались, а вышло это так как-то само собой. Когда началось пение, влетел начальник и потребовал, чтобы мы прекратили пение, грозился облить водой, перестрелять... Когда он ушел, пение все-таки продолжалось. Повешенных всех четвере. Из них Шишаков двадцати шести лет, Сурков девятнадцати или двадцати, Ножин семнадцати¹, Трушелев двадцати девяти лет».

Я заменил в этом описании многоточиями ужасающие подробности, которых автор сам не видел и которые могли бы и эту «бытовую» картину превратить в одно из отвратительнейших исключений. Действительность теперь часто становится неправдоподобнее самого кошмарного вымысла. Но мне кажется, что настоящий ужас все-таки не в этих примерах крайнего одичания исполнителей. Он не в исключениях, а в общем правиле, в средних условиях, окружающих ужасное дело. Тот самый корреспондент, который из-за стен тюрьмы доставил мне большую часть фактического материала этой статьи, пишет о последнем акте «смертнической трагедии». Опять та же знакомая картина, с ничтожными вариациями: «...Гремят замки, слышится

¹ В заседании Госуд. думы 19 июля 1906 года министр юстиции г. Щегловитов говорил: «В уложении 1903 года, *которое с 17 июня 1904 года составляет закон...* обращает на себя внимание установленная замена для всех несовершеннолетних смертной казни другими наказаниями» (см. стенограммы, отчеты). А 19 июня 1909 года русские газеты отмечали пятьдесят пятую годовщину указа императора Николая I об отмене смертной казни в России. — *Авт.*

лязг засовов, и через несколько минут по коридорам несутся уже прощальные крики. Это «смертные» шлют свой прощальный привет другим «смертным». Их ведут по двое или по трое мимо камер, битком набитых уголовными, грязных, смрадных и безмолвных. Никто в это время не должен подниматься с постели и никто не должен подходить к «волчку». Заключение, замеченный в нарушении этих требований, *а тем более крикнувший этим осужденным последнее «прости», наказывается продолжительным темным, страшно холодным карцером.* Осужденных проводят в контору, и толпа надзирателей нередко возвращается обратно, за новыми жертвами. Обыкновенно в одну ночь не вешают более шести человек. В конторе прокурорская власть читает им приговор о казни через повешение и *берут с них подписку в прочтении бумаги (!)* После этого священник предлагает свои услуги осужденным. Затем они пишут свои последние письма и идут к месту казни на тюремном дворе».

«Мы не будем описывать самого процесса казни», — говорит наш автор и в заключение приводит следующее замечательное письмо «очевидца», каждое слово которого есть непосредственное впечатление и от каждого слова веет эпической правдивостью и глубокою, спокойною печалью:

«Я спал очень крепко. Но при первых криках, несущихся откуда-то издалека, я проснулся и, еще не сознавая отчетливо, что значат эти крики, как-то сразу понял, что опять началось то ужасное, что тяжелым кошмаром висело над нами уже несколько ночей. Каждый вечер мы ожидали наступления этого ужасного, и когда оно началось, то всем нам показалось невероятным, что безумное дело готово свершиться у всех перед глазами. Но крики, ужасные, рыдающие крики неслись в звонкой тишине, и у меня вдруг появилась сумасшедшая уверенность, что кричат *они*, уже сгибшие в прошлый раз, что каждую ночь будут проходить они по гулкому коридору, приходить и кричать нам и всем тем, кто спит спокойно

там, в холодном равнодушном городе, за тюремными стенами, о наступившем ужасе.

За дверью камеры слышался топот ног, смутный говор, непонятная возня, и вдруг чей-то резкий надтреснутый голос отчетливо крикнул: «Дай ему! Дай ему! Что орет!» И затем крики смолкли, и где-то внизу стукнула дверь. Я подбежал к окну. В камерах зимние рамы еще не вставлены, и замерзшие окна мертвенно смотрят в нашу камеру. Но кусочек стекла у самого подоконника остался незамерзшим, и я по-прежнему припал к подоконнику и стал смотреть на освещенный двор. Еще раз стукнула где-то дверь, и наступила жуткая мертвая тишина. Она казалась бесконечной, и я уже готов был подумать, что они прошли где-то другими дверями на роковой дворик, но на освещенном электрической лампочкой дворе сразу появилась густая толпа. Она быстро пошла к калитке, и, странно размахивая руками, среди одетых в черное надзирателей быстро шел по двору одетый в арестантскую куртку «смертный». Отчетливо неслись по двору из толпы опять два голоса — один сильный и звонкий, другой глухой и слабый, и, сливаясь и перебивая друг друга, в морозном воздухе повисли одни и те же слова: «Товарищи, прощайте! Прощайте, товарищи!» Калитка открылась, «смертные» вошли туда, толпа надзирателей стала таять, двор опустел, и только три черные фигуры, странно качнувшись, быстро бросились обратно в главный корпус. Кончилось или нет? Я подошел к «волчку» и стал слушать. По-прежнему из всех камер неслись глухой, сдержанный говор и кашель простуженных людей...

На площадке, мимо которой проводят «смертных», слышались голоса возвратившихся от калитки надзирателей. В камеру доносились обрывки фраз, отдельные слова, но по ним можно было догадаться, что речь идет о только что совершившемся. «И чего только канителься? — заговорил кто-то несколько громче. — Два человека. Уж сразу бы всех». Голос смолк, и кто-то другой заговорил пониженным голосом, а потом заговорили оба сразу, взволнованно, сопровождая каждое

слово грубой, циничной бранью: «Возьми, говорит, зажди ему рот, а не понимает, что он палец откусит». — «Нет, чудно, — заговорил опять первый голос, — первый идет резво, а второй-то, второй-то... Умора! Как котенок слепой... Суется туда-сюда... Уж лучше бы на-кинуть ему на шею петлю. А то как есть слепой котенок...»

И, должно быть, говорившему сравнение показалось удачным. Он повторил его еще раз, а потом засмеялся. И было столько бессмыслицы и непонятной жестокости в этом смехе, что у меня сразу поднялась в сердце острая боль, и я уже не мог больше слушать и отошел от «волчка»... «Нужно сходить спросить, — послышался опять голос, — пусть разрешат: пора и спать». Мы поняли, что все кончилось. Кончилось только на этот раз. Кончилось затем, чтобы в одну из следующих ночей тюремный коридор вновь огласился криками. И когда подумаешь, что впереди предстоит еще много [таких] ночей, то становится непонятным, как это там, в этом холодном, равнодушном городе, люди, считающие себя умными и заслуживающими уважения, продолжают спокойно спать и позорно молчать!..»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В 1853 году на острове Гернси в Ла-Манше человек по имени Джон-Шарль Тапнер явился ночью к женщине и убил ее. Затем он ее ограбил и поджег дом. Расследование этого дела бросило ужасный свет на несколько других преступлений, в которых можно было подозревать ту же руку.

Тапнера судили. «Его судили с беспристрастием, — писал по этому поводу Виктор Гюго, живший на этом острове в качестве политического изгнанника, — судили с добросовестностью, которая делает честь свободному и беспристрастному суду. Тринадцать заседаний были посвящены рассмотрению факта. Третьего января 1854 года решение состоялось единогласно, и в девять

часов вечера, в публичном и торжественном заседании, председатель суда, судья Гернси, объявил подсудимому разбитым и прерывающимся, дрожащим от волнения голосом, что «так как закон наказывает убийцу смертью, то он, Джон-Шарль Тапнер, должен приготовиться к смерти, что он будет повешен 27 января на месте своего преступления. Там, где он убил, он будет убит».

Виктор Гюго обратился к жителям острова с письмом, в котором, нисколько не смягчая отвратительного преступления Тапнера, предостерегал их против преступления общественного. «В эту минуту, — писал он, — среди вас, жителей этого архипелага, находится человек, который в этом будущем, неведомом для всех людей, ясно различает свой последний час... Когда все мы дышим свободно, говорим и улыбаемся, — в нескольких шагах от нас в тюрьме находится дрожащий человек, который живет со взором, устремленным на один день этого месяца, на день 27 января, на этот призрак, который все приближается к нему. Этот день, для нас всех скрытый, как и все другие, перед ним уже обнаруживает свое лицо... мрачное лицо смерти».

Он убийца... Да... «Но, — продолжает Гюго, — какое мне дело до этого? Для меня, для всех нас этот убийца более не убийца, этот поджигатель более не поджигатель. Это дрожащее существо, и я хочу его защитить. Жители Гернси! Не дайте виселице бросить тень на ваш чудный остров... Не примите на себя страшной ответственности захвата божественного права человеческим правом. Кто знает? Кто проник в загадку? Есть бездны в человеческих поступках, как есть бездны в волнах. Вспомните о днях бурь, о зимних ночах, о темных и разъяренных силах природы, которые овладевают вами в иные минуты... Не допустите, чтобы в ваши паруса дул ветер с могил. Не забывайте, мореплаватели, не забывайте, рыбаки, не забывайте, матросы, что только одна доска отделяет вас самих от вечности... что и вы всегда находитесь лицом к лицу с бесконечным, с неведомым. Разве вы не будете думать с содроганием, что ветер, который будет свистеть в ваших снастях, встретил

на своем пути эту веревку и этот труп?... Ваши свободные учреждения отдадут в ваше распоряжение все средства для того, чтобы выполнить этот священный, этот религиозный подвиг. Соберитесь законным порядком. Взовлните общественное мнение и совесть... Жены должны убеждать мужей, дети должны умолять отцов, мужчины должны составлять прошения и петиции. Обратитесь к вашим правителям и судьям. Требуйте отсрочки, требуйте смягчения правосудия. Спешите, не теряйте ни одного дня».

Это было пятьдесят шесть лет назад, по поводу предстоящей казни *одного* человека, после судебного разбирательства, длившегося тринадцать дней, со всеми гарантиями защиты и при полнейшей очевидности факта. Сердца моряков и матросов откликнулись на благородный призыв французского изгнанника, и остров рыбаков закипел петициями, собраниями и протестами против казни.

Что сказал бы теперь великий поэт и гуманист, если бы дожил до нашего русского «обновления» и увидел целую страну, где не один человек, а *сотни и тысячи* «живут со взглядами, устремленными на свой последний день, в то время как другие дышат свободно, разговаривают, смеются...» Где чуть не каждую ночь в течение нескольких уже лет происходят казни... Где утренний ветер то и дело встречает на своем пути виселицы, веревки, качающиеся трупы и несет на поля, на деревни, на города «святой Руси» последние стоны и хрипы казнимых. Где в вагонах отцы рассказывают «спокойно» о гибели сыновей, почти мальчиков, и о непреклонности генералов Каульбарсов. Где самая казнь потеряла уже характер мрачного торжества смерти и превратилась в «бытовое явление», в прозаические деловые будни. Где не хватает виселиц, и людей вешают походя, ускоренным и упрощенным порядком, без формальностей, на пожарных лестницах, при помощи первых попадающихся под руку обрывающихся, гнилых веревок... И потом так же наскоро зарывают трупы,

торопливо, с цинической небрежностью, точно в самом деле во время повальной моровой язвы...

В июне прошлого года в газетах мелькнуло коротенькое известие, не обратившее на себя особенного внимания. В Екатеринославе на окраине города начали строить казармы. Едва землекопы принялись рыть фундамент, как тут же наткнулись на трупы казненных. Узнать их было нетрудно: трупы лежали в земле в кандалах.

Встает старая легенда, оживает мрачное суеверие седой старины, когда «для прочности» фундаменты зданий закладывались на трупах... Не достаточно ли, не слишком ли много трупов положено уже в основание «обновляющейся» России? «Кто знает, кто проник в загадку?» — скажем мы вместе с великим французским поэтом. Есть бездны в общественных движениях, как есть они в океане. Русское государство стояло уже раз перед грозным шквалом, поднявшимся так неожиданно в стране, прославленной вековечным смирением. Его удалось заморозить обещаниями, но «кто знает, кто проник в загадку» приливов и отливов таинственного человеческого океана. Кто поручится, что вал не поднимется опять, так же неожиданно и еще более грозно? Нужно ли, чтобы в своем возвратном течении он принес и швырнул среди стихийного грохота эти тысячи трупов, задавленных в период «успокоения»?.. Чтобы к историческим счетам прибавились еще слезы, стоны и крики мести отцов, матерей, сестер и братьев, продолжающих накапливать в «годы успокоения» свои страшные иски?

Нужно ли?.....

На этом я пока заканчиваю эти очерки «бытового явления». «Продолжение» несет с собою каждый наступающий день, каждая «хроника» нового газетного листа, каждый новый приговор упрощенного военносудного механизма. Мы не можем, подобно великому французскому писателю, сказать: «Наши свободные учреждения предоставляют все средства для борьбы в пре-

делах закона» с этим обыденным ужасом. Мы не можем «собираться в законном порядке», не можем на этих собраниях «волновать общественное мнение и совесть», облекать это мнение в формы «петиций для обращения к правителям и судьям». Тем важнее, скажу даже — тем священнее обязанность печати хоть напоминать о том, что ужас продолжается в нашей жизни, чтобы не дать ему превратиться окончательно в будничное, обыденное, бытовое явление, своего рода привычку, перестающую шевелить общественное сознание и совесть.

В заключение считаю своею обязанностью принести искреннюю благодарность человеку, который в самом центре этого ужаса, в соседстве со смертниками имел мужество собирать, черта за чертой, этот ужасный материал и помог ему проникнуть за пределы тюремных стен и роковых «задних дворов».

Читать это тяжело. Писать, поверьте, еще во много раз тяжелее... Но ведь это, читатели, приходится переживать сотням людей и тысячам их близких.

ОБ УГОЛОВНОЙ ЗАЩИТЕ

(читано Сергеем Аркадьевичем Андреевским
на конференции помощников прис. поверенных
группы Бучковского)¹

Господа! Я обращаюсь преимущественно к молодежи. То, что я вам скажу, есть не только выводы моего опыта, но и разъяснение той идеи, которую я применял к делу защиты. У вас может получиться впечатление, будто я говорю только лично о себе. Выбросьте это из головы. Если можно, то забудьте даже меня, как автора беседы. Но вникните хорошенько в то, что я говорю.

Между прочим, я восстаю против рекламы и актерства. Если вы будете смотреть на вопрос с точки зрения быстрого успеха и хорошей платы за дешевый труд, то я заранее признаю себя разбитым на всех пунктах. Ибо известно, что нет более ходкого товара, как изделия Александровского рынка или художественные произведения, выставляемые в трехмарковом базаре. Но если мы начнем рассуждать об истинном искусстве, о таланте, о служении правосудию и об интересах тех несчастных, которые вверяют нам свою участь, то я, без малейших уступок, останусь непоколебимым во всем, что я предложу вашему вниманию.

¹ Печатается в сокращении.

...Я должен прежде всего резко выделить защитников по уголовным делам от защитников по гражданским.

Юристами можно назвать только знатоков *гражданского права*. Они заведуют особою областью общежития, для которой вековым опытом — можно сказать, почти наукою — выработаны уголовные нормы отношений по имуществу. Это чрезвычайно хитрая механика, в которой хороший техник, помощью одного, едва приметного винтика, может остановить или пустить в ход целую фабрику. В этой области нужно превосходно знать как общую систему, так и все ее подробности.

Иное дело — криминалисты. Все они — дилетанты, люди свободной профессии, потому что даже Уголовный кодекс, с которым им приходится орудовать, есть не более как многоречивое, а потому шаткое и переменчивое разматывание на все лады основных девяти заповедей Божьих, известных даже школьнику. Поэтому от уголовных защитников не требуется ровно никакого ценза. Подсудимый может пригласить в защитники кого угодно. И этот первый встречный может затмить своим талантом всех профессионалов. Значит, уголовная защита, прежде всего, — не научная специальность, а искусство, такое же независимое и творческое, как все прочие искусства, т. е. литература, живопись, музыка и т. п.

Поэтому-то и уголовные защитники имеют популярность своего рода «избранников» толпы — не то поэтов, не то драматических любовников, не то чарующих баритонов... Они фигурируют на эстраде, у них развиваются актерские инстинкты... И в этом — их проклятие! Они весьма легко увлекаются мишурою и необычайно быстро пошлеют... Но пошлость уголовного адвоката, увлекающегося дешевым успехом, неизмеримо ниже пошлости актера, который торопится завоевать успех тем же путем, т. е. угождением своему залу. У актера есть, по крайней мере, оправдание в том, что он объединяет себя с призраком фантазии: «что он Гекубе, что ему Гескуба!» А уголовный защитник объединяет

себя с весьма живым субъектом, сидящим за его спиною, — и, по правде сказать, — метать громы из-за этого субъекта, принимать благородные позы и кипеть за него праведным негодованием — приходится только в самых редких, даже исключительных случаях. А уголовники считают своим священным долгом делать это чуть ли не *каждый раз*... Выходит нечто самое гадкое, что только можно себе представить: продажное негодование, наемная страсть...

Поприще очень скользкое. И я желал бы поделиться своим опытом с теми, кто вступает на этот путь.

Не буду останавливаться в делах с косвенными уликами. Здесь каждый защитник, по мере своих сил, вооружается логикою и находит выход из лабиринта.

Дела эти вообще нетрудны, потому что у нас и коронный суд, и присяжные никогда не принимают на свою совесть сомнительных доказательств. Однако в сложных процессах, с уликами коварными и соблазнительными, добиться правды способен только художник, чутко понимающий жизнь, умеющий верно понять свидетелей и объяснить истинные бытовые условия происшествия.

Но большинство уголовной практики составляют процессы, где виновность перед законом несомненна. И вот в этой именно области наша русская защита сделала, на суде присяжных, наибольшие завоевания поведенью гуманности, граничащей с милосердием. Пусть над нами смеются иностранцы! Но я принимаю за наилучший аттестат нашей трибуны ироническое замечание французов: «*les criminels sont toujours affranchis en Russie: on les appellent: nestschastnii*», т. е. «в России всегда оправдывают преступников, — их называют несчастными». Всегда — не всегда. Однако же едва ли в каком государстве найдется более человеческий, более близкий к жизни, более глубокий, по изучению души преступника, суд, чем наш суд присяжных. И это вполне совпадает с нашей литературой, которая, при нашей

отсталости во всех прочих областях прогресса, — чуть ли не превзошла европейскую ничем иным, как искренним и сильным чувством человеколюбия. Запад невольно смущается перед этою широтою, теплотою и мягкой волною всепрощения, идущего с Востока. Практические иностранцы, с течением времени, перестают глумиться, начинают задумываться и уже почти готовы признать свежесть славянского гения, ибо ведь из самой передовой страны старого Запада, из Франции, раздался афоризм: «*Tout comprendre c'est tout pardonner*» — все понять — значит все простить. И вот, даже французам невольно напрашивается вывод: «А, пожалуй, русские понимают человека лучше нашего».

Сделавшись судебным оратором, прикоснувшись, на суде присяжных, к «драмам действительной жизни», я почувствовал, что и я, и присяжные заседатели, — мы воспринимаем эти драмы, включая сюда свидетелей, подсудимого и бытовую мораль процесса, совершенно в духе и направлении нашей литературы. И я решил говорить с присяжными, как говорят с публикой наши писатели. Я нашел, что простые, глубокие, искренние и правдивые приемы нашей литературы в оценке жизни следует перенести в суд. Я за это взялся с таким логическим расчетом, с каким, например, техники решили воспользоваться громадною силою водопадов для электричества. Нельзя было пренебрегать столь могущественным средством, воспитавшим многие поколения наших судей в их домашней обстановке. Я знал, что их души уже подготовлены к восприятию тех именно слов, которые я им буду говорить.

Этот прием не составляет моего открытия. Я имел поучительных предшественников. Называю их вполне определенно: Урусов и Кони. Урусов первый создал свободный литературный язык защитительной речи. Кони первый внес в судебные прения литературно-психологические приемы в широких размерах, но, увы, — сделал это в целях обвинения, а потому поневоле при-

урочивал свою психологию к готовым сентенциям уложения о наказаниях. Помнится, Кони, когда ему приходилось бороться с искусительными доводами защиты в пользу милосердия, называл эти доводы «жестокою сентиментальностью», ибо результатом его душевного анализа всегда являлось «лишение прав». Мне вообще кажется, что прокурор может пользоваться психологией лишь для изобличения неправды в показаниях подсудимого, но когда полное и откровенное сознание лица, то глубокое исследование души преступника может быть благоприятно только для защиты. Пример этих двух ораторов убедил меня, что приемы художественной литературы должны быть внесены в уголовную защиту полностью, смело и откровенно, без всяких колебаний.

Ведь судебные уставы императора Александра II сделали громадный переворот. Они предоставили присяжным заседателям произносить обвинительные или оправдательные решения, не стесняясь никакими доказательствами, единично по убеждению их совести. <...>

С тех пор примирение правосудия с душою преступника сделалось основным мотивом уголовной защиты. Из этого до очевидности ясно, что художественная литература, с ее великими раскрытиями души человеческой, должна была сделаться основною учительницею уголовных адвокатов. «Проникновенная» психология и вытекающая из нее — часто неожиданная для рутинных взглядов — этика — вот два могущественнейших оружия в руках того, кто должен «милость к павшим призывать».

Излишне распространяться о глубочайших открытиях в психологии преступления, сделанных, например, Шекспиром и Достоевским. Но вообще вся художественная литература неизмеримо более содействовала смягчению взглядов на преступника, нежели деятельность знаменитейших филантропов-практиков. Эти филантропы только облегчали отбытие наказаний, помогали устранению некоторых физических мук, улучшали тюремный быт и т. п. Но литература действовала гораздо радикальнее: она примиряла общество с самою

личностью нарушителя законов. Не стану этого доказывать подробно. Приведу ближайшие современные факты.

Возьмите хотя бы два рассказа Чехова «Злоумышленник» и «Беда». Герой первого рассказа крестьянин Григорьев отвинчивал гайки, которыми рельсы прикрепляются к шпалам, иными словами — умышленно повреждал железнодорожный путь с явной опасностью для пассажиров, т. е. совершал преступление, предусмотренное 1081 ст. уложения. Во втором — купец Авдеев, член ревизионной комиссии одного крахнувшего банка, подписывал подложные отчеты, т. е. судился за преступление, предусмотренное 1154 ст. уложения. Чехов не юрист. Но кто же, — даже самый лучший из нас — по тем двум обвинениям, которые я назвал, когда бы то ни было произнес в суде что-нибудь до такой степени яркое и простое, до такой степени обезоруживающее всякую возможность преследования этих двух преступников, как то, что написал Чехов в этих двух коротеньких рассказах?!

А в чем же тайна? Только в том, что Чехов правдиво и художественно нарисовал перед читателем бытовые условия и внутреннюю жизнь этих двух, выражаясь по-нашему, своих «клиентов».

И решительно то же самое мы должны делать в каждой уголовной защите.

Мне возразят, что писатель свободно создает образы, почерпываемые из своей фантазии, тогда как адвокат прикован к фактам действительности. Но позвольте мне назвать это возражение просто глупостью, — одною из тех старых глупостей, которые, под влиянием привычки, превращаются как бы в истину. Ведь я говорю о *художественной* литературе, которая всегда, как бы она фантастична ни была, имеет в своей основе самую *настоящую*, самую глубокую *правду* жизни. Поэтому уголовный адвокат, если он художник, т. е. человек проникательный и чуткий, находится даже в гораздо лучших условиях, нежели писатель. Он имеет подлинную натуру, которую ему нет надобности ни маскировать,

ни переделывать. Как портрет есть самая благодарная тема для живописца (портретами обессмертил себя Веласкес), так и подлинное дело есть наилучший материал для художника слова, каким непременно должен быть защитник в суде.

Один мой товарищ, конечно, вполне искренне предостерегал одного подсудимого, желавшего обратиться к моей защите.

«Ведь Андреевский поэт, а не адвокат, — сказал он. — Вам нужно поискать кого-нибудь более серьезного». С моей точки зрения, это был невольный комплимент. <...> А клиент все-таки испугался и послушался...

И я прекрасно понимаю всеилие этой рутины. Ведь даже мой благосклонный критик, присяжный поверенный Ляховецкий, наделив меня всевозможными достоинствами, оговорился, однако, что я все-таки «не адвокат чистой крови». Вероятно, и это — намек на поэзию, ибо я не догадываюсь, каким образом уголовный защитник может быть «адвокатом чистой крови»? Что ему для этого нужно? Иное дело цивилисты. У них действительно умы совершенно специальные. Здесь можно говорить о расе, о юристах «по крови». Но уголовники?!

И кому бы, казалось, а уж никак не критикам уголовных защитников клепать на поэзию. Ведь Плевако, в защите Качки, как лучшим доводом воспользовался разбором некрасовского стихотворения «Еду ли ночью по улице темной»; Адамов неоднократно эксплуатировал стихотворение Никитина: «Вырыта заступом яма глубокая». А Потехин оправдал Кожевникова, зарезавшего свою любовницу, даже посредством... музыки, доказывая присяжным, какую невыразимую печаль на сердце вызывают мотивы вальса «Дунайские волны».

Скажу прямо: чем менее уголовные защитники юристы по натуре, тем они драгоценнее для суда. Гражданский суд имеет дело с имуществами, а уголовный — с людьми. Уголовный защитник призван ограждать живые людские особи от мертвых форм заранее готового и общего для всех кодекса. Если уголовный защитник

будет таким же зашнурованным или, придерживаясь Ляховецкого, «чистокровным» юристом, как прокурор, судьи и секретарь, то ни одного житейски допустимого и понятного приговора не получится. Уголовный защитник, если он является чутким, правдивым, искренним бытописателем и психологом, всегда будет дорог для суда, всегда будет выслушиваться с уважением и вниманием, ибо сами судьи осознают, что их привычка к формам мертвит их совесть, удаляет их от потребностей жизни, которым бы они желали бы служить, а поэтому каждое верное, свежее слово, приходящее к ним из-за стен суда, заставляет их прислушиваться к голосу действительности, интересуется их, смягчает поневоле их сердце. Юриспруденция нужна уголовному защитнику не как нечто существенное, а как нечто вполне элементарное, вроде правил грамматики для писателя, ученических чертежей для живописца, позиций для танцора и т. п. Присутствие этого знания должно быть почти незаметно в главных задачах его деятельности.

Впрочем, в этом отношении у меня есть антагонисты. Мне передавали такое суждение: «...уголовная защита есть работа упорная, грубая, *совершенно антихудожественная*. Едва открывается заседание, как уже следует помышлять о кассационных поводах...» Очевидно, подобное суждение может принадлежать только дельцам, лишенным художественного таланта, т. е. таким уголовным специалистам, которые теперь годятся лишь для второстепенных услуг, т. е. для консультаций, писания жалоб и т. п., но не для решительной минуты словесного спора. <...>

В русской адвокатуре уже был очень большой и, в сущности, трагический талант этого направления — А. В. Лохвицкий, совершенно недостижимый для современных эпигонов того же типа. И этот первоклассный уголовный юрист, человек с громадной эрудицией, изобретательностью и остроумием — проиграл свою кампанию перед реформенным судом. Он не переставал удивляться до своих последних дней, каким образом люди легкомысленные, но с «божественным огнем», с

искренним и живым дарованием, преуспевали больше, чем он. <...>

Поэтому — ставить на *первый план* свои глубокие познания в этой простой юриспруденции могут только мистификаторы, надеющиеся морочить клиентов. Старые времена миновали. Настал суд жизни, а не мертвой формалистики. И то, что эти господа называют защитой, есть только «волокита». Бумажное сутяжество удается им гораздо лучше, чем живое слово, и сколько бы они ни доказывали свою необходимость и важность в отправлении правосудия — они в лучшем случае достигнут только хорошего заработка, но судебными ораторами в истинном и благородном значении этого слова никогда не будут.

Возвращаюсь к литературе. Я уже упоминал о двух превосходных рассказах или, вернее, — «уголовных защитах» Чехова. Но возьмем писателя в другом вкусе. Вот вам газетный фельетонист, пишущий чуть не ежедневно, о чем попало на скорую руку — Дорошевич. И этот самый Дорошевич разобрал в нескольких фельетонах «России» запутаннейшее дело Скитских так живо, логично, ясно, просто и талантливо, с такою находчивостью и бытовой правдивостью в объяснении всех кажущихся недоразумений, так ловко объединил все части своего исследования, представил такую любопытную и цельную картину всего дела, что, если бы его фельетон попал в сборник адвокатских речей, он превзошел бы все известные мне образцовые речи наших адвокатов по делам с косвенными уликами! Помнится, закончив чтение этих фельетонов, я кому-то сказал: «Теперь я до очевидности понимаю, что Скитских осудить невозможно. И к чему после этого еще раз проделывать сложную комедию суда? Следовало бы теперь просто это дело свыше прекратить».

Да что Дорошевич! Мне попадались репортерские заметки, уверяю вас, более живые, умные и даровитые, нежели речи защитников по тем же делам.

И волей-неволей приходится сказать, что среди всех нас, уголовных защитников, в нашем довольно-таки

показном сословии, — увы, не слишком-то много людей с интересным, сильным умом и с обаянием оригинального, истинного дарования.

Однако же мы все-таки шумим, создаем себе имена... Чем это объясняется? Объясняется это громадным плюсом, который каждый из нас имеет перед каждым деятелем прессы, — а именно: нам даны живая аудитория и живой звук голоса. Эти два условия власти составляют такой чувственный рычаг, который самое ничтожное наше усилие передает публике сразу во сто крат, в сравнении с его действительным значением. Самая дешевая мысль, самая пошлая сентенция, выраженная *устно* перед *слушателями*, производит сразу неизмеримо большее действие, нежели гениальнейшее изречение бессмертного человека, изображенное им для *читателя на бумаге*... Вот секрет нашего незаконного успеха. Вот чем объясняется то, что в нашей корпорации самые средние люди, обладая одною только развязностью речи, могут иногда, при некоторых честолюбивых махинациях, попасть даже в знаменитости. Но, конечно, от таких знаменитостей ни подсудимые, ни тем более предания, достоинство и дальнейшее развитие адвокатуры ровно ничего не приобретают.

Меня спросят: что же, по-вашему, делать? Писателям, что ли, поступать в присяжные поверенные?

Нет! Конечно, нет... Каждый, по природе, находит свое призвание. Об этом и говорить нечего. Однако в этом вопросе, казалось бы, можно было бы до чего-нибудь додуматься. *Беда в том, что писатели не умеют говорить, а адвокаты не умеют правдиво, чутко и художественно воспроизводить и разъяснять жизнь. Вот если бы соединить то и другое...* (Курсив мой. — М. А.)

Так я думал, и так, по мере данных мне сил, я действовал. Идеальный защитник, каким он рисуется в моем воображении, это именно — *говорящий писатель*. Вы, конечно, сблизите мое определение с определением Кони: «прокурор — это *говорящий судья*». Но каждый *судья*, поневоле, должен быть прямолинейным, тогда как *писатель* может, с полною свободою, исследовать

глубочайшие вопросы жизни. И в этой задаче — непочатый край для гуманитарных завоеваний уголовной защиты в будущем.

Предвижу еще такое возражение: ведь писатель изображает нормальных людей, а защитник — говорит только о преступниках. Но каждый преступник вырастает среди нормальных людей, и для того, чтобы объяснить преступника, адвокат неминуемо должен прежде всего с глубокою правдивостью художника понять и определить всех его окружавших. Без этого немислимо объяснить преступление.

Впрочем, у меня есть один решающий аргумент. Достаточно сказать, что даровитейший представитель уголовного права, профессор Лист поддался обаянию художника-моралиста Л. Толстого, протянул ему руку и разошелся с ним только в незначительных мелочах.

Кажется, моя мысль не должна вызвать недоразумений. Адвокаты-художники или «говорящие писатели» желательны, по-моему, во всевозможных делах, как в чисто юридических, так и в повседневных, ибо они везде будут наилучшим образом помогать выяснению истинных потребностей жизни. Но в особенности они важны в так называемых «громких процессах», волнующих все общество и требующих достойного отклика со стороны адвокатуры, в пределах справедливости...

Вообще же для уголовной защиты, не считаясь с выдающимися дарованиями, скорее всего полезны образованные, умные, искренние, добрые люди, а менее всего нужны казуисты или же пустые фразеры, самодовольно предлагающие публике истрепанные «цветы красноречия». Но к этому вопросу я еще возвращусь...
<...>

Наш суд присяжных хотя и заимствован из Франции, но на деле проявил столько национальной своеобразности, что сходство осталось в одних формах. Каковы бы ни были несовершенства нашего суда, но он так нов, свеж и молод, что у него есть громадные преиму-

щества всякой здоровой молодости: ему принадлежит будущее. Этот суд вызвал к жизни и адвокатуру, которая поневоле должна была создавать новые формы. Французские образцы для нас совсем непригодны. Если бы французская адвокатура, создавшая в прошлом столько чудесных ораторов, предстала перед нашим «судом совести», то она оказалась бы «старой крысой». В ней действительно есть много архаического. Язык напыщенный, чуждый нашим простым вкусам. Приемы увертливые, отдающие тонкой кляузой... Слог совсем особенный, ненатуральный, с каким-то специфическим, профессиональным запахом, каким, например, обдает вас в аптеке, с ее латинскими снадобьями. Чувствуется уже отжившее и ненужное мороченье публики. Французскому адвокату, по исторической традиции, присвоено лицемерие... Но у нас все это не годится.

У нас, при самом введении реформы, сложилось такое убеждение, что если уже отныне будет суд совести, то и защита должна быть «по совести». На первых же выдающихся адвокатов, при малейшем их разъединении со взглядами общества, посыпались упреки. Брошена была в наше сословие кличка, прославившая Евгения Маркова: «прелюбодей мысли». Щедрин, подметив слишком развязную болтливость некоторых из нашей братии, заклеил этот тип защитника фамилией «Балалайкин». Ничего нельзя было поделывать. Наш поистине прогрессивный ученый суд силою самой жизни указал всем участникам процесса, что от каждого из них прежде всего потребуется искренность и правда. И требование это уже остается самым существенным навсегда.

В сущности, надо сказать, что утвержденное веками торжественное лицемерие французских адвокатов ровно ни к чему не ведет. Судьи прослушают «брехунца» (как у нас малороссы прозвали адвокатов) и все-таки каждый раз сделают свое дело, как следует. Великолепная, театральная ложь ударяет только по сводам залы, но не по сердцам судей. И если бы французская адвокатура ознакомилась с лучшими из наших речей, то

увидела бы, насколько новы созданные нами формы защиты. В особенности ее бы поразили наши работы в исследовании души преступника. Ведь психология французских адвокатов не идет далее одной стереотипной фразы, повторяемой решительно в каждом деле: «Посмотрите на подсудимого: разве он похож на вора, убийцу, поджигателя и т. д.». Но ссылка на внешность подсудимого, как на лучший довод в его пользу, равносильна сознанию, что его внутренний мир совершенно недоступен для защитника.

Давно известно, что ораторы «не рождаются, а делаются», т. е. что внешние качества речи каждый может приобрести. Следовательно, важнее всего, чтобы у будущего оратора была прежде всего голова, имеющая высказать нечто значительное. Публика же до сих пор этого не понимает. Большинство думает, что если человек способен говорить без запинки, то значит, он оратор. И вот почему *болтунов* смешивают с *ораторами*. Это один из величайших абсурдов.

От болтливости следовало бы так же лечиться, как от заикания. Непроизвольное извержение слов так же пагубно, как и произвольная их задержка. Оратором может быть назван лишь тот, кто достигнет полного сочетания плавности речи с целесообразностью каждого произносимого слова. Но в совершенном виде такое сочетание решительно никому не дается от природы. Нужно работать над собой, нужно покорять себе язык, дисциплинировать его. Величайшие ораторы древности, Демосфен и Цицерон, никогда не полагались на импровизацию и писали заранее свои речи от слова до слова. Кроме того, они долго вырабатывали свой слог прилежным изучением поэтов. Да, именно поэтов, — не в обиду будь сказано тем, кто протестовал против затен А. Я. Пассовера читать Пушкина в собраниях наших помощников. Ибо настоящая поэзия есть прежде всего точность и благозвучность языка, а следовательно, она содержит два существенных качества, необходимых

оратору, как воздух для дыхания. Неужели Демосфен и Цицерон читаются в гимназиях для того, чтобы приучать гимназистов к воздействию на «волевые импульсы толпы»... Конечно, авторы эти изучаются лишь как образцы слога, близкого по своей точности и мелодии к языку поэтов. Вспомните первые звуки речи против Катилины: «Quousque tandem, Catilina...» Ведь это стих. Это настоящий ямб, как «скажи мне, ветка Палестины»... А восклицание: «О, tempora! О, mores!» — это настоящая гармония.

И знаете ли вы, что ваш руководитель А. Я. Пассовер — один из утонченнейших гастрономов по части слога. Даже к Пушкину, который, кажется, превышает в этом отношении писателей всего мира, он однажды придрался. Он указал мне, с недоумением и досадою, у Пушкина одну строку (правда, всего одну), которую он откопал:

«Пора. Перо покоя просит».

«Помилуйте, — сказал он. — В четырех словах четыре «п» и три «р»... Это непостижимо!»

Итак, древние ораторы совершенствовали свой слог, приглядываясь к образцам литературы. То же следует делать и нам.

Помню, летом 1897 года мне попались за границею в Figaro чрезвычайно любопытные статьи «La Litterature et le barreau». В них проводилась параллель между беллетристикой и адвокатскими речами. Автор доказывал, что законы успеха в этих двух областях искусства совершенно одинаковы... Автор приходил к выводу, что, как в литературе, так и в ораторском искусстве, остается свежим и переживает всякие моды только простой, сжатый и ясный язык, чуждый безвкусных украшений. <...>

Что касается предварительной работы, то и у нас все знаменитые защитники писали свои речи заранее, или целиком, как Спасович, или в виде конспектов, или «оазисами», как говорил о себе Плевако, который, впрочем, в последнее время тоже стал их писать целиком, ибо тотчас после прений передает полную рукопись в газеты. Здесь подробности зависят от индивиду-

альностей. Важно только то, чтобы вся идея защиты была заранее глубоко продумана.

Содержание речи должно быть приурочено к тому, чего могут требовать и ожидать, — чем могут наиболее интересоваться судьи в момент прений. Нет ни малейшей надобности повторять им то, что они уже знают. Следует обобщить картину дела и сделать это таким образом, чтобы попутно были затронуты все больные места и получились ответы на самые щекотливые и тревожные вопросы. Преподать эту архитектонику защиты нет никакой возможности. Она дается чутьем, талантом и, так сказать, духовным глазомером, который указывает на соответствие между частями и целым.

Я должен теперь сказать нечто обыденное, старое, вечное. Когда к вам приходит клиент, не цепляйтесь за него, не уродуйте самого себя размышлением: «Как бы тут можно было извернуться!» Лукавство или развязная софистика редко побеждают, да и в случае успеха не приносят отрады. Ставьте вопрос иначе. Спросите себя, всесторонне ознакомившись и с бумагами, и с человеком: «Что есть справедливого в объяснениях?» Если есть хоть кусочек справедливости, возьмитесь за один этот кусочек, предварив клиента, что все остальное не годится. И только с этого исходного пункта начинайте работу. Раз вы задаетесь такою целью, то все законы впоследствии приложатся сами собою.

Для меня, в каждом принимаемом деле, самое интересное было — добиться правды. Сотрудники мои знают, как я пытливо исследую клиента, как беспощадно анализирую улики и сколько дел отвергаю. Мне попадалось много дел с весьма благодарным материалом для спора, и само содержание спора уже легко складывалось в моей голове, но я чувствовал, что настоящая правда все-таки не на стороне подсудимого. И тогда я отсылал его к другим. Но видно, уже «глаз у меня дурной», ибо и в других, иногда весьма искусных руках все эти дела в конце концов оканчивались трагично. Я этим

не хвастаюсь и не вижу в этом никакой добродетели. Я просто неспособен к лживым изворотам; мой голос, помимо моей воли, выдаст меня, если я возьмусь развивать то, во что не верю. Я нахожу всякую неправду глупую, ненужную, уродливою, и мне как-то скучно с нею возиться. Я ни разу не сказал перед судом ни одного слова, в котором бы я не был убежден. <...>

Действительно. В правде есть что-то развязывающее руки, естественное и прекрасное. Если вы до нее дойдёте, то какой бы лабиринт нелепых взглядов и толкований ни опутывал дело, вы всегда будете себя чувствовать крепким и свободным. Если даже дело проиграется, то вы испытаете лишь нечто вроде ушиба от слепой материальной силы. Вам будет жалко судей, которые были обморочены слишком громоздким скоплением чисто внешних помех, заслонивших от них истину. Я всегда оставался упрямым во всех тех (сравнительно весьма немногих) случаях, когда суд со мной не соглашался. И почти всегда время оправдывало меня.

Некогда печать упрекала меня в том, что в своих речах я создаю фантастические литературные образы, вовсе не соответствующие тем живым подсудимым, которых защищаю. <...> Я не возражал. Я знал, что правда была на моей стороне, и, как всегда, «с меня было довольно сего сознания». Я питаю отвращение к так называемой сентиментальности и к приемам дурного вкуса, от которых, по выражению Тургенева, «воняет литературой». Для меня, повторяю, «правда жизни» всегда представлялась такою разительною, ценною находкой, что я никогда бы не дерзнул портить ее своими измышлениями. Она всегда бывала для меня и глубже и оригинальнее ходячих литературных сюжетов. Поэтому я ее тщательно оберегал во всех доставшихся мне делах.

И здесь время защитило меня. Расскажу вам об Иванове и Августовском. От Иванова я получил письмо из тюрьмы. По каким-то случайностям я откладывал со дня на день просьбу о допущении меня к свиданию, хотя и носил его письмо в кармане. Как раз в это время

мне встретился в одном обществе Владимир Соловьев. Не помню, какой именно разговор заставил меня вспомнить о письме Иванова, я его прочел всем присутствующим. Соловьев накинулся на меня: «И неужели вы до сих пор не были у него! Такое письмо мог бы написать только Достоевский... Это во всяком случае выдающийся, интересный человек. Спешите к нему и непременно берите защиту». Я сказал, что и без того упрекаю себя за невольное запаздывание. Вероятно, многие помнят, что поднялось в печати после моей речи!.. Однако же, спустя три года, когда эта речь появилась во втором издании моего сборника, однажды ко мне, на рождественские святки, пришел неизвестный студент Ярославского лицея и объяснил, что у них, в товарищеских прениях, обсуждалась моя защита в связи с обвинительным актом и другими напечатанными документами. Молодежь, первоначально поддававшаяся газетным рецензиям, пришла к полному согласию со мною насчет Иванова и просила этого студента выразить мне свое сочувствие.

Вот от кого — и в какой интимной форме — я получил удовлетворение...

Что касается Августовского, то всего лишь три года тому назад от одного золотопромышленника, из глубокой Сибири, я узнал, что Августовский еще бодрствует и работает, что все его знают по моей книге, и что он в эту книгу попал весь, живьем — таким, каким и до сих пор остается.

И как после всего этого не преклониться перед глубокою народной мудростью, которая вещает: «Все минется, одна правда останется».

Тема беседы такая неисчерпаемая, что следовало бы себя ограничить. Но я еще не успел высказать всего существенного.

Русское судебное красноречие возникло при необычайно благодарных условиях. В нашу среду попали замечательные умственные и художественные силы. В

шестидесятые годы закипела такая общественная работа, что выдающиеся ученые и люди с литературным талантом покинули свои библиотеки и кабинеты для живого судебного дела. Язык первых защит оказался пестрым и разнообразным, без какой бы то ни было сложившейся профессиональной окраски; ничего узкосословного, что уже ясно замечается в старой европейской адвокатуре, здесь еще не было. Но все речи отличались содержательностью. Видно было, что они исходят от умов широких, самостоятельных, развитых и богато одаренных. Эти первые образчики нашего красноречия создавались сообща: профессорами, литераторами, светскими людьми с европейским образованием, а также даровитыми самородками из демократии. Нечто веское, значительное и живое слышалось в каждом доводе. Адвокатура сразу выросла и вызвала невольное внимание суда. В то же время печать зорко следила за ее нравственным достоинством. Таким образом, даже самые зачатки пошлости и беспринципности вытраивались в приемах нашей трибуны с первых же лет ее существования.

Теперь уже трудно вспомнить и перечислить адвокатов, которые даже никогда более не попадут в историю нашего сословия, но которые говорили перед судом так интересно, благородно и культурно, что нынешние газетные знаменитости перед ними оказались бы совершенно ничтожными. Возьмите старые газеты, и, быть может, вам попадутся умные тексты этих позабытых защит.

И главное, на что я хочу указать, — ничего актерского в этих речах не было. Язык Спасовича ярок, но прост, и никаких мелодраматических приемов у него нет. В самых трогательных местах он робел, а не декламировал. Плевако — византиец и ритор по природе, но и он поднимает интонацию лишь в самые сильные моменты речи, как делал это и Урусов. И оба эти оратора увлекали аудиторию не внешними приемами, а внутреннею прелестью своего дарования.

Но о большинстве тех чудесных пришельцев в наше

сословие теперь приходится сказать: «...иных уж нет, а те далече...» Дождемся ли мы нового прилива таких же крупных умственных и художественных сил?

Дело в том, что, как я уже говорил, поприще наше скользкое. Слепая масса публики, правда, оторопеет перед адвокатами и, в случае беды, легко отдается им в руки, веруя в их могущество. Но все развитое общество невольно держит их в подозрении. Я имел случай сблизиться с лучшими и замечательными деятелями нашего времени в области искусства и мысли. Я пользовался их симпатиями, почти — дружбою. И что же? Я всегда чувствовал, что звание «адвокат» мне как бы извинялось. Конечно, я никогда не оправдывался, сознавая, что если бы поднялся спор, то я сумел бы отстоять свое достоинство. И все-таки не обошлось без некоторых недоразумений. Но я и тут не уступил. Время их сгладило...

После этого вы легко поймете, как досадно и обидно наблюдать все, что появилось вдруг, на смену трудным, но поистине блестящим начинаниям нашей адвокатуры, в последнее время.

Все, от чего следовало бы очищать наше сословие, как от вреднейших плевел, мешающих его нравственному росту и авторитету, расплодилось с поразительною силою. Сформировалась крепкая школа рекламы и актерского пустозвонства.

Нужно ли объяснять, что реклама есть лавочный, торгашеский прием, совершенно несовместимый с какой бы то ни было умственной деятельностью, претендующею на общественное уважение и доверие. И вот, в уголовной адвокатуре, т. е. в учреждении, которое даже при лучших намерениях его представителей все-таки подозревалось обществом а priori в своекорыстии и продажности, — реклама пустила такие глубокие корни и дала такие пышные плоды, что нет уже силы, которая истребила бы эту растительность. Если реклама вообще довольно быстро дает осязательные практические результаты, — то как же винить начинающую молодежь за то, что она, ради скорейшего заработка и

славы по уголовным делам, прибегает к мудрым приемам, созданным старшими, и добивается прежде всего помещения своего имени в газетных листках? <...>

Таким образом, новейшая школа имеет три заповеди: первая — реклама, вторая — «пафос», как подделка чувства, и третья — «общие места», как замена ума. И больше — равно ничего не требуется.

Что же получается в результате? Получаются люди, которые сами себя расславили и которые этим очень довольны.

Но скажите по совести: интересуется ли кто бы то ни было из людей компетентных тем, что скажет подобная «знаменитость» по делу, доставшемуся в ее руки? Я думаю, что нет никакой возможности интересоваться речью, которая каждому среднему человеку известна заранее. Каждый из нас, прочитавши о происшествии в газетах, даже не изучая его подробностей, весьма легко угадает, на чем будет «ездить» подобный защитник. И никогда не ошибется. Все мы, без затруднения, предусмотрим, что речь защитника будет «блестящая и горячая» и что таким образом на сцене суда произойдет самое банальное изображение защиты с ее общеизвестною и надоевшею ролью, как роль «дамы с камелиями». Привычные рецензенты судебно-театральной залы будут вполне удовлетворены. Слава защитника не увеличится, но и не уменьшится, ибо сама эта слава, раз уже она *сделана*, имеет те же качества неувядаемости, как и восковая кукла.

А смогли бы вы когда-нибудь предусмотреть то, что скажут Спасович, Урусов, Александров, Жуковский? Нет, потому-то их появление и участие в деле всегда составляли событие без всяких самодельных анонсов. Это были умы самобытные, творческие и способные открывать новое — яркие и редкие, как бриллианты. А те, которые нынче так усиленно предлагают себя публике, — разве это не самые ординарные умы?

Я говорил о поразительной скудости талантов среди «уголовников». Между тем в кадры цивилистов продолжается постоянный приток людей широко образован-

ных, замечательно умных, прямо выдающихся. И наша корпорация поневоле должна получать свою аттестацию «о всех и за вся» от тех товарищей «любителей», которые подвизаются на видных для всей России подмостках уголовной сцены. <...>

Предвижу множество возражений. Отвечу только на самые опасные и коварные, какие мне приходят в голову.

Мне могут сказать: «Новая адвокатура вовсе не помышляет о том, чтобы сказать нечто новое и удивить каких-нибудь тонких ценителей. Она заботится прежде всего о подсудимом и отдает ему всю свою душу. Она ближе к жизни, и она преуспевает в смысле побед гораздо более, нежели все ваши излюбленные ораторы...»

Но все это вздор. Во-первых, сколько бы теперешняя адвокатура ни помышляла о том, чтобы сказать нечто новое, она этого не сделает не потому, что не хочет, а потому, что не может. Во-вторых, она вовсе не ближе к жизни, потому что она и не трудится и не задумывается над изучением жизни, а только, понахватав слегка, на каких нотках можно сыграть выгодную роль, торопится захватить каждое дело с благодарным сюжетом и «жарить вовсю» бенефисные монологи, даже не соображаясь с тем, насколько они подходят к данному случаю. Она даже не постеснится исказить дело, только для того, чтобы подогнать его под свое задуманное выигрышное «амплуа». В-третьих, она вовсе не вкладывает в дело своей души, а только припускает к нему свой искусственный жар. Все эти пламенные защиты я называл бы «физическими», а не «интеллектуальными». Известно, что даже величайшие трагики нисколько не трагичили своей души, ибо отличались великолепным здоровьем и долголетием. Следовательно, о наших заурядных лицедеях и говорить нечего.

Наконец, в четвертых, — и это самое главное. Новая адвокатура не только не преуспевает в смысле побед, но если взять статистику — проигрывает немилосердно.

Секрет заключается лишь в том, что под сенью рекламы она трезвонит о своих победах и затушевывает свои проигрыши. Я бы мог привести доказательства и цифры, но для этого нужно было бы назвать процессы и действующих лиц. Вредить никому не хочу... Но убежден, что теперешняя система защиты никакого влияния на правосудие не оказывает. Она годится лишь для дел, которые сами собою выигрываются. Да и в этих случаях подчас вредит, ибо развязная заносчивость адвокатов, предвкушающих победу, иногда смущает самых добросовестных судей... Вся эта крепкая сеть телеграфно-рецензентской агентуры, да еще таможи, устроенные и в доме предварительного заключения, и на границе провинциального импорта, с целью распределения уголовного товара только между известною группою лиц — все это указывает на грубое разложение наших нравов. О прежнем рыцарском отношении между товарищами, среди которых теперь существует подобная ловля дел, конечно, уже и говорить не приходится. Эта бесцеремонность не встречает у нас откровенного протеста, хотя отовсюду слышится подавленный ропот. Но мне бояться нечего. Я фаталист, за делами не гоняюсь, газетного шума не ишу и, кроме того, так беззаветно люблю всякий истинный талант, что к его оценке никакие личные отношения ни в какой области искусства у меня не могут примешаться. В этом вопросе у меня нет ни врагов, ни друзей. И если бы от меня потребовали, чтобы я в самом свежем виде определил, какая же существует разница в нашем деле между истинным искусством и мишурою, то я бы ответил: *истинное искусство* — это простота, искренность, содержательность и оригинальность, в отличие от *мишуры*, которая есть вычурность, фальшь, пустословие и банальность...

Но пора кончать.

Реклама завершит когда-нибудь свой цикл как всякое отрицательное явление жизни, со временем, по воле судеб, принесет свою пользу, ибо самый титул «знаменитости», наконец, опошлеет. И это уравнивает людей,

даст им больше свободы и уверенности в естественной и справедливой оценке их трудов.

Мне кажется, что вследствие указанных мною особенностей нашего правосудия, русские судебные ораторы должны занять видное место не только в истории общественного развития, но и в истории словесного искусства. Давно уже мне приходит в голову одно сравнение. В Сорбонне, над анатомическим театром, существует старинная надпись: «His est locus ubi mors in vitam proficit», т. е. «Вот место, где смерть служит на пользу жизни». В соответствии этому чуть ли не с начала моей деятельности я мысленно читаю над судебным зданием следующие слова: «Вот место, где преступление служит на пользу общества». Конечно, — не в том смысле, что здесь наказываются преступники, а — в том, что здесь изучаются причины преступления, дабы общество научилось их избегать.

Какая громадная задача! Какие для этого нужны крупные таланты!

И мне кажется, что *исполнить эту задачу могут только судебные ораторы, равные нашим лучшим писателям* (курсив мой. — М. А.), по глубинному и правдивому изображению жизни, по благородной и художественной простоте слова.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андреевский С. А. Об уголовной защите. — СПб., 1904.
2. Дорошевич В. М. Рассказы и очерки. — М., 1962.
3. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Т. 21. — Л., 1980.
4. Карабчевский Н. П. Около правосудия. — СПб., 1902.
5. Кони А. Ф. Избранное. — М., 1989.
6. Короленко В. Г. Собрание сочинений: В 10 т. Т. 9. — М., 1955.
7. Плевако Ф. Н. Избранные речи. — М., 1993.
8. Спасович В. Д. За много лет. — СПб., 1872.
9. Утевский Б. С. Воспоминания юриста. — М., 1989.
10. Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Т. 16. — М., 1979.

СОДЕРЖАНИЕ

От составителя	3
--------------------------	---

СЛУЧАИ ИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Владимир Данилович Спасович

Теория взлома	11
-------------------------	----

Федор Никифорович Плевако

Дело Булах...	25
Дело о беспорядках на Коншинской мануфактуре	52

Николай Платонович Карабчевский

Загадочное самоубийство	61
Злая мачеха	72
Страшный грабитель	79
Бракоразводное дело	86
Проститутка-убийца	93
Дама высшего общества	103
Плавучая тюрьма	114

Анатолий Федорович Кони

Из казанских воспоминаний	125
Темное дело	129
Пропавшая серьга	133
Князь А. И. Урусов и Ф. Н. Плевако	138
Лев Николаевич Толстой	154

Борис Самойлович Утевский

Дело об убийстве Клады Г.	181
Авантюристски	195
Обманутый защитник	198

Убийца из сострадания	202
Встречи с А. Ф. Кони	205
Н. П. Карабчевский	209
Ф. Н. Плевако	217
С. А. Андреевский	222
Достоевский и адвокатура	226

ДРАМЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ

Федор Михайлович Достоевский

Среда	233
-----------------	-----

Влас Михайлович Дорошевич

Детоубийство	248
Защитник вдов и сирот	257
Одинокое заключение	266
Исчезнут ли тягчайшие наказания?	270
Пытки	277

Антон Павлович Чехов

Дело Рыкова и комп.	298
-----------------------------	-----

Владимир Галактионович Короленко

Дом № 13	342
Бытовое явление	359

<i>Вместо заключения. Об уголовной защите</i>	421
---	-----

Список литературы	444
-----------------------------	-----

Серия
«АНТОЛОГИИ»

РУССКАЯ ЗАЩИТА:
Нашумевшие уголовные процессы.
Сенсационные аферы

Судебные очерки

Редактор *И. Н. Архарова*
Технический редактор *Н. В. Сидорова*
Корректор *Г. И. Иванова*

ООО «Издательство Астрель»
143900, Московская обл., г. Балашиха, пр-т Ленина, д. 81

ООО «Издательство АСТ»
368560, Республика Дагестан, Каякентский р-н,
с. Новокаякент, ул. Новая, д. 20

Наши электронные адреса:
www.ast.ru
E-mail: astpub@aha.ru

Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии ФГУП
«Издательство «Самарский Дом печати»
443086, г. Самара, пр. К. Маркса, 201.
Качество печати соответствует качеству предоставленных диапозитивов.

Издательская группа АСТ

Издательская группа АСТ, включающая в себя около 50 издательств и редакционно-издательских объединений, предлагает вашему вниманию более 10 000 названий книг самых разных видов и жанров. Мы выпускаем классические произведения и книги современных авторов. В наших каталогах — интеллектуальная проза, детективы, фантастика, любовные романы, книги для детей и подростков, учебники, справочники, энциклопедии, альбомы по искусству, научно-познавательные и прикладные издания, а также широкий выбор канцтоваров.

В числе наших авторов мировые знаменитости Сидни Шелдон, Стивен Кинг, Даниэла Стил, Джудит Макнот, Бертрис Смолл, Джоанна Линдсей, Сандра Браун, создатели российских бестселлеров Борис Акунин, братья Вайнеры, Андрей Воронин, Полина Дашкова, Сергей Лукьяненко, Фридрих Незнанский, братья Стругацкие, Виктор Суворов, Виктория Токарева, Эдуард Тополь, Владимир Шитов, Марина Юденич, а также любимые детские писатели Самуил Маршак, Сергей Михалков, Григорий Остер, Владимир Сутеев, Корней Чуковский.

Книги издательской группы АСТ вы сможете заказать и получить по почте в любом уголке России. Пишите:

107140, Москва, а/я 140

ВЫСЫЛАЕТСЯ БЕСПЛАТНЫЙ КАТАЛОГ

Вы также сможете приобрести книги группы АСТ по низким издательским ценам в наших **фирменных магазинах:**

Москва

- м. «Перово», ул. 2-я Владимирская, д. 52, тел. 306-18-91, 306-18-97
- м. «Алексеевская», Звездный б-р, д. 21, стр. 1, тел. 232-19-05
- м. «Павелецкая», ул. Татарская, д. 14, тел. 959-20-95
- м. «Маяковская», ул. Каретный ряд, д. 5/10, тел. 209-66-01, 299-65-84
- м. «Царицыно», ул. Луганская, д. 7, корп. 1, тел. 322-28-22
- м. «Таганская», «Марксистская», Б. Факельный пер., д. 3, стр. 2, тел. 911-21-07
- м. «Кузьминки», Волгоградский пр., д. 132, тел. 172-18-97
- ТК «Крокус-Сити», 65-66 км МКАД, тел. 942-94-25
- м. «Сокольники», «Преображенская площадь», ул. Стромынка, д. 14/1, тел. 268-14-55
- м. «Варшавская», Чонгарский б-р, д. 18а, тел. 119-90-89
- Зеленоград, 3 мкрн, кор. 360, тел. 536-16-46
- ТК «Твой дом», 24 км Каширского шоссе, «Книги на Каширке»

Регионы

- Архангельск, 103 квартал, ул. Садовая, д. 18, тел. (8182) 65-44-26
- Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д. 132а, (0722) 31-48-39
- Калининград, пл. Калинина, д. 17-21, тел. (0112) 44-10-95
- Краснодар, ул. Красная, д. 29
- Ярославская обл., Рыбинск, ул. Ломоносова, д. 1; Волжская наб., д. 107
- Оренбург, ул. Туркестанская, д. 23, тел. (3532) 41-18-05
- Череповец, Советский пр-т, д. 88а, тел. (8202) 53-61-22
- Н. Новгород, пл. Горького, д. 1/61, тел. (8312) 33-79-80
- Воронеж, ул. Лизюкова, д. 38а, тел. (0732) 13-02-44
- Самара, пр. Кирова, д. 301, тел. (8462) 56-49-92
- Ростов-на-Дону, пр-т Космонавтов, д. 15, тел. (8632) 35-99-00
- Новороссийск, сквер Чайковского
- Орел, Московское ш., д. 17
- Тула, Центральный р-н, ул. Ленина, д. 18

Издательская группа АСТ

129085, Москва, Звездный б-р, д. 21, стр. 1, 7 этаж. Тел. (095) 215-01-01, факс 215-51-10

E-mail: astpub@aha.ru <http://www.ast.ru>

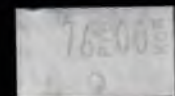
Русская защита

антология

Нашумевшие уголовные процессы. Типы преступлений и преступников. Места заключения. Sensационные аферы, потрясшие дореволюционную Россию...

Изменились ли нравы за прошедшее столетие? Или и в наше время процветают те же пороки, и сюжеты «романам», полным интимных подробностей и сенсационных разоблачений, с трагической развязкой в конце, дарит сама жизнь...

Может, к извечным русским вопросам добавился еще один: «Безумные или преступные?» И есть ли такое место на земле, где преступление служит на пользу обществу?..



ISBN 5-17-014749-X



9 785170 147496